

ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ. 12

Сборник научных работ
молодых филологов

ТАРТУ 2001

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ. 12

*

Сборник научных работ
молодых филологов

ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ. 12

Сборник научных работ
молодых филологов



TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Редколлегия: Е. Антушева, М. Артемчук, М. Войтехович, А. Галкина, Т. Гузаиров, О. Жужжалова, Я. Калугина, Н. Карасева, Е. Кривенкова, М. Кривенкова, О. Лагашина, Э. Романчик, Л. Рябова, Е. Сидорова, И. Соколова, И. Фрайман, А. Шиндяпин, Ю. Шкурат

Ответственные редакторы:

Т. Фрайман (литературоведение)

О. Паликова (лингвистика)

Технический редактор: С. Долгорукова

© Статьи и публикации: авторы, 2001

© Составление: Отделение русской и славянской филологии
Тартуского университета, 2001

ISSN 1406-0019

Tartu Ülikooli Kirjastus / Tartu University Press

Tiigi 78, Tartu 50410

Eesti / Estonia

Order no. 202

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемый вниманию читателя двенадцатый том «Русской филологии» состоит преимущественно из статей, в основе которых лежат доклады, прочитанные на Международной конференции молодых филологов-русистов (Тарту, 28–30 апреля 2000 года). В работе конференции принимали участие студенты, магистранты и аспиранты из высших учебных заведений Дании, России, Украины, Латвии и Эстонии.

Литературоведческая часть сборника включает работы, посвященные традиционному и современному русскому фольклору, и историко-литературные исследования, охватывающие период от древнерусской литературы до литературы XX века. Молодые ученые демонстрируют широкий диапазон объектов и методов: от текстологического комментария и интертекстуальных штудий до обзорных статей, посвященных бытованию литературных текстов в определенные культурные эпохи.

Лингвистические статьи, составившие вторую часть сборника, как и в предыдущие годы, отражают новейшие направления в развитии науки о языке. Ограниченный объем сборника позволил напечатать только наиболее «новаторские» работы, показывающие перспективы развития лингвистики во всей ее разносторонности. Остальные тексты будут опубликованы в интернете и, тем самым, окажутся доступными для широкого круга читателей.

Редколлегия благодарит авторов за сотрудничество и выражает уверенность в том, что традиция сборников «Русская филология» будет продолжена и в дальнейшем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

М. Муратова. Колыбельная песня как вербальный ритуал. Прагматический аспект.....	13
И. Людеви́г. Былина о Василии Буслаеве: опыт этнологического комментария.....	18
М. Пономарева. Русские писатели — мифологический пантеон?	24
М. Сморжевских. Болезнь и смерть грешника: средневековые образцы в сказании Авраамия Палицына	29
К. Осповат. Из истории академической полемики 1753 г.: «Сатира на Самохвала»	36
М. Борщева. Московская романтическая повесть и городская фольклорная традиция («Марьи́на роща» В. А. Жуковского).....	42
Т. Гузаиров. «Праведный судья» или «милостивый государь»: Концепция монарха в «Записке о Н. Тургеневе» В. А. Жуковского	48
А. Немзер. К вопросу о соотношении литературы и идеологии: два произведения Н. В. Кукольника	54
К. Раннику. Об одной вальтер-скоттовской цитате у Пушкина.....	60
М. Артемчук. Некоторые библейские подтексты стихотворения Тютчева «Problème»	65
А. Семененко. К вопросу о возникновении русского гамлетизма.....	70
Е. Кривенкова. О литературном генезисе образа Логина в романе Ф. Сологуба «Тяжелые сны» (Логин и Нежданов)	75

Ф. Дзядко. «Здесь — трепетание стрекоз». Мотив беззаботности в раннем творчестве О. Э. Мандельштама	81
О. Лагашина. «Вечный жид» в тетралогии М. Алданова «Мыслитель»	87
Д. Зусв. Роман Набокова «Приглашение на казнь». Тема детства в контексте двоемирия романа	92
Г. Утгоф. Вокруг «Pale Fire»	97

ЛИНГВИСТИКА

А. Бонч-Осмоловская. Об одном параметре классификации прилагательных	103
Д. Миронов. Отглагольные существительные с семантическим компонентом 'место действия' как носители трансформированных грамматических категорий	110
М. Эскилдсен. Потенциальное значение глаголов совершенного вида настоящего времени. Модальность потенциальности и формальные средства ее выражения	114
Л. Григорян. К проблеме построения словаря глагольного управления для русского языка	119
О. Ханина. Грамматикализация глагола речи в «подчинительный союз» при конструкциях с сентенциальными актантами	125
Е. Сидорова. Различение частиц <i>не</i> и <i>ни</i> как одна из проблем грамматического описания русского языка	130
Н. Карасева. О специфике употребления частицы <i>просто</i>	136
Н. Викульцева. Лексема <i>ведь</i> в функции частицы	142
Я. Калугина. Частицы с семантическим признаком «уступка» в русском языке	148
К. Кару. Сколько же уступительных союзов в эстонском языке? К постановке проблемы	156

К. Ильвес. Некоторые особенности функционирования вводных слов в русскоязычных газетах Эстонии.....	165
С. Сай. О порядке слов в русском атрибутивном словосочетании (по данным анализа разговорной речи).....	171
Д. Иванов. Эвиденциальность и эпистемическая модальность. Одна категория или две?.....	179
А. Скобелкин. О продуктивности протезы s- в индоевропейских языках	184
Е. Антушева. К этимологии слова <i>мощи</i>	189
М. Войтехович. Метатекст в художественном тексте	195
Л. Рябова. К вопросу о передаче реалий в переводе (на материале чешских переводов произведений А. П. Чехова).....	202
И. Соколова. К проблеме перевода русских причастий и причастных оборотов на чешский язык (на материале произведений русской художественной литературы).....	207
А. Галкина. К проблеме возникновения межъязыковых омонимичных отношений (на материале чешского и русского языков)	214
А. Шиндяпин. К определению глагольной системы ляшского литературного языка.....	219
М. Третьяк. Система предлогов литературного ляхского языка (на фоне родственных языков).....	223
Э. Романчик. Кашубские образования на -osc, -ota как соответствия польским существительным на -ość, -stwo в «Польско-кашубском словаре» Я. Трепчика: введение в проблематику	229
Е. Якушкина. Концепт греха в сербском народном языке.....	236
Т. Козлова. Особенности реализации концепта <i>human being</i> в австралийской англофонной картине мира.....	242

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ КАК ВЕРБАЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Мария Муратова
(Санкт-Петербург)

Колыбельные песни часто сопоставляли с заговорами. Бытует мнение, что колыбельная произошла непосредственно из заговора. «Наибольшее сходство с колыбельной обнаруживают два вида заговоров: заговоры-пожелания и заговоры-обращения»¹. Этот тезис и послужил отправной точкой для данного исследования на материале текстов колыбельных песен в русской и испанской традиции².

С. М. Толстая назвала приговор, заговор, заклинание вербальными ритуалами: «Условно к вербальным ритуалам можно отнести такие ритуалы, в которых произнесение некоторого текста составляет его семантическое и структурное ядро, а другие компоненты, если они есть, образуют периферию, обрамление»³.

Текстами вербальных ритуалов являются различные тексты с ярко выраженной прагматической функцией. Интенциями вербальных ритуалов являются: 1) создание определенного желаемого положения вещей; для колыбельной это — сон ребенка; 2) избегание нежелательного состояния или его предотвращение — устранение возбуждения; 3) устранение уже наступившего нежелательного положения вещей: несвоевременное пробуждение, бодрствование. Таким образом, по своей функции колыбельная, как и заговор, может быть отнесена к вербальным ритуалам.

Можно говорить и о формальном сходстве этих жанров. Наиболее распространенной формой заговора⁴ является обращение к мифологическому персонажу, в чьей воле изменить ситуацию, или к объекту, который должен будет измениться, т.е. существует два способа воздействия на адресата: 1) путем непосредственного обращения к нему; 2) путем некоторого опосредованного влияния на его психофизическое состояние.

Если мы обратимся к колыбельным песням, то увидим, что и в данном случае можно говорить о совпадении колыбельной и заговора, на этот раз по форме.

Баюшки-баю,
Спи, дитя, усни,
Я тебе песенку спою...
(№ 43)

A la nanita nana,
Duérmete, niño,
que...
(N 14)

(А ла нанита нана,
Спи, дитятко...)

Успения мать,
Уложи младенца спать!
(№ 118)

Angelitos del cielo
Venid volando
A dormir a este niño
Que esta gritando (N 365)

(Ангелочки небес-
ные, прилетайте
уложить этого
плачущего малыша)

И в русской, и в испанской традиции структура колыбельной песни очень схожа. В общем виде схема выглядит так:

1.	2.	3.	4.	5.
<i>мелодиче- ская вставка</i>	<i>императив, эксплицирован- ное желание го- ворящего</i>	<i>вока- тив</i>	<i>эксплика- ция</i>	<i>мелодическая вставка</i>
баю-баюш- ки-баю лю- ли-люли a la nanita, nana ro-ro-ro	спи усни duérmete	дитя niño	я тебе пе- сенку спою que viene el Coco	баю-баюшки- баю люли-люли a la nanita, nana ro-ro-ro

Однако текстовая реализация такой схемы редко осуществляется в ее полной форме. Может опускаться императив, вокатив, описание желаемого действия и причина его совершения, зачин или концовка (но никогда то и другое вместе). Соответственно, возникает вопрос: какой же элемент структуры обязателен и на каком формальном основании мы атрибутируем текст как колыбельную?

Как показал анализ текстов, таким элементом является некое устойчивое сочетание (мелодическая вставка)⁵ типа: *баю-бай, люли-люленьки, a la nana-nanita, a la ro-ro*, и т.д. В русской фольклористике такие повторы принято рассматривать в качестве элемента поэтико-ритмической организации текстов. Тем не менее, попробуем определить семантическое поле этих повторов.

В русской колыбельной самым распространенным сочетанием является звуковой повтор *баю-бай*. «Байть, байкать, баять: говорить, болтать, беседовать, шептать, знахарить, манить, скликать, подзывать, охотясь на птицу, в дудочку, на голос, на свисток, укачивать, усыплять»:

Бай-бай-баю-бай
Спи, собачка, не лай,

Спи, ворона, не кричи,
 Мою детку не буди.
 Баю-баюшки-баю. (№ 161)

В испанской колыбельной традиции в роли аналогичной конструкции выступает сочетание со словоформой *pana*.

A la pana, panita,	А ла нана, нанита,
Nanita, nana	нанита, нана.
Duérmete el niño	Засыпай, дитя,
Que viene el Coco	потому что придет Коко,
Que come a los niños	который ест детей,
Que duermen poco. (N 17)	которые не спят.

Термин *pana* в Испании используется наряду с термином *canción de cuna* для обозначения колыбельной (ср. в русском — «байка» и «колыбельная»). Анализируя происхождение и значение слова *pana* (на-на), исследователи приходят к выводу, что первоначально слово не имело конкретного значения: это был набор звуков, используемых в песне для убаюкивания ребенка (не только в Испании, но и других странах, в частности, Италии). Позднее слово *pana* стало означать «колыбельная песня», т.е. произошел перенос значения с мелодической вставки на название жанра.

В словаре приводятся следующие значения слова *pana*⁶: замужняя женщина, мать семейства, бабушка, кормилица; песня, напев, с помощью которого убаюкивают ребенка; вред, боль в детском языке; маленький / маленькая от лат. *pappus* «крошечный»; используется в отдельных местностях как ласковое ругательство для детей. Ж. Короминас⁷ возводит слово *pana* к латинскому *pappus*, *poppa* — «старик / старуха», «дедушка / бабушка; няня, кормилица».

Теперь обратимся к синтаксической функции формы. Наш материал показал, что словоформа *pana* одновременно выполняет несколько функций: во-первых, маркирует ситуацию убаюкивания; во-вторых, обозначает участников коммуникативного акта: адресата и адресанта, указывая на их социальный статус (семейные отношения). *Nana* — это может быть и та, которая укачивает, и тот, кого укачивают. В-третьих, словоформа обозначает само действие, производимое над ребенком.

Теперь обратимся к грамматике этой формы. Рассмотрим одну из грамматических конструкций со словоформой *pana*. Наиболее распространенным является вариант *a la pana*: Данная конструкция состоит из: 1) предлога *a*, являющегося признаком винительного падежа, когда в качестве прямого дополнения выступает лицо (одушев-

ленное существительное), или служащего признаком дательного падежа; 2) определенного артикля женского рода единственного числа *la*, служащего показателем рода и числа существительного; в данном случае употребление определенного артикля обусловлено тем, что речь идет о конкретном, единственно возможном в данной ситуации лице (папа); 3) существительного женского рода единственного числа *papa*, которое может удваиваться, причем повтор может быть дан с употреблением уменьшительно-ласкательного суффикса *ita* (*ito*) (ср. *hijo*, *hijito* — сын, сынок; *hija*, *hijita* — дочь, доченька).

Конструкция имеет вид одностиишия или двустиишия. Вторая строка двустиишия представляет собой либо полный повтор первой, либо повтор одного из полустииший. Одно из существительных в блоке обладает эмоционально-оценочной характеристикой, морфологически выраженной суффиксом субъективной оценки *ita*: *a la papa*, *panita*. Данная конструкция используется в текстах с разными мотивами. Эти строки (или строка) представляют собой либо зачин, либо рефрен. Он призван сигнализировать о начале или конце текста. Таким образом, в тексте лексически и грамматически маркирована определенная ситуация: во-первых, семантически — через комплекс, связанный с корнем *pap*. Грамматически она выстраивается как действие, одновременно направленное на объект (через винительный падеж), что делает колыбельную сходной с магическим действием, и как высказывание, имеющее адресат (второе лицо единственного числа — «ты»), т.е. действие-высказывание, адресованное субъекту через дательный падеж. Итак, «мелодическая вставка» оказывается ключом и к семантическому, и операционному комплексу убаюкивания.

Обычно в мелодических вставках видят способ поэтико-ритмической организации текста (и мы с этим согласны). Их задача — закончить, начать, достроить поэтическую фразу. Но, как это видно из анализа текстов, их функция значительно шире:

- 1) они являются маркерами жанра, а в некоторых случаях — маркерами смены ситуации, пограничными формулами;
- 2) на уровне лексики они представляют собой смысловой комплекс;
- 3) придают эмоциональную окраску ситуации;
- 4) вставки задают рисунок ритуальной процедуре, в которой одновременно происходит и коммуникация, и магическое действие.

Колыбельная по своей структуре, форме и функции сходна с заговорами и заклинаниями и в полной мере может быть названа вербальным ритуалом.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Мартынова А. Колыбельная песня и заговор // Проблемы изучения русского народного поэтического творчества. М., 1991. С. 43.
- ² Для анализа были использованы тексты колыбельных песен в изданиях: Русское детское поэтическое творчество. СПб., 1997; *La canço de bressol*. Un. de Barcelona, 1994. Далее в статье после цитаты приводится порядковый номер песни в соответствующем издании.
- ³ Толстая С. Вербальные ритуалы в славянской народной культуре // Логический анализ языка. М., 1991. С. 76.
- ⁴ Адоньева С., Овчинникова О. Традиционная русская магия в записях конца XX века. СПб., 1993. С. 14.
- ⁵ Л. И. Виноградова, описывая аналогичные образования в колядках, называет их рефренами (см.: Виноградова Л. И. Типы колядных рефренов и их ареальная характеристика // Славянский и балканский фольклор. М., 1984). Однако данные вставки не всегда занимают в тексте позицию рефрена. С. Б. Адоньева предлагает термин «прагматическая формула». Этим термином мы и будем оперировать в дальнейшем.
- ⁶ Moliner, M. Diccionario de uso del español. Madrid, 1966. С. 489.
- ⁷ Corominas, J. Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana. Berna, 1954. T. 6. P. 792.

БЫЛИНА О ВАСИЛИИ БУСЛАЕВЕ: ОПЫТ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ

Иннокентий Людевик
(Санкт-Петербург)

Темой данной работы является сопоставление поразительно похожих сюжетов былины о Василии Буслаеве¹ (далее — *былина*) и деревенской праздничной драки (далее — *драка*).

Результатом анализа собранного мной полевого материала² и сопоставления его с исследованиями обряда инициации в других культурах стал вывод о том, что *драка* является рудиментом обряда мужской инициации.

Сюжет *былины* для исследователей давно представляет загадку. Ее конфликт традиционно трактовался как социальный, но в этом качестве он не поддается разгадке. Взгляд на *былину* как на запись обряда инициации дает возможность понять и объяснить нелогичные с точки зрения современного человека этические составляющие ситуации бытования этого сюжета.

Чтобы рассмотреть интересующие нас вопросы, обратимся к анализу *былины*, сопоставляя ее события с *дракой*.

1. Василий Буслаев, отличающийся необыкновенной силой, собирает дружину. В деревне вокруг явно выделяющегося силой и смелкой парня (атамана) всегда собирались остальные, готовые следовать за ним на лихое дело. Например, на драку в чужую деревню.

2. Посвящаемым в дружину Буслаева предлагается выпить огромную чарку вина, которую они успешно выпивают. Затем, теперь уже вместе, они выпивают большое количество алкоголя на празднике (часто и до него). Алкоголь вообще часто встречается в тексте. Для деревенского праздника специально готовили пищу и особенно выпивку. Редкого парня на празднике можно было встретить трезвым. Это являлось частью ритуала праздника³.

3. На празднике в *былине* происходят массовая драка и убийства, заключается «пари» на победу дружины или новгородцев. «В праздник, особенно если пьют пиво не день, а дня два-три подряд, происходят страшные драки»⁴.

4. Мать запирает Василия в погребке. Напомню, что чаще всего Буслаев проводит в погребке три дня (отмечу, что деревенские празд-

ники длились обычно три дня). Выбирается он оттуда с помощью девушки чернавушки, которая перед этим своим коромыслом убивает многих новгородцев. Василий, по дороге преодолевая серьезное препятствие (старца, заставы), спасает дружину от поражения. Вместе они побеждают новгородских мужиков и те покоряются.

Рассмотрим эти события в контексте мужского поведения на общинном празднике. В былине обычно присутствуют повороты сюжета, связанные с темой праздничной драки.

1. В ее событиях основную роль играют мужчины. Присутствует девушка со специфическими функциями — она появляется в мужской роли: вместе с другими мужчинами попадает в дружину Буслаева. В деревенской *драке* участвуют парни и, в определенный момент, молодые мужики, но есть свидетельства о том, что девушки часто помогали парням в драке («<...> ритуалы перемены статуса включают в себя перехват женщинами мужских ролей <...> чаще ритуалы этого типа используются, когда важнейшей территориальной единице племенного общества угрожает какое-либо бедствие»⁵).

2. В *былине* на празднике происходит массовая *драка*, и в ней принимает участие Буслав с дружиной (с «парнями»), с одной стороны, и новгородские мужики — с другой. Деревенский праздник крупномасштабен, драка массовая (деревня на деревню), и существует требование обязательного присутствия всех мужчин, достигших возраста перехода во взрослые члены рода. Я предполагаю, что это остаток архаического обычая демонстрации физической силы, необходимой для доказательства готовности мальчика стать мужчиной. Во всех описанных обрядах инициации отмечается присутствие коллективных ритуалов, «знаменующих переход от детства или юношества к взрослому возрасту и обязательных для всех членов общества». Это подробно описано в книге М. Элиаде: «обычно в церемонии принимают участие довольно много племен <...> можно сказать, что новичков посвящают их потенциальные тестисы»⁶. Отмечу, что изгоняющие противника из деревни молодые мужики часто становились собственниками тем, кого еще недавно изгоняли.

3. Обычно в *былине* сам Буслав и его дружина много пьют, тем более на празднике, на который они приходят; с этим часто связано начало конфликта и драки. Для того, чтобы попасть в эту дружину, нужно выпить огромную чарку вина. После победы дружина пьет в кругу. Смысл употребления алкоголя предположительно таков: как в *былине*, так и в *драке* он присутствовал (присутствует?) в качестве ритуального напитка для вызывания состояния измененного созна-

ния. В племенах Конго «мальчикам от десяти до двенадцати лет дают питье, выпив которое, они теряют сознание», М. Элиаде считает, что это «смерть, символизируемая потерей сознания»⁷; ср.: «Воинское испытание — это почти всегда личный бой, который ведется таким образом, чтобы вызвать у неофита буйство “берсерка”. “Отравление пальмовым вином” было частью ритуала отделения в тайных обществах Конго»⁸.

4. В былине присутствует формирование иницируемой группы и «посвящение» в нее: выпивание вина и ритуальный удар. Чуть ранее Буслаев учится грамоте и «хитрым наукам»: в детстве его обучает некий старец — как простой грамоте, так и тайным знаниям.

5. Существуют варианты *былины*, в которых Старчище-Мокарчище во время конфликта употребляет в разговоре с Буслаевым ненормативную лексику. Ее сакральное значение широко известно. В обрядах посвящения свой «особый язык или по меньшей мере особая лексика — недоступные для женщин и непосвященных...»⁹. В племенах Конго «новообращаемых <курировал> маг — наставник, <который> обучал их особому языку»¹⁰.

6. События приема в дружину происходят во дворе, который огорожен забором. Мы наблюдаем факт «своей», выделенной территории. После того, как дружина сформирована, каждый приходящий (теперь уже чужой) выкидывается вон или убивается, т.к. теперь он нарушитель границы. В *драке* в случае кризиса (возможности поражения) вся деревня объединялась и изгоняла «чужих». В работе об обрядах перехода Ван Геннеп говорит, что раньше границы часто «имели магико-религиозный характер»¹¹.

7. Буслаев бьется тележной осью — первым, что подвернулось под руку. В наборе оружия «деревенского бойца» было приготовленное заранее оружие, но часто использовалось и «первое, что попало под руку» (поленья, колья и т.п.). Использование оружия дает возможность предположить и в этом элементы ритуала.

8. В былине в драке всегда присутствуют убийства. После окончания битвы Буслаева и его дружину не карают, а несут им подарки — то есть, о мести говорить не приходится. То же мы наблюдаем и на деревенском празднике — там также происходят убийства. Возможно, это знак жертвоприношения, о чем свидетельствует отсутствие мести за убийство в *драке*, ее прекращение после убийства (жертва принесена, и нет смысла продолжать). «Смерть в посвящении означает одновременно конец детства, неведения и состояния непосвященности <...> <она> необходима как «начало» духовной жизни»¹².

9. Бой дружины Буслаева с новгородцами происходит на мосту, а его самого просто бросают в реку. То же можно отметить и в *драке*: если в деревне был мост, и она располагалась на обоих берегах или была отделена им от другой деревни, то драка обязательно происходила на этом мосту или рядом с ним (ср.: «Определенными церемониями сопровождается переход через реку»¹³). Ритуал духовного перехода может быть связан с ритуалом территориального перехода: например, переход через реку¹⁴. На пути к дружине Буслаев встречает препятствие (часто на мосту) — старца, и убивает его (ср.: «Знак рубежа сохранял ощущение перехода с одной территории на другую через нейтральную зону»).

10. В *былине* мать выводит сына из драки. В деревенских *драках* бывало, что мать вытаскивала сына из драки. Женщины и мужчины имели совершенно разные, иногда противоположные точки зрения на *драку*, что вполне естественно. Об этом обряде женщины не знают ничего, и сакральный смысл его им неведом, с чем и связано неприятие. Мать Буслаева не хотела участия своего сына в драке — настолько, что даже заперла его в погребке. Наши информантки рассказывали о том, что они, когда начиналась *драка*, забирались под стол или прятались в дальний угол.

11. В *былине* мать имеет большое влияние на Буслаева — когда она просит его прекратить убийства, то он останавливается. Тем не менее, в определенный момент она запирает Василия в погребке, а он разными путями оттуда выбирается. Несмотря на влияние матери, наступает момент, когда Буслаев, находясь в состоянии измененного сознания, готов ее убить (ср.: «У готтентотов новичок может оскорбить и даже ударить свою мать, и это будет знаком того, что он освободился от ее опеки»¹⁵).

12. После победы дружина Буслаева пьет из общей чаши, поет хвалу Буслаеву. Победа в *драке* одних парней над другими почти всегда сопровождалась пирушкой.

Факт приурочивания *драки* к христианскому празднику, максимально значительному для этого места, возможно, говорит о том, что это событие играет важную роль в жизни данного социума. *Драка* в общем сюжете праздника является одновременно апогеем и финалом — то есть, ей отводится главное место. Связь драки в сознании информантов с началом времен и отсутствие какого-либо автора сценария (с их точки зрения) также соотносимы с концепцией Элиаде: «Традиционное общество имеет тенденцию относить каждое современное ему приобретение к изначальному времени, рассматривая все события как вневременные, изначально мифические»¹⁶.

В заключение скажу, что оба сюжета — былинный и деревенский — взаимодополняют друг друга и по отдельности непонятны. По былине можно восстанавливать утерянные детали праздничной драки, а через сравнение этих уже связанных сюжетов с инициационными обрядами в других культурах можно понять возникновение необычного былинного сюжета и существование труднопонимаемой жестокой деревенской традиции.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Сюжет былины о Василии Буслаеве состоит из двух частей: боя Буслаева и его дружины с новгородцами и поездки героя в Иерусалим для замаливания грехов. Здесь рассматривается первая часть, которая напрямую связана с сюжетом *драки*.
- ² Полевые материалы собирались в Вологодской области. Также были привлечены для сравнения этнографические материалы по этому региону разных лет.
- ³ Братья Соколовы рассказывают о том, как они шли с местными парнями из одной деревни в другую на праздник, и, чем ближе парни подходили к деревне, тем более пьяными казались, хотя до этого были совершенно трезвыми (см.: *Соколов Б., Соколов Ю.* Сказки и песни Белозерского края. СПб., 1999. С. 84).
- ⁴ Там же.
- ⁵ *Тэрнер В.* Символ и ритуал. М., 1983. С. 246.
- ⁶ *Элиаде М.* Тайные общества. Обряды посвящения и инициации. М.; Л., 1999. С. 25.
- ⁷ Там же. С. 341.
- ⁸ *Ван Геннеп А.* Обряды перехода. М., 1999. С. 72.
- ⁹ *Элиаде.* Указ. соч. С. 90.
- ¹⁰ *Геннеп.* Указ. соч. С. 93.
- ¹¹ Там же. С. 20.
- ¹² *Элиаде.* Указ. соч. С. 16, 19.
- ¹³ *Геннеп.* Указ. соч. С. 35.
- ¹⁴ Там же. С. 24–25.
- ¹⁵ *Элиаде.* Указ. соч. С. 84.
- ¹⁶ Там же. С. 15.

ИСТОЧНИКИ

«Василий Буслаев и новгородцы»: Былины / Вст. ст., сост., подг. текста и прим. Б. Н. Путилова. СПб., 1999.

Новгородские Былины. М., 1978.

Фольклорный архив филологического ф-та СПбГУ, материалы по Белозерскому и Вашкинскому районам Вологодской обл. (1996–2000).

Этнографический архив РЭМа, материалы по Новгородской губернии конца XIX – начала XX вв.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ — МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПАНТЕОН?

Марина Пономарева
(Санкт-Петербург)

Данная работа является не решением, а постановкой ряда вопросов, связанных с широким комплексом проблем, который можно условно обозначить как принципы «канонизации» исторических персон.

Толчком для поиска решения этой проблемы было небольшое полевое исследование, проведенное автором статьи в 1998–1999 гг. в Санкт-Петербурге среди молодежи 15–25 лет¹. Основным методом исследования являлось интервьюирование. Это интервью, посвященное спиритическим сеансам, известным у опрашиваемых как практика «вызывания духов». Целью интервьюирования являлось выяснение:

- 1) наиболее актуальных адресатов спиритических сеансов;
- 2) техники вызывания (комплекс правил и запретов);
- 3) рефлексия информантов по поводу выбираемых ими адресатов общения;
- 4) половозрастные группы адресантов.

В результате анализа материала оказалось возможным выделить две следующие группы, занимающиеся практикой вызывания духов: 1) дети и подростки 7–12 лет, вызывающие гномика, Пиковую даму, Золушку, чертика, пьяного ежика и пр.; 2) подростки и молодые люди в возрасте 13–25 лет. В отличие от первой группы, состав участников второй не ограничен узкими возрастными рамками. В вызывании могут участвовать и люди старшего поколения — родители, которые зачастую и являются инициаторами действия.

Нас будет интересовать именно эта группа. Ее можно разделить, воспользовавшись «идеологическим» критерием: вызывают Ленина, Высоцкого, Виктора Цоя, поклонники творчества британского писателя Дж. Р. Р. Толкина — героев его эпопеи «Властелин колец». Так, общество можно поделить на, условно говоря, «содружества», объединенные почитанием определенного авторитета, наличием «своего» героя.

Однако, вне зависимости от возраста и «идеологической» принадлежности информантов второй группы, есть то, что объединяет

их всех. Это вызывание духов умерших родственников (8 текстов) и русских писателей. Пушкин упоминается 25 раз, Есенин — 5, Гоголь — 3, Достоевский — 3, Лев Толстой — 2 и т.д.

Существуют определенные правила и запреты вызывания духов. Информантами подчеркивается, что общение должно происходить в темное время суток («ночью», «в полночь», «поздно вечером») и в определенное время года («Новый год», «Рождество», «святки», «сочельник», «специальный день», «праздник»), в закрытом помещении (комнате, ванной, классе), куда дух как представитель иного мира приходит извне, напр., через открытую форточку.

Для вызывания духов необходим набор определенных предметов, допускающий вариации: лист бумаги с расчерченным по кругу алфавитом и цифрами, блюдце или иголка, зажженная свеча. Отметим также необязательную, но, на наш взгляд, любопытную деталь: при вызывании духа среди предметов, обеспечивающих удачный сеанс, называется стопка с налитой водкой или водой.

Общение с духом строится по схеме «вопрос — ответ». Цель общения — узнать о своем личном будущем. Вызывающими являются чаще всего незамужние девушки, этим и определяется характер задаваемых вопросов (время замужества, имя своего нареченного и пр.):

А вопросы задавали самые разные. Ну, например, во сколько лет выйдешь замуж, как мужа звать, сколько будет детей, как экзамен сдать <...> (К. И. В., ж., 1980 г. р.).

Начали вопросы всякие задавать.

<А какие вопросы?>

Ну, какие вопросы могут интересовать девушек, блин. Когда замуж выйдешь, в каком году (К. Н. С., ж., 1974 г. р.).

На вопрос о вызывании духов информанты рассказывают комплекс текстов: а) вызывание духов; б) гадание на суженого-ряженого; в) сны о суженом. Причем глаголы «гадать» и «вызывать» в речи информантов выступают в качестве синонимов.

Так, можно говорить о том, что современная практика вызывания духов русских писателей вписана и осмыслена носителями культуры в рамках уже мифологизированного пространства традиционной культуры. Доказывают это следующие детали:

- 1) временная приуроченность вызывания, в подавляющем большинстве случаев совпадающая с традиционными святочными гаданиями;
- 2) среди участников действия — незамужние девушки, вопрошающие о своей судьбе, своем суженом-ряженом;

- 3) значимые точки пространства (закрытое помещение, ванная, окно как обозначение границы);
- 4) стопка с водкой, которая в похоронном обряде играет известную роль: ее ставят покойнику, приглашая его за стол, поминая его;
- 5) сами информанты ставят в один ряд вызывание духов и святочные гадания, иногда причудливым образом их соединяя:

В тот год мне было лет 18 <...>. И вот в рождественские праздники или в крещенские <...> мы решили гадать. И гадать нужно было на обручальное кольцо. Опустить его в тонкую рюмочку или в тонкий стакан с плоским дном и смотреть до тех пор, пока не появится там суженый-ряженный. Нужно быть одной в комнате, зашторить окна, закрыть двери, смотреть. <...> Я все сделала, как было сказано, родители легли спать, я в своей комнате закрылась и стала смотреть на дно стаканчика. До тех пор, пока ясно, четко не увидела силуэта Александра Сергеевича Пушкина. Ну на том мое гаданье прекратилось. Я решила, что... ну как бы рано мне еще суженого своего смотреть, что это просто какая-то шутка, от Пушкина (П. Т. А., ж., 1946 г. р.).

Любопытными являются немногочисленные, к сожалению, (7 текстов) рассуждения информантов в ответ на предложенный вопрос о выбираемых ими адресатах общения. Например:

<Почему Пушкина часто вызывают? Как ты думаешь?>

<...> как бы все люди, всем людям он какой-то очень близкий, такой родной, что он всегда как бы рядом. И поэтому всегда так просто на него ссылаются (П. Т. А., ж., 1946 г. р.).

Адресаты общения воспринимаются не только как «знаменитые», но и как «близкие, родные» люди, которые во время спиритического сеанса ставятся в один ряд с умершими родственниками, и, как правило, обращение к ним предшествует общению с умершими родными.

Если говорить о пантеоне русских писателей, то необходимо расширение того довольно узкого исследовательского поля, которым является практика вызывания духов. Подтвердить предположение о существовании мифологического пантеона должно наличие сходного материала в других фольклорных жанрах (например, в анекдотах, также возможен анализ музейных книг отзывов и граффити) и устойчивые представления.

Наиболее показательна в этом смысле фигура А. С. Пушкина. Все, в большей или меньшей степени имеющее отношение к его личности, в пространстве русской культуры является сакральной ценностью, переживается как объект духовного опыта. Пушкин становится фигурой знаковой, теряя свои индивидуальные и приобретая

идеальные черты, в данном случае идеальные черты Поэта. В общественном сознании Пушкин живет в качестве родоначальника русской литературы, великого русского поэта, создателя русского литературного языка. Благодаря сложным отношениям поэта с властью и самому Пушкину, творящему романтический миф о самом себе, создается образ поэта-изгнанника. Преждевременная кончина и ее обстоятельства освещают по-новому, трагически, весь жизненный и творческий путь поэта. Как нам представляется, именно его смерть является одним из важнейших критериев для создания образа «героя» (Пушкин, Есенин, Ленин, Высоцкий, Цой, Тальков...).

Уже в XIX веке Мойка, 12 — место, перед которым русская интеллигенция снимает шляпу. В 1925 году там был создан музей-квартира А. С. Пушкина. Именно в советское время насаждается культ личности поэта, и посещение Мойки, 12 становится массовым. Каждому «культурному человеку» вменяется знакомство с музеем. Родители ведут туда детей, учителя — школьников... Для «посвященных» на Мойке устраиваются литературные вечера: Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава, Евтушенко.

Годовщина смерти Пушкина и по сегодняшний день отмечается на Мойке. Правда, с началом перестройки это уже не носит такого массового характера, как в былые годы, когда, по воспоминаниям работников музея, от самой Капеллы стоял милицейский заслон, и из-за скопления людей к дому нельзя было подойти.

Анализ архивных материалов показывает, что «дух Пушкина» является наиболее популярным среди адресатов спиритических сеансов. Кроме того, тексты его произведений используются в качестве гадательных книг, по которым можно узнать свою судьбу.

«Великие русские писатели», официальный культ которых начал активно развиваться в послереволюционное время, становятся заменой в тех точках культурного (и духовного) пространства, куда религиозное сознание помещает свои авторитеты. На этом основании предположение о существовании мифологического пантеона русских писателей во времена советской и постсоветской эпохи кажется нам правомерным.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Записи исследования хранятся в Фольклорном архиве Санкт-Петербургского государственного университета. Также материалом для работы послужили записи Фольклорного архива СПбГУ, сделанные в пионерских

лагерях Зеленогорска, Сестрорецка и Сосново в 1993–1994 гг., материалы из личного архива Е. В. Кулешова и Фольклорного архива Академической Гимназии при СПбГУ. Общее количество опрошенных составляет 140 человек.

ЛИТЕРАТУРА

- Адоньева С. Б. Дух Пушкина // Даугава, 2000. № 6. С. 110–115.
- Береговская Э. М. Пушкин в массовом сознании // Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу: Труды семинара «Творчество А. С. Пушкина в историко-литературном контексте». Смоленск, 10–12 февраля 1998 года. Смоленск, 1998. С. 160–167.
- Виноградова Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели) // Славянский и балканский фольклор: Обряд, текст. М., 1981. С. 13–43.
- Винокур Г. О. Биография и культура // Винокур Г. О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М., 1997.
- Лотман Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры (XVIII – начало XIX века). М., 1996. Т. 4.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
- Неклюдов С. Ю. Исторический нарратив: между «реальной действительностью» и фольклорно-мифологической схемой // Мифология и повседневность. Материалы научной конференции 18–20 февраля 1998 года. СПб., 1998. С. 288–292.
- Топорков А. Л. Суеверные приметы и мифология повседневности // Мифология и повседневность. Материалы научной конференции 18–20 февраля 1998 года. СПб., 1998. С. 32–42.
- Цивьян Т. В. Оппозиция мифологическое / реальное в поздних мифопоэтических текстах // Малые формы фольклора. М., 1995. С. 130–144.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ГРЕШНИКА: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ОБРАЗЦЫ В СКАЗАНИИ АВРААМИЯ ПАЛИЦЫНА

Мария Сморжевых
(Тарту)

Тема смерти и смертного часа была одной из самых популярных в средневековой литературе. Расставание с жизнью изображалось по формуле из «Прения Живота и Смерти»: «Смерть грешникам люта, а праведну мужу покой есть. <...> Легкая смерть — та, за которой душу ожидает вечное блаженство; тяжкая — имеющая следствием адские муки»¹. Данная формула соотносилась с представлением о том, что умирающий оказывается перед Страшным Судом, который ожидает человека не только в «конце времен», но и совершается в момент самой смерти. Согласно такому представлению выстраивались описания смерти в памятниках древнерусской литературы: события, связанные с кончиной человека (болезнь, поведение умирающего, предсмертные видения), и сама кончина (умиротворенная или мучительная) воспринимались не иначе как проявление «индивидуального» Суда, который являлся прообразом Суда будущего. Соответственно, благообразная смерть становилась свидетельством праведности человека, безобразная — греховности.

Описания смерти грешников в литературе данного периода — это преимущественно рассказы о кончине мучителей, учинявших страшные пытки первохристианским исповедникам. Такие рассказы находят отражение в переводных мучениках, посвященных мученикам первохристианства и вошедших в состав агиографических сборников. Описания смерти мучителя занимают сравнительно небольшую часть текста мученикии, но являют собой яркую, изобилующую натуралистическими деталями картину безобразной смерти.

В качестве примера приведем фрагмент из «Мучения святых мучениц Веры и Надежи, Любове и матери ихъ София» — мученикии, вошедшей в состав Макарьевских Четий Миней: «мучитель <царь Адриан. — М. С.> въ болѣзнь и въ страсть велію впаде: зѣнници во очию его искописта, и плоть отъ костей его огни, и колѣни его отъ червѣи снѣдени быста, и ѹдове составѣ

его обнажиша, и персти отъ члѣновъ его отпадоша, ис плоти же огонь съ червьми падаше <...> рассыпая плоть его и кости»². Болезнь и смерть Адриана наступают, как указывает агиограф, «по пророчествѣ дѣвъ»: перед казнью Вера и Надежда обращаются с молитвой к Богу и, завершая молитву, произносят: «нечестиваго же мучителя не пощади, нѣ гнѣвомъ и яростию раздрѣшивъ, чюдеси яви въ животѣ предъ чловѣки» (Вера); «мучителя сего погуби мечемъ и червемъ неусыпающимъ» (Надежда)³. Таким образом, смерть царя становится не только исполнением пророчества, но и знаком Суда, который свершается над грешником «предъ чловѣки».

Знаменательно, что, повествуя о мученической кончине святых, агиограф акцентирует внимание на несокрушимости и благообразии плоти, претерпевающей самые ужасные пытки (смерть наступает только тогда, когда святым отсекают голову), а рассказывая о болезни и смерти Адриана, — на обратном, и описание смерти мучителя выстраивается как описание разлагающегося мертвого тела, разница лишь в том, что в данном случае процессу разложения подвержена еще живая плоть. Тело грешника, таким образом, становится отображением души, осужденной на вечные муки и, стало быть, мертвой для Вечной жизни. В этой связи значимым оказывается упоминание о червях, изъедающих тело грешника: болезнь мучителя проецируется на адскую муку, представление о которой дает текст Священного Писания.

Так, в книге пророка Исаии, в изображении Страшного Суда, упоминается о «неусыпающем» черве ада: «И изыдутъ, и оузрятъ трупы чловѣковъ престѣпившихъ мѣ: червь во ихъ не скончается, и огонь ихъ не оугаснетъ, и будутъ въ позоръ всякой плоти»⁴.

Вечный червь как символ геенны упоминается и в Евангелии от Марка: «довѣ ти есть вѣднику (вез рѣки) въ животъ внити, неж овѣ рѣцѣ имущу внити въ геенну, во огонь неугасающий, идѣже червь ихъ не умираетъ, и огонь не угасаетъ»⁵. (Показательным в этой связи становится и замечание агиографа о том, что из тела Адриана «огнь съ червьми падаше»⁶; огонь — как еще один признак геенны.) То, что геенна наступает для мучителя уже при жизни, является знаком Суда, совершающегося в момент смерти, и прообразом Суда будущего, который свершится в «конце времен».

Аналогичные закономерности описания (акценты на разрушении плоти грешника и противопоставление этого разрушения несокру-

шимости плоти святых; представление безобразной плоти как отражения души; соотнесение мучительной болезни и смерти с моментом истины и приговором Суда; упоминание о червях, изъедающих плоть, и, соответственно, проецирование предсмертной болезни на адскую муку; обращенность к зрителям: происходящее с грешником — не просто Суд, но и знак окружающим) отчетливо прослеживаются и в других рассказах о смерти грешников. Однако такие рассказы в литературе данного периода всегда фрагментарны и немногочисленны: внимание древнерусских авторов сосредоточено, прежде всего, на описании смерти праведников; создаются развернутые княжеские некрологи, маририи и жития, в центре которых — благообразная, прославленная смерть.

В XVII в. происходит резкая смена акцентов, литература этого периода дает необычайно яркий и богатый материал по описанию болезни и смерти грешников. Повествуя об этом, авторы XVII в. обращаются к уже существующей традиции (ранним агиографическим памятникам с рассказами о мучителях первохристиан), но вносят в нее новые черты и, в отличие от древнерусских авторов, особым образом эту традицию актуализируют.

Каким образом данная актуализация происходит, и в чем заключаются ее функции, проследим на примере Сказания Авраамия Палицына⁷ (текст, повествующий об осаде Свято-Троицкого монастыря польско-литовскими войсками в период 1608–1610 гг.; был написан к 1620 г.).

Развернутые описания смерти грешников появляются в этом тексте в двух главах: «**О смерти Иосифовѣ**» и «**О морѣ на люди**». Каждой из этих глав предшествует описание греха, которое составляет отдельную главу и на которое неоднократно ссылается автор, рассказывая о смерти грешника.

Таким образом, глава «**О смерти Иосифовѣ**» оказывается соотнесенной с главой «**О измѣне казначея Иосифа Девочкина**», а глава «**О морѣ на люди**» — с главой «**О умножении во граде беззаконна и неправды**».

В главе «**О измѣне казначея Иосифа Девочкина**» рассказывается о задуманном казначеем предательстве, которое Авраамий ставит в ряд тяжких преступлений перед Богом и связывает с последующей мучительной смертью Иосифа.

Глава «**О смерти Иосифовѣ**» начинается со следующего вступления: «**Ров же рыяй незловивым и впадесе не въ ямѣ, но в безднѣ мукѣ и поноса, не от чловѣкъ токмо, но и от Бога и**

прочим в наказанье» (222). Данное рассуждение непосредственно соотносится с предыдущей главой и обуславливает дальнейшее повествование, которое выстраивается согласно авторскому представлению о том, что страшная смерть Иосифа — кара Божья. В описании болезни и смерти казначея особый акцент сделан на разрушении плоти. Болезнь Иосифа начинается, по свидетельству Авраамия, с того, что на теле изменника появляется огромное количество «рогатых плотоядцев», которые быстро разрастаются и поедают живую плоть: «**Во един во час червь малъ, яко мѹха, ползая по плоти, возрасте с перстѣ человекѣ и рожцама естество тлѣнно извертѣвая**» (222) (очевидно, что упоминание о червях здесь значимо не просто как зарисовка с натуры, но и как отсылка к библейским описаниям геенны). Изменник претерпевает страшные страдания, а вскоре кости его так распухают, что становятся обнаженными. По словам Авраамия, многие люди, хотя и плакали от сострадания, вынуждены были отходить от стонущего Иосифа, не в силах более вдыхать страшный смрад, исходивший от заживо гниющего тела. Рассказчик отмечает, что все очевидцы происходившего говорили: «**Во истинѹ от Господа попущение сие**», сообщает о смерти Иосифа: «**И тако злѣ скончася**» и здесь же упоминает о том, что сообщник Иосифа тоже мучительно скончался: «**ѹтрова емѹ расседеся**» (222).

В главе «**О ѹмножении во граде беззаконна и неправды**» рассказывается о том, что когда осада монастыря ослабла, люди, отдохнувшие «от великихъ бѣдъ», забыли о чудесном покровительстве монастырю чудотворцев Сергия и Никона и впали в беззаконие: начали пьянствовать, стали сребролюбивыми. И хотя монастырская братия призывала людей к благочестию, и в чудесных видениях святые Сергий и Никон предрекали «злую кончину» всем неправедно живущим, беззаконие в обители умножалось. Следствием же греха и исполнением пророчества стали мучительная болезнь и массовая гибель людей, о чем повествуется в главе «**О морѹ на люди**».

В описании болезни и смерти, как и в рассмотренных выше фрагментах, особый акцент сделан на разрушении плоти: «**распухневаху от ногъ даже и до главы; и зѹбы тем исторгахѹся и смрад зловонен изо ѹстнѹ исхождаше, рѹцѣ же и нозѣ корчахѹся, жиламъ сводимымъ внѹтрѣ и внѣюдѹ от язв кипящихъ. <...> И согниваху телеса ихъ от каа изметѹ и проядаше скверна даже до костей, и черви велицы гмизяхѹ**» (232).

Отражается в данной главе и противопоставление смерти праведных и грешных: рассказывая о погребении, Авраамий указывает то,

что достойное погребение грешников не состоялось: «от могил же исперва по рѣваю за выкопѣ емяюще, и потомъ по два и по три, таже и по четыре и по пяти даяху, но не бѣ кому уже принимати, ни копати; и во едину могилу и яму погребаху по десяти и по двадесяти, и двонцею сѣгубо и вяще» (232). В другой же главе Сказания, упоминая о смерти людей, защищавших обитель и умерших «за святѣю православнѣю вѣрѣ», Авраамий отмечает: «И погребовша ихъ честно, соворнѣ отпѣвше надъ ними надгровныя пѣсни» (192–194).

Подводя некоторый итог, отметим: смерть грешника в Сказании Авраамия представлена развернутыми, подчеркнута натуралистическими описаниями. Данные описания выстраиваются в соответствии с теми закономерностями, которые проявлялись и в мартириях, в описании смерти мучителей. Однако наряду с уже традиционными деталями повествования и акцентами в этом описании появляется существенно новая черта: проекция на события, сопряженные с концом света. Одно из доказательств тому — очевидные параллели с «Паренесисом» Ефрема Сирина. «Паренесис», представленный многочисленными списками (самый ранний из них — список XIII в., хранившийся в библиотеке Троице-Сергиевой лавры), занимал одно из центральных мест в эсхатологической литературе древней Руси.

Влияние данного текста на Сказание отчетливо проявилось в следующих деталях повествования: мертвыми наполнены дома и храмы; повсюду смрад; от смрада задыхаются живые; умерших некому погребать:

Сказание Палицына.
Глава «О мору на люди»

«Паренесис» Ефрема Сирина.
Слово «О антихристе»

1) «великий храм Пресвятыя Богородицы <...> по вся дни мертвыхъ наполняшеся»;

2) «бѣ мракъ темень и смрадъ золь»;

«бѣ же тогда золъ смрадъ, не токмо в келіяхъ, но и повсему монастырю, и в слѣзбахъ, и во святыхъ церквахъ»;

3) «умножися смерть в людехъ, и другъ от друга, от дѣху умираху»;

1) «на цѣстахъ трупиа и въ храмѣхъ мертвиин»;

2) «на цѣстахъ смрадъ и въ домѣхъ смрадъ»;

«смрадъ в мори, смрадъ на землі»;

3) «отъ многихъ мертвыхъ <...> смрадъ всюду оскорбляетъ <т.е. поражаетъ. — М. С.> живыа кърѣпко»;

4) «не бѣ кому уже примати, ни 4) «и нѣсть тогда погребан, ни копати» (232–234). сътреляян въ гробъ»⁸.

Актуализация ранних агиографических памятников и текста эсхатологического содержания оказывается в данном случае очень значима: представление о Суде индивидуальном перерастает в представление о Суде всечеловеческом, а современная ситуация проецируется на апокалиптический «конец времен».

Обращенность к раннехристианской традиции и эсхатологическим сочинениям рассматривают, прежде всего, как отличительную черту литературы более позднего периода, а именно литературы раскола. Так, М. Б. Плюханова пишет о том, что именно в истории первохристианства, «никогда прежде не получавшей у русских подобного значения», деятели раскола находят прецеденты и параллели к подвигам сторонников старой веры и к ситуации народной жизни XVII в. в целом⁹. Мартирии первохристианских исповедников становятся моделью для осмысления собственного жизненного пути: огненная смерть приравнивается к подвигу мученической смерти; жизнь человека воспринимается как мученичество и получает в своем завершении «окончательный, священный смысл»¹⁰. Сама же гарь осмысливается не иначе как свершение Страшного Суда¹¹, в чем заключается, как отмечает М. Б. Плюханова, суть русского эсхатологического действия второй половины XVII в.

Рассмотренные выше фрагменты Сказания позволяют сделать вывод о том, что свою особую актуальность ранние агиографические памятники обретают уже в литературе Смутного времени: мартирии первохристиан становятся моделью для описания смерти (в данном случае, смерти грешника), и, кроме того, аналогом восприятия действительности: самоощущение людей XVII в. перемещается в такое же эсхатологическое время, в какое зарождалась история первохристиан, а «конец света» из неопределенного будущего переносится автором XVII века в современность и воспринимается как действие, свершающееся ныне.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Елеонская А. С. Утверждение ценности жизни («Отразительное писание» инока Евфросина) // Русская публицистика второй половины XVII в. М., 1978. С. 193.

² Великие Миней-Четьи митрополита Макария. СПб., 1869. Сентябрь. Стлб. 1241–1242.

³ Там же. Стлб. 1237–1238.

⁴ Ис. 66: 24.

⁵ Марк 9: 44.

⁶ Великие Минеи-Четьи митрополита Макария. Сентябрь. Стлб. 1241–1242.

⁷ Сказание Авраамия Палицына // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII вв. М., 1987. С. 162–281. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы в круглых скобках.

⁸ Цит. по: *Архангельский А. С.* Творения отцов церкви в древнерусской письменности. С. 69–71.

⁹ *Плюханова М. Б.* О некоторых чертах народной эсхатологии в России XVII–XVIII вв. // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1985. С. 54–70; С. 58.

¹⁰ Там же. С. 60.

¹¹ Там же.

ИЗ ИСТОРИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКИ 1753 г.: «САТИРА НА САМОХВАЛА»

Кирилл Осповат
(Москва)

1. Приписывающаяся И. С. Баркову «Сатира на Самохвала» была впервые опубликована в 1906 г. Е. А. Бобровым по знаменитому казанскому сборнику «Разные стиходействии» (см.: Бобров) и затем без изменений воспроизведена в известной монографии П. Н. Беркова. Последний на основании несомненного тематического сходства «Сатиры...» с басней Тредиаковского «Самохвал», вошедшей в его сборник 1752 г. «Сочинения и переводы...», датировал эпиграмму 1752 г. и объявил ее «язвительной пародией на Тредиаковского» (см.: Берков, 97–98). В двухтомнике «Поэты XVIII века» (1972) текст эпиграммы перепечатан с некоторыми исправлениями по списку ЦГАДА (см.: Поэты, 530). Результирующая редакция «Сатиры...» вошла и в новейшее издание «Девичьей игрушки» (см.: Барков, 344). Эту редакцию с нашими ритмическими конъектурами (в тексте отмеченными курсивом) мы приводим ниже.

1. В малой философиишке мнишь себя великим,
2. А чем больше мудрствуешь, становишься диким.
3. Бегаёт тебя всяк, думает, что еретик,
4. Что необычайны шутки делать ты обык.
5. Руки на лоб иногда невзначай закинешь,
6. Иногда закусишь перст, да вдруг же и вынешь.
7. Но случилось так же головой качать тебе,
8. Как что размышляешь иль дивишься сам себе.
9. *Всякий мог* [вм. Мог всяк] подумать тут о тебе смотритель,
10. Что великий в свете ты и премудр учитель.
11. Мнение в народе умножаешь больше тем,
12. Что молчишь без меры и не говоришь ни с кем;
13. А когда тебя о чем люди вопрошают,
14. Дороги твои слова из уст вылетают:
15. Правда, скажешь — токмо кратка речь твоя весьма —
16. И то смотря косо, голову же заламя.
17. Тут-то глупая твоя братья все дивятся,
18. И, в восторг пришедши *вдруг*, жестоко ялятся:

19. «Что б когда такую [ем. такую же] голову иметь и нам, —
20. Истинно бы нашим свет тогда предстал очам».

Гипотеза о принадлежности «Сатиры...» (распространявшейся, по всей видимости, анонимно) Баркову восходит к указанию Казанского сборника и списка ЦГАДА, которое было безоговорочно принято Бобровым и Берковым. Между тем авторству Баркова не существует ни одного положительного доказательства. Первые его печатные выступления относятся к 1762 г. (см. Степанов, 58; Барков, 30), и, хотя некоторые литературные труды (исторические и переводческие) Барков начал осуществлять раньше, в конце 1750-х гг. (см. Барков, 28–30), ничто не свидетельствует о его оригинальной поэтической деятельности в этот период. Тем более нет никаких сведений о каких-либо сочинениях Баркова начала 1750-х гг. (или конца 1740-х, вопреки предположению Беркова — см. Берков, 77).

Отвергнув авторство Баркова, наиболее логичным кажется приписать эпиграмму Тредиаковскому. На него указывает и заглавие «Сатиры...», отсылающее к упомянутой басне, и своеобразный размер, которым эпиграмма написана¹. Сам Тредиаковский в «Способе к сложению российских стихов...», вошедшем в тот же сборник 1752 г., называет этот размер «гексаметром хореическим» и определяет так: «стиха гексаметра хореического женского первое полстишие должно состоять тремя стопами и долгим слогом, который есть пресечением, но второе, имеющее двусложную рифму, тремя токмо <...>. Напротив того, хореического мужского стиха первое полстишие состоять имеет тремя стопами равно; и третьею оканчивать слово для пресечения; а второе, имеющее односложную рифму, тремя и долгим слогом <...>» (Тредиаковский 1752, 106–107). Такой стих (фактически 7-стопный) на русской почве используется почти исключительно Тредиаковским (см.: Пумпянский, 181–183); в частности, «гексаметром хореическим» написана половина текстов из той подборки «эзоповых басенок», в которую вошел «Самохвал». Кроме того, так как в женском варианте этого размера после третьей стопы нарушается жесткое чередование сильных и слабых мест, сам размер плохо поддается автоматизированному воспроизведению «со слуха» (ср. нарушения метрической схемы в пародийной «Надгробной надписи» — см.: Барков, 348)² и поэтому может служить веским доказательством авторства Тредиаковского.

Согласно утвердившемуся в науке мнению, басня «Самохвал» направлена против Ломоносова. Распространить эту гипотезу на «Са-

тиру...» позволяет близкий ее пересказ в позднейшем антиломоновском памфлете Христофора Зубницкого (1757): «Во всех науках и во многих языках *почитает он себя совершенным*, хотя о некоторых весьма средственное, а о других никакого понятия не имеет; со всем тем, ежели незнающий ученых шарлатанов его послушает, *легко поверить может, что он в свете первый полигистор*» (Берков, 215)³. Заглавный мотив «Сатиры» воспроизводится и в позднейшей эпиграмме Тредиаковского: «Цыганосов <...> *Не горд, не самохвал* и в должности исправен» (Поэты, 401–402). Прошлые выпады против «самохвальства», прямо привязанные в этих случаях к имени Ломоносова, оказываются тем самым обособлены от тематически сходных упреков Тредиаковского Сумарокову (см.: Гринберг и Успенский, 152–153). Различение двух противников реально существует в полемической системе Тредиаковского — если противостояние его с Сумароковым лежало в литературной плоскости, то враждебное отношение к Ломоносову было вызвано внутриакадемическими столкновениями и до некоторого времени не переносилось на сочинения последнего⁴ (см.: Гринберг и Успенский, 110). Как видно из письма Зубницкого, к академическим обстоятельствам апеллирует и обвинение Ломоносова в «самохвальстве»; косвенно об этом свидетельствует и непосредственно следующее за ним в цитированной эпиграмме упоминание о «должностной неисправности» поэта.

2. Установить непосредственный повод для написания басни «Самохвал» позволяет, как кажется, одна деталь, контрастирующая с привычной обобщенностью басенного рассказа. Самохвалу, хвастающемуся своими успехами на Родосе, сограждане отвечают: «Ты к Родьянам о том, пожалуй, *не пиши*» (Тредиаковский 1752, 226)⁵. В этой строке легко прочесть намек на эпизод, относящийся к 1745 г. и в пристрастном изложении Ломоносова выглядящий так: «<...> умыслил советник Шумахер <...> мои, апробованные уже диссертации <...> послать в Берлин, к профессору Ейлеру конечно с тем, чтобы их он охулил <...>», — и далее: «ассессор Теплов, Ломоносову тайно <от Шумахера. — К. О.> показ[л] аттестат Ейлеров о его диссертациях, великими похвалами преисполненный» (Ломоносов, 10, 284; см.: Пекарский 1873, 361–363). Усмотрев однажды в действиях Шумахера покушение на свою «славу» (впрочем, безосновательно — см.: Билярский, 69), Ломоносов не устал защищать ее перед коллегами по Академии, ссылаясь на похвалы Эйлера. Такую «похвальбу всегдашнюю» (по выражению басни) Ломоносов предписывает себе в письме к ученому от 16 февраля 1748 г.: «Отплатить за

ваше благодеяние <т.е. благоприятный отзыв. — К. О.> не могу ничем иным, как только тем, что буду <...> *непрестанно прославлять во всяком месте и во всякое время вашу справедливость в оценке чужих трудов*» (Ломоносов, 10, 437; ориг. на лат. Ср. в «Самохвале»: *«То завсе пред людьми, где было их довольно, / Дел славою своих он похвалялся больно»*). Compliments иноземных ученых поэт настойчиво приумножал и в последующие годы; как показывают составленные позднее «Свидетельства о науках советника Ломоносова», к моменту опубликования «Самохвала» только подписанных Эйлером положительных аттестаций у Ломоносова было три (см.: Ломоносов, 10, 572–575). В конце концов «самохвальство» стало осмысляться как характеристическая черта академического поведения Ломоносова. Уже после рассматриваемых событий, в 1754 г., секретарь академической Канцелярии Шумахер писал о нем Эйлеру: «здесьние профессора и академики <...> не могут сносить его *высокомерия и тщеславия*, что будто бы высказанные им <...> мысли новы и принадлежат ему» (Пекарский 1865, 59; ср. позднейший отзыв Шлецера — Куник, 512). Таким образом, заглавие «Сатиры...» реминисцировало уже устоявшуюся академическую репутацию Ломоносова и безошибочно указывало на адресата эпиграммы.

Возникновение «Сатиры...», по-видимому, было спровоцировано несколькими событиями октября–ноября 1753 г. (и должно быть, таким образом, отнесено к последним месяцам этого года). Стих 1 напоминает о знаменитой «распре за старшинство» (см. изложение ее обстоятельств: Пекарский 1873, 170–172), во время которой Ломоносов требовал на протоколе академического заседания написать его имя выше имен остальных участников. В составленной Тредиаковским жалобе от 4 ноября мы находим то же противопоставление умеренных притязаний Ломоносова его невежеству, что и в эпиграмме: «г<оспо>д<и>н советник ясно отнял у меня старшинство <...>, утверждаясь токмо, <...> что будто его наука перед нами всеми лучшая; <...> как может наука его быть отменною пред *нашею* для того, что *премножество в его науке погрешностей, лжи и самого грубого незнания* <...>» (Биларский, 234–235). «Дивящаяся» герою «глупая его братья» в ст. 17–20 и упомянутая в ст. 10 его претензия на положение «великого в свете учителя» отсылает к спорам вокруг «Сатиры на петиметра» Елагина, содержавшей некоторые выпады против Ломоносова (см.: Берков, 119–125). Отвечая на них, ученик Ломоносова Поповский в стихах, мимоходом задевавших и Тредиаковского, назвал своего учителя «парнасским писцом» (Поз-

ты, 386), а сам Ломоносов так писал об этом Шувалову 16 октября: «Данный мне <...> титул никогда бы я не оставил <...>, если бы я хвастовством моих завистников не принужден был рассудить, что тем именем ныне ученику назвать меня можно, которым меня за двадцать лет учителя мои называли» (Ломоносов, 10, 492). С Поповским связан и другой случай, также подразумеваемый в ст. 10. Указывая в более позднем отзыве о стихах Поповского на погрешности стихосложения, якобы унаследованные последним от Ломоносова, Тредиаковский вспоминает о «чрезвычайной профессорской конференции, бывшей октября 3 дня <...>, когда при <...> мнимом первенстве профессорства своего <...> <Ломоносов. — К. О.> кричал, что он один здесь отправляет должность профессора красноречия и стихотворства» (Билярский, 247). Ср. сходную самооценку Ломоносова в позднейшем письме Воронцову: «Через пятнадцать лет нес я на себе четыре профессии, то есть в обоим красноречии, в истории, в физике и в химии <...> во всех показал знатные изобретения» (Ломоносов, 10, 535).

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Никаких верифицируемых доказательств якобы пародийного задания данной эпиграммы, которым Берков объясняет ее соотношенность с басней Тредиаковского, не существует.
- ² Нераспространенностью данного размера объясняются и ритмические погрешности в позднейших списках «Сатиры...», по возможности исправленные нами.
- ³ Здесь и далее во всех цитатах курсив наш. Думается, что эта переключка может быть бесполезна при поисках автора «Передетой бороды...» и писем Зубницкого (см.: Берков, 214–218), степень непричастности к которым Тредиаковского Берков (см.: Берков, 222–224), как кажется, сильно преувеличивает (см.: Ломоносов, 8, 1078–1079).
- ⁴ Как нам представляется, Тредиаковский до начала 1750-х гг. последовательно пытался сохранить хорошие отношения с Ломоносовым, числя его чуть ли не своим литературным союзником (см.: Ломоносов, 8, 1026; 9, 949; Успенский, 393). Разбираемые нами тексты демонстрируют неудачу этих попыток.
- ⁵ Эта деталь, по-видимому, позволяет отвергнуть предположения А. А. Куника и П. Н. Беркова о причинах возникновения эпиграммы (см.: Куник, XLIX; Берков, 97).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Барков: Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова / Изд. подг. А. Зорин и Н. Сапов. М., 1992.
- Берков: *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750–1765. М.; Л., 1936.
- Биларский: Материалы для биографии Ломоносова. Собраны экстраординарным академиком Биларским. СПб., 1865.
- Бобров: *Бобров Е.* Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. I. Сатира И. С. Баркова на Самохвала // Известия ОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 4.
- Гринберг и Успенский: *Гринберг М. С., Успенский Б. А.* Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х – начале 1750-х годов // Russian Literature. 1992. Vol. XXXI. N 2.
- Куник: Сборник материалов для истории имп. Академии наук / Изд. А. Куник. СПб., 1865. Ч. I–II.
- Ломоносов, 8–10: *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1955–1959. Т. 8–10.
- Пекарский 1865: Дополнительные известия для биографии Ломоносова. Акад. П. Пекарского. СПб., 1865.
- Пекарский 1873: *Пекарский П. П.* История имп. Академии Наук в Петербурге. СПб., 1873. Т. 2.
- Поэты: Поэты XVIII века. / Подг. текста и прим. Г. С. Татищевой. Л., 1972. Т. 2.
- Пумпянский: *Пумпянский Л. В.* Тредиаковский и немецкая школа разума // Западный сборник. М.; Л., 1937.
- Степанов: *Степанов В. П.* Барков // Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1 (А–И).
- Тредиаковский 1752: *Тредиаковский В. К.* Сочинения и переводы как стихами так и прозою... СПб., 1752. Т. 1.
- Успенский: *Успенский Б. А.* К истории одной эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой полемики середины XVIII в.) // Успенский Б. А. Избранные труды. Изд. 2-е. М., 1996. Т. 2: Язык и культура.

МОСКОВСКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ И ГОРОДСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ («Марьина роща» В. А. Жуковского)

Мария Борщева
(Москва)

Общепризнан тот факт, что с конца XVIII – начала XIX вв. в русскую литературу все более активно начинают проникать элементы фольклора. Огромную роль в истории взаимодействия литературы и фольклора сыграл романтизм с его установкой на национальную специфику, обращением к истории, народной поэзии и верованиям.

В этой работе мы рассмотрим повесть В. А. Жуковского «Марьина роща». Представленные ниже соображения являются частью исследования, посвященного сопоставлению трех произведений, представляющих, на наш взгляд, три этапа развития жанра московской романтической повести и связанных не только темой Москвы, но и использованием фольклорного материала. Это «Марьина роща» Жуковского (1809), «Лафертовская маковница» Антония Погорельского (1825) и «Не дом, а игрушечка» А. Ф. Вельтмана (1850).

«Марьина роща» — типичная раннеромантическая или даже сентиментальная повесть в духе других произведений своего времени. Многие исследователи отмечают, что повесть Жуковского напоминает «Бедную Лизу» Карамзина стремлением автора, опираясь на так называемые исторические реалии, эстетизировать старину. Другой аспект родства «Бедной Лизы» и «Марьиной рощи» рассматривает М. П. Одесский в связи с «“московски-любовным мифом”, определяемым формулой “Москва — место гибели / разлуки с любимой”»¹.

Напомним кратко сюжет повести. Влюбленным Марии и Усладу приходится расстаться, в отсутствие Услада Мария выходит замуж за грозного Рогдая, но продолжает любить Услада. Тот же, узнав об измене, решает никогда не возвращаться в родную деревню. Рогдай убивает Марию из ревности. Услад узнает о судьбе Марии, в тереме Рогдая ему является призрак любимой, который приводит юношу к отшельнику, у которого тот и остается жить, оплакивая Марию. Финал повести возвращает нас к жанру предания о происхождении названия: «И хижина отшельника <...>, и скромная часовня богоматери, и камень, некогда покрывавший могилу Марии, —

все исчезло; одно только наименование *Марьиной Рощи* сохранено для нас верным преданием»². Таким образом, Жуковский создает свою версию предания об одном из примечательных московских уголков.

Что же знал об истории этого места москвич начала прошлого столетия? Приведем выдержку из книги известного москвовед И. М. Снегирева «Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру»: «По выезде из Крестовской заставы, представляются вам напоминания о смерти и вместе о былом <...>. По правую сторону, Пятницкое кладбище, а по левую, в Марьиной роще старое немецкое кладбище <...>, под сенью этой же рощи — старейшее в древней столице Лазарево кладбище, где у редкого из Московских жителей нет родных и друзей. <...> По выходе неприятеля из Москвы 1812 года, собирали и свозили туда полуистлевшие человеческие трупы и сжигали их в кострах, для предохранения города от заразы»³. Что касается сожжения трупов в 1812 году, то место это было выбрано неслучайно. По свидетельству того же И. М. Снегирева, еще с царствования Петра I, когда начали анатомировать внезапно умерших, их тела потом отвозили на Убогие дома (село Скудельниче), что подтверждает и фольклорный источник — песня из «Нового и полного собрания Российских песен», изданного Н. Новиковым в 1780 г.:

Ах! беда в скуде, нет места в воде,
Вытащут оттоль, изсушат как моль,
Почнут потрошить, чтоб кости сушить,
Да тем чередом и в Убогий дом;
Там ночь велика, и до Семика⁴.

Последняя строчка говорит о народном празднике Семика (седьмой четверг после Пасхи), который соединялся с обрядом погребения убогих, умерших в течение года. Снегирев сообщает, что при Елизавете «Убогие дома уже перенесены были <...> к Марьиной роще и там, где впоследствии устроено Лазаревское кладбище»⁵.

Можно предположить, что репутация у Марьиной рощи была мрачная, однако для москвичей конца XVIII–XIX веков она стала традиционным местом гуляний на Семик (именно потому, что соседствовала со скудельницей). О таких гуляниях рассказывает М. Н. Загоскин в книге «Москва и москвичи». Снегирев описывает, как «лет за сорок перед тем» на Семик «народ в венках из ландышей» с песнями отправлялся гулять в Марьину рощу⁶.

Хотелось бы также остановиться на любопытном совпадении. В финале повести Жуковского упоминается часовня, сооруженная над

могилой Марии. Нами же в одном из номеров «Вятских губернских ведомостей» за 1861 г. была обнаружена заметка, принадлежащая, по всей видимости, перу местного краеведа и озаглавленная «Часовня в память Марии убиенной, находящаяся Вятской губернии, Яранского уезда, при деревне Лядовой». Статья эта удивительным образом перекликается с сюжетом повести Жуковского: на берегу реки Пижмы находится деревянная часовня, в которой молятся за упокой Марии убиенной. «Переходящее из рода в род» предание гласит, что лет двести назад на месте часовни был убогий дом, а при нем «находилась для служения в оном одна благочестивая женщина по имени Мария»⁷. Мария была «неизвестно за что» убита и похоронена при убогом доме, после чего «стала являться многим христианам во сне и просила о себе молитв их и поминовения. <...> С тех-то пор молва о Марии убиенной разнеслась по всей России и стечение народа ко дню поминовения ее бывает громадное»⁸. Совпадений действительно много: убиенная Мария, являющаяся людям во сне, часовня, выстроенная над ее могилой на берегу реки, находящаяся рядом часовня Божией Матери (ср. у Жуковского: «... там, где прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роше, <...> — там некогда погибла несчастная Мария; там сооружена была над гробом ее часовня во имя богоматери»⁹). А если вспомнить «Убогие дома» на месте Марьиной роши, о которых пишет Снегирев, то возникает параллель с тем убогим домом, в котором приютилась героиня вятского предания. Конечно, трудно говорить о степени случайности таких совпадений: повесть и заметку разделяет полвека, а река Пижма находится далеко от московской Яузы, но нужно учитывать, что в фольклорном предании сюжет часто важнее, чем конкретная локализация. А потому остается некоторая доля вероятности, что совпадения эти не чистая случайность, и автору «Марьиной роши» могла быть известна или сама вятская история, или подобная ей.

Однако вернемся к московскому урочищу. Современные москвоведы сообщают, что «в 1880 году Марьиная роща была вырублена, а место, где она росла, было застроено деревянными домами, где стали селиться мелкие ремесленники и торговцы»¹⁰. Но, по-видимому, не только «мелкие ремесленники и торговцы» селились в этом районе. К 1923 году, когда Евг. Баранов записал предание о Марьиной роше, у нее сложилась репутация «нехорошего», опасного района. «Информант» Баранова, бродячий валторнист Отряха-мученик, называет ее не иначе, как «притон воров и жулья», «разбойничий вертеп»¹¹.

Когда же произошла такая важная перемена в истории Марьиной рощи? Что касается фольклорной версии, то оба спорящих связывают происхождение названия с разбойниками: в одном случае легендарная Марья — «повелительница разбойников», в другом — любовница лакея Ильи, ставшего грабителем. Отряха-мученик даже датирует свою версию истории о Марье: «В крепостное время история происходила»¹². Есть здесь и объяснение дурной славы Марьиной рощи: Марья объявилась ворожейкой, а Илья подстерегал, грабил и убивал приходивших к ней. «И после такого его занятия пошла молва, что в лесу завелись разбойники»¹³. История заканчивается гибелью Марьи, которую Илья зарезал из ревности (пожалуй, это единственный эпизод, имеющий некое сходство с сюжетом повести Жуковского). Финал — традиционный для предания: «... с той поры пошло прозвище этому лесу “Марьиная Роща”»¹⁴.

Можно предположить, что «разбойничье» предание о Марьиной роще возникло как попытка объяснить специфику этого района Москвы — пристанища воров, мошенников, фальшивомонетчиков. Судя по историческим сведениям, такой Марьиная роща становится после 1880-х годов. В таком случае предание, записанное Барановым, сравнительно молодое. Но, скорее всего, существовали и более ранние фольклорные тексты, объяснявшие это название, причем нельзя исключать, что разбойничий сюжет в связи с Марьиной рощей возник задолго до тех изменений, которые произошли в жизни района в конце XIX столетия. Вспомним, что местность эта входит в городскую черту лишь в середине XVIII века, а до того здесь была подмосковная роща.

Недалеко отсюда до села Ростоккина, об истории которого пишет в своем «Путеводителе» И. М. Снегирев: «Предметом сказаний, песен и романов сделалась Танька Ростоккинская, удалая крестьянская девка, которая некогда с шайкой своей, приставав в острове, грабила и разбивала обозы»¹⁵. Такая перекличка с барановским сюжетом наводит нас на мысль о том, что вопрос о фольклорной репутации Марьиной рощи достоин дальнейшего внимательного изучения, связанного, прежде всего, с поиском более ранних записей текстов преданий.

Важно, однако, что Жуковского, который в 1809 г. пишет свое «старинное предание», такие подлинные тексты вряд ли интересовали. Во многом, видимо, прав и А. Н. Веселовский, усматривающий в замысле повести автобиографическую основу — любовь поэта к Маше Протасовой¹⁶.

Подведем некоторые итоги. Несмотря на подзаголовок «старинное предание», «Марьяна роща» — это, прежде всего, раннеромантическая повесть с типичными для этого жанра сюжетными атрибутами и не менее типичными, как показал Ю. В. Манн, психологическими характеристиками героев¹⁷. И если о связи с фольклором здесь говорить сложно, и вряд ли Жуковский ставил перед собой задачу достоверной стилизации именно под фольклорный жанр (вспомним, что поэтика такого рода текстов еще не стала тогда объектом внимания собирателей и исследователей народной словесности), то московская тема в повести очень важна.

Москва, воспринимаемая в оппозиции к Петербургу как древняя столица, символ патриархальной традиционности и преемственности времен, избрана Жуковским как олицетворение той поэтической старины, в которой романтики искали выражения национального самосознания. Москва становится в его повести своего рода связующим звеном между современностью и историей, национальными корнями. Этот момент призваны акцентировать реплики повествователя, указывающего современнику-москвичу на знакомые городские приметы — Яузу, Неглинную, Троицкую дорогу, Мытишинский водовод.

Сама же Марьяна роща могла быть выбрана Жуковским как одно из любимых мест гуляния, объединяющее москвичей разных сословий: недаром Снегирев отмечает, что в роще находится «старейшее в древней столице Лазарево кладбище, где у *редкого из московских жителей* нет родных и друзей» <курсив наш. — М. Б.>, а Загоскин целиком посвящает один из своих московских очерков гуляниям в Марьиной роще. Здесь, как нам кажется, проявляется одна из характерных черт «московского текста», который, по словам И. С. Веселовой, «представляет собой путаницу для внешнего наблюдателя и комфортную среду для “своих”»¹⁸. Место действия повести, кажущееся на первый взгляд случайным, оказывается значимым, будучи включенным в городской контекст. Жуковский, хотя и упоминает «зубчатые стены Кремля», селит своих героев не в историческом центре города; трагическая любовная история в повести связывается с местом, остающимся и для москвичей начала XIX столетия местом воспоминаний об ушедших близких, раздумий о смерти (примером тому — герой очерка Загоскина). Для Жуковского материалом становится не столько фольклор в виде конкретных текстов или сюжетов, сколько образ местности, ассоциации, связанные с ней в сознании жителей города, — то, что относится к московскому фольклору в более широком понимании.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Одесский М. П.* Москва — град святого Петра. Столичный миф в русской литературе XIV–XVII вв. // Москва и «московский текст» русской культуры. М., 1998. С. 17–18.
- ² *Жуковский В. А.* Марьино роша // Жуковский В. А. Собрание сочинений. Т. 4. М.; Л., 1960. С. 390.
- ³ *Снегирев И. М.* Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. М., 1856. С. 40–41.
- ⁴ *Снегирев И. М.* Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. М., 1864. Т. 1. С. 144.
- ⁵ Там же. С. 143.
- ⁶ *Снегирев И. М.* Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1837–1838. [Вып. I–IV].
- ⁷ *Кукарянин.* Часовня в память Марии убиенной, находящаяся Вятской губернии, Яранского уезда, при деревне Лядовой // Вятские губернские ведомости. 1861. № 40. Отдел II. Часть неофиц. С. 326.
- ⁸ Там же.
- ⁹ *Жуковский В. А.* Указ. соч. С. 390.
- ¹⁰ *Гуржий Т., Сатыренко А.* Легенды и мифы Москвы. М., 1997. С. 118.
- ¹¹ <*Баранов Е. З.*> Московские легенды, записанные Евг. Барановым. М., 1993. С. 97.
- ¹² Там же. С. 100.
- ¹³ Там же. С. 104–105.
- ¹⁴ Там же. С. 107.
- ¹⁵ *Снегирев И. М.* Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. С. 52.
- ¹⁶ *Веселовский А. Н.* Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пг., 1918. С. 119.
- ¹⁷ *Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 316.
- ¹⁸ *Веселова И. С.* Логика московской путаницы (на материале московской «несказочной» прозы конца XVIII – начала XX в.) // Москва и «московский текст» русской культуры. М., 1998. С. 115.

«ПРАВЕДНЫЙ СУДЬЯ» ИЛИ
«МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ»:
КОНЦЕПЦИЯ МОНАРХА В «ЗАПИСКЕ О
Н. ТУРГЕНЕВЕ» В. А. ЖУКОВСКОГО

Тимур Гузаиров
(Тарту)

«Записка о Н. Тургеневе» принадлежит к числу почти неисследованных текстов Жуковского. Ее касались лишь отчасти Н. Дубровин, Е. Тарасов, Н. В. Самовер, Л. Н. Киселева, т.е. исследователи, писавшие либо о Н. Тургеневе, либо о проблемах «Жуковский и декабристы», «Жуковский и власть в 1830-е гг.»¹. Но до сих пор нет специальной работы, посвященной анализу этого текста. Рассмотрение данного документа, по нашему мнению, позволило бы более глубоко понять позицию Жуковского конца 1820-х гг. и, в частности, отношения между Жуковским и властью в 1826–1827 гг.

«Записка о Н. Тургеневе» — это апология друга, обвиненного в участии в тайных обществах и в умысле на цареубийство. Николай Иванович Тургенев — автор книги «Опыт теории налогов», арзамасец, известный государственный деятель (1818–1824), а также член «Союза Благоденствия» — был привлечен к ответу «по делу о возмущении 14 декабря 1825 г.», как говорилось в официальных документах, хотя с апреля 1824 г. жил за границей. Он был осужден на основании показаний свидетелей к смертной казни, хотя лично так и не предстал перед судом. Во время судебного разбирательства Тургенев находился в Англии, которая предоставила ему политическое убежище. Ход расследования и противоречивые обстоятельства дела Тургенева вызвали сомнения у близко знавших его людей в справедливости николаевского судопроизводства. Это, в свою очередь, вызвало ряд попыток заступиться за своего друга перед царем.

В декабре 1827 г. Жуковский передает Николаю I оправдательную записку Н. Тургенева и его письмо к императору, а также письмо графини Г. Разумовской с просьбой о помиловании Тургенева и, как мы предполагаем, собственную «Записку о Н. Тургеневе». Несмотря на общую цель — смягчить участь «декабриста без декабрия» — эти тексты различаются тактикой защиты Тургенева и спосо-

бом обращения к царю. Это является, на наш взгляд, результатом разного понимания идеи справедливости и роли монарха в осуществлении правосудия. Рассматривая текст «Записки о Н. Тургеневе» Жуковского, мы попытаемся реконструировать его концепцию самодержавной власти, в частности, представление поэта о царе — то, кем он должен быть, говоря словами французских юристов XVII–XVIII вв.: «праведным судьей» или «милостивым государем».

Суд над декабристами был одним из составляющих элементов в представлении Николая I о власти, о чем писал в своей книге «Sceptarious of Power» американский исследователь Р. Вортман². Согласно этому сценарию, монарх выступает как олицетворение общественных правил и законов. В беседе с французским послом Николай I сказал ему о деле декабристов: «Закон диктует наказание. Я буду беспристрастным. Мне суждено дать урок России и Европе»³. В общественном сознании Николай I настойчиво формирует представление: царь — это хранитель правосудия, но одновременно педалирует и другую идею: царь — милостивый монарх. Показательный пример — слова, приведенные в списке «Достопамятных происшествий» 1826 г., под числом 13 июля в Месяцеслове на лето от Рождества Христова 1827: «Приговор Верховного уголовного суда над государственными преступниками исполнен с возможным милосердием»⁴. Эти слова звучали невольной иронией, так как было известно, что во время казни два декабриста сначала сорвались с виселицы, что по существующим законам не позволяло повторно их наказывать (т.е. вешать) за одно и то же преступление, однако казнь была приведена в исполнение.

Ходатайства за Н. Тургенева апеллируют к справедливости и человеколюбию государя, т.е. к тем чертам, которые оформляли образ монарха в представлении подданных. При этом всегда резко противопоставляются Николай I как воплощение закона и судебная система как воплощение произвола. «Приношу, Государь, к Вашему трону мою исповедь; в ней все сказано, — писал Н. Тургенев в письме к Николаю I — <...> Судьи мои те, кои могли поставить меня наряду с изменниками и убийцами, не примут ее. Но Вы, Государь, *судья моих судей* <курсив мой. — Т. Г.>, обратите на нее взгляд внимательный»⁵.

В своей «Записке» Жуковский избирает иную тактику. Он стремится установить между собой как автором и Николаем I как читателем отношения адвоката и судьи, а не просителя и милостивого государя. Жуковский избегает характерных для других текстов клише, вроде: «Всемиловитый государь, на коленях прошу о Николае Тур-

гениеве»⁶ (из прошения самого поэта 1826 г.), или «Я не могу не искать облегчения от сего бремени в великодушии Вашего Императорского Величества <...> К Вам, Всемиловитейший Государь, и обращаюсь»⁷ (из письма Н. Тургенева к Николаю I). В тексте нет ни одного прямого обращения к императору, «Записка» начинается с цитаты из приговора Н. Тургенева и строится в виде вопросов и ответов, что, по нашему мнению, напоминает судебные прения.

Текст Жуковского состоит из трех частей. В первых двух, самых больших по объему, поэт, анализируя приговор суда и обстоятельства дела своего друга, приводит читателя к мысли о несправедливом осуждении Н. Тургенева и о необходимости его оправдания *по закону*: «Следственно Тургенев не может быть осужден как преступник, замышлявший цареубийство и ниспровержение установленного в России порядка. <...> Во всем, что против него сказано на допросах, гораздо более материалов для его оправдания, нежели для его осуждения. <...> Итак, своею неаякою он положил только препятствие суду оправдать его»⁸, — констатирует автор «Записки».

В своем тексте Жуковский пытается воссоздать предполагаемый разговор между ним и монархом по делу Тургенева. Хотелось бы подчеркнуть при этом, что Жуковский, как нам кажется, намеренно пишет на языке понятий николаевской эпохи. Проиллюстрируем это утверждение примером.

В процессе работы над «Запиской» поэт активно использовал письма самого Тургенева. В одном из писем к брату, А. Тургеневу, декабрист писал: «На слова, что я Якобинец, можно отвечать, что я желал освобождения крестьян посредством правительства и так как сие доказывается всеми моими поступками в Совете»⁹. Жуковский в «Записке» подхватывает эту идею, хотя несколько трансформирует высказывание Тургенева: «Он утверждал, что свободу крестьянам в России может приготовить и даровать одна только самодержавная власть» (Записка, 18). Смещение акцента с «правительства» на «самодержавную власть» кажется нам неслучайным: это — сознательный отказ от политической терминологии александровского правления и переход на новый язык николаевского времени.

Николай I всячески подчеркивал роль монарха, в частности, изменил официальную формулу, использовавшуюся при подписании указов. Приведем выдержку из письма М. М. Фока к А. Х. Бенкендорфу: «В предшествующее царствование было сделано все, чтобы умалить права государя, как самодержца. Ему ли говорить <...> “ознакомившись с мнением государственного совета”, мы повелели и

повелеваем! Не следует приучать наш слух к такому тону; не надо государственного совета... По-видимому, государь <Николай I. — Т. Г.> также сознает эту истину, и очень вероятно, что он <...> один будет издавать законы, и мы не увидим более постановлений, появляющихся под различными формами»¹⁰.

Таким образом, утверждение Жуковского о необходимости отмены крепостного права с помощью самодержавной власти непосредственно апеллирует к идеологии Николая I и позволяет представить Н. Тургенева как идейного союзника монарха.

Однако вернемся к самой «Записке». Тактика защиты Тургенева Жуковским основывается на доводе, что Н. Тургенев не может быть осужден по существующим законам. Вот аргументы поэта:

1. Тургенев участвовал в тайном обществе тогда, когда они еще не были запрещены, т.е. до 1822 г.;
2. за неявку на суд вина законом не определена: «Следовательно неявка не есть сама по себе вина» (Записка, 16).

Не случайно поэтому акцентирование поэтом юридических, формальных доказательств невиновности Тургенева. По мнению Жуковского, монарх должен быть праведным и справедливым судьей. «Цель беспристрастного суда <т.е. монаршего, в рамках данного текста. — Т. Г.> есть не обвинение и не оправдание, а одна правда... Отыскание вины и отыскание невинности равно должны быть для суда святы, ибо и в этом и в другом равно может заключаться правда» (Записка, 17).

Однако Жуковский, несмотря на требование правосудия, заканчивает «Записку» просьбой о монаршей милости: «Если государь окажет ему милость, повелев миссиям не тревожить его нигде в Европе вне России, то сия милость будет в то же время и справедливостью» (Записка, 23). Означает ли это отказ Жуковского от претензий на оправдание по закону?

Написав «Записку о Н. Тургеневе», Жуковский еще до подачи царю дал ее для прочтения помощнику министра юстиции, бывшему арзамасцу Дм. Дашкову. Оправдательный документ убедил Дашкова в невиновности Тургенева, однако он заметил: «Правительство не должно признаваться в несправедливости, оказанной лицу частному»¹¹. Другими словами, по логике верного чиновника, монарх, как олицетворение законности, не всегда может следовать закону и быть беспристрастным судьей. Поэтому Жуковский и предлагает компромиссное решение: в качестве милости позволить Тургеневу переехать из Англии на материк. Это будет и проявлением великодушия

царя, но одновременно и частичным признанием невиновности Тургенева («сама справедливость требует облегчить его положение» — Записка, 23).

Если в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина, как пишет М. С. Неклюдова, «апелляция к милости (в отличие от “справедливости”) означает отказ от более законных претензий»¹², то в «Записке о Н. Тургеневе» Жуковского понятия справедливости и милости оказываются взаимосвязанными.

Первые две части текста, где поэт разбирает следственное дело Тургенева и настаивает на совершении правосудия, подготавливают третью часть — просьбу о монаршей милости. Жуковский, подавая письмо Г. Разумовской к Николаю I, сопровождал его своим личным письмом к государю, где писал: «Минута, в которую открывается невинность или в которую хоть часть вины снимается с осужденного, есть минута лучшая царей; ибо в такую минуту и узнается и радуется всемогущество, которого истинное имя есть милосердие»¹³. Это — ключ к пониманию как композиции текста, так и концепции монарха в «Записке о Н. Тургеневе». Государь, по мнению поэта, должен оказать милосердие осужденному Тургеневу не только потому, что милость — прерогатива монарха, но и потому, что царь тем самым продемонстрирует, что вина осужденного не столь велика и он со временем может быть оправдан. Чтобы быть «милостивым государем», монарх должен быть одновременно и «праведным судьей» (т.е. точно следовать закону).

Соблюдение законности в государстве и нравственный облик царя, как гаранта правового общества, являются, как считает Жуковский, основами самодержавной власти. В статье 1829 г. «Польза истории для государей» он написал: «Уважай закон и научи его уважать своим примером: закон, пренебрегаемый царем, не будет и храним народом»¹⁴.

Жуковский по своему мировоззрению — монархист. Однако его взгляд на монарха и власть часто расходится с общепринятым. Было бы, на наш взгляд, интересно в дальнейшем обозначить как точки пересечения, так и различия между позицией Жуковского и официальной доктриной в 1830-е гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Дубровин Н. В. А. Жуковский и его отношение к декабристам // Русская старина. 1902. № 4. С. 45–119; Киселева Л. Н. Пушкин и Жуковский в 1830-е годы (точки идеологического сопряжения). <Рукопись>; Самовер Н. В. «Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу...». Диалог В. А. Жуковского с Николаем I // Лица: Биографический альманах. М., 1995. Вып. 6. С. 87–119; Янушкевич А. С. Круг чтения В. А. Жуковского 1820–1830-х годов как отражение его общественной позиции // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Т. 1. С. 466–521; Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985. С. 170–182.
- ² Wortman, R. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton University Press, 1995. Vol. I. P. 275–279.
- ³ Quoted by: Wortman, R. Op. cit. P. 275.
- ⁴ Цит. по: Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / Сост.: А. И. Рейтблат. М., 1998. С. 126.
- ⁵ <Тургенев Н. И.> Письмо Н. И. Тургенева к императору Николаю Павловичу // Русский архив. 1895. № 9. С. 32.
- ⁶ Цит. по: Дубровин Н. Указ. соч. С. 66.
- ⁷ <Тургенев Н. И.> Указ. соч. С. 32.
- ⁸ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений: В 12 т. / Под ред. А. С. Архангельского. СПб., 1902. Т. 10. С. 15–16. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с пометой «Записка» и указанием страницы.
- ⁹ <Тургенев Н. И.> Письмо Н. И. Тургенева в Париж к брату его Александру Ивановичу и к Жуковскому // Русский архив. 1895. № 11. С. 340.
- ¹⁰ Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая. По донесениям М. М. Фока — А. Х. Бенкендорфу // Русская старина. 1881. Т. 32. Сентябрь. С. 190.
- ¹¹ Цит. по: Самовер Н. В. Указ. соч. С. 91.
- ¹² Неклюдова М. «Милость / правосудие»: о французском контексте пушкинской темы // Пушкинские чтения в Тарту 2. Тарту, 2000. С. 204–211.
- ¹³ <Жуковский В. А.> Письмо В. А. Жуковского к имп. Николаю Павловичу // Русский архив. 1895. № 8. С. 520.
- ¹⁴ Жуковский В. А. Указ. соч. С. 24.

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИДЕОЛОГИИ: ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. В. КУКОЛЬНИКА

Анна Немзер
(Москва)

После восстания декабристов существовавший и раньше вопрос о формировании официальной идеологии России снова возник, причем как вопрос, имеющий принципиальное значение. Проблема национальной самоидентификации России и путей ее исторического развития горячо обсуждалась и раньше. Но при Николае I эта проблема очевидно заостряется — можно предположить, что виной тому неудачное начало царствования Николая и его восприятие декабристского восстания как «тлетворного влияния Запада». Так или иначе, молодой царь берет курс на «русификацию» общества. Свою роль здесь сыграло и польское восстание, из-за которого Николай полностью отказался от намерения интегрироваться в европейский мир и, напротив, еще решительнее стал проводить идею нового статуса России как государства, «идущего другим путем»¹.

О происхождении триады «православие — самодержавие — народность» могут быть разные мнения². Но, тем не менее, эта высказанная Уваровым в официальной форме программа стала краеугольным камнем в создании новой государственной мифологии. Другая, также очень важная, идея была высказана Великим князем Константином Павловичем: «Древность есть надежнейшая ограда государственных уставов...»³.

Н. В. Кукольник, родившийся в 1809 году и проведший детские и отроческие годы в Малороссии, в начале 30-х годов переезжает в Петербург. Около двух лет требуется Кукольнику для того, чтобы сориентироваться в ситуации, в 1833–34 гг. он пишет одну за другой две пьесы, которые задают две линии его творчества. В 1833 г. из-под его пера выходит драматическая фантазия «Торквато Тассо»; меньше чем через год появляется пьеса «Рука Всевышнего Отечество спасла». Первое произведение вызывает горячий восторг публики и критики. Кукольника объявляют новым Байроном⁴. Вторая драма провоцирует гораздо более противоречивые реакции⁵.

Дебютные пьесы Кукольника определяют своеобразный характер его творчества: он всю жизнь будет писать, с одной стороны, пьесы, рассказы и повести из жизни «французской и италийской», описывать в них художников, не понятых обществом (в этом выразится его соперничество с Пушкиным⁶). С другой стороны, Кукольников будут создаваться пьесы из российской истории с неизменно присутствующей темой величия православного государя.

Из двух направлений творчества Кукольника нас в данной работе будет интересовать второе — «великодержавное». В своих исторических произведениях Кукольник ориентируется, прежде всего, на два периода: Смутное время и эпоху Петра I. Именно Смутному времени посвящена пьеса «Рука Всевышнего Отечество спасла». Это был удачный дебют для молодого автора.

Кукольник выбирает сюжет, необыкновенно подходящий для формирования новой государственнической идеологии. «Смутное время», доминирующее в начале пьесы, постепенно «рассеивается», на первый план выдвигаются такие герои, как Минин (воплощение идеи народности), патриарх Гермоген (православие), Пожарский (как фигура промежуточная, он мог бы олицетворять самодержавие, но для этого есть М. Ф. Романов. Отчасти Пожарский воплощает идею православия: он чудесным образом исцеляется, когда Минин с народом приходит к нему) и сам Михаил Романов.

Смутное время описывалось и до правления Николая I⁷. Но Кукольник угадывает именно то, что хочет увидеть в истории государь: в центре — идея самодержавия, благодаря которому устанавливается идеальный порядок, идея народности (Минин и иже с ним) и идея православия, которое выражается в наличии в пьесе разного рода чудес (в том числе уже в самом заглавии драмы)⁸. Примечательно то, что основной становится именно идея самодержавия, а народность и православие оказываются факторами вспомогательными.

И это неслучайно. Исследователи отмечают, что в уваровской триаде «православие — самодержавие — народность» наибольшее внимание уделено второму пункту, а наименьшее — третьему⁹. И Кукольник расставляет акценты в своей драме именно так: идея самодержавия воцаряется Божьей волей и с помощью народа. Самодержавие оказывается в центре еще и потому, что до его торжества счастливый финал все же невозможен. Самодержавие становится гарантом спокойствия, благополучия и мира. И, безусловно, важнейшим фактором здесь является воцарение именно Романовых, а, значит, отпечаток избранности должен неизбежно лежать и на Николае I.

«Рука Всевышнего...» имела грандиозный успех. Но критикам она понравилась значительно меньше, чем «Торквато Тассо»¹⁰. «Руку Всевышнего...» обругал Н. А. Полевой в своем «Московском телеграфе», что стало поводом для закрытия журнала. После этого в Петербурге и в Москве появилась известная эпиграмма:

Рука Всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого удушила...¹¹

«Рука Всевышнего...» действительно дала поэту ход. С 1834 г. Кукольник начинает активно писать, разрабатывая обе «линии» (исторических российских пьес и произведений «франко-итальянских»), пытаясь, вероятно, угодить «и вашим, и нашим»: то есть нравиться литературным критикам и сохранять хорошие отношения с Николаем.

Кукольник на протяжении всей жизни декларирует свою любовь и преданность Николаю I: известно его высказывание в связи с переводом по службе в Таганрог в 1847 г.: «Если царь прикажет, через 2 месяца акушеркой буду»¹².

В своем кругу Кукольник также культивирует обожание Николая. Так, он активно участвует в работе над либретто оперы М. И. Глинки, в дневнике писателя мы находим запись от 6 июня 1836 года: «Я советую заменить название оперы — другим, более *выразительным* <курсив мой. — А. Н.>; а также и для отличия ее от первого «Ивана Сусанина»...»¹³. Мы не можем ручаться, что идея переименования оперы из «Ивана Сусанина» в «Жизнь за царя» пришла Кукольнику в голову первому, но эта запись свидетельствует, что подобная мысль пришлась ему по душе. Даже в опере своего друга Кукольник расставляет акценты так, как должно нравиться государю¹⁴. Другой период, к которому часто обращается в своем творчестве Кукольник, — эпоха Петра I. И эта тема оказывается гораздо двусмысленнее темы воцарения Романовых.

С одной стороны, Петр — император из романовской династии. Но, с другой стороны, с этим правителем связан ряд коннотаций, не вписывающихся в новую официальную идеологию. Петр, конечно, не являлся тем историческим лицом, с которым ассоциируются идеи национальной самобытности России.

Характерно, что именно с рассказом о петровских временах связан уникальный инцидент недовольства Николая I Кукольником.

В 1841 г. Кукольник пишет исторический рассказ «Сержант Иван Иваныч Иванов, или Все заодно». Сюжет рассказа сводится к сле-

дующему: в военных условиях барин и его бывший крепостной меняются местами. Молодого барина за провинности забирают в солдаты, а слуга становится сержантом и даже в какой-то момент учит своего бывшего хозяина палкой. Доказывается равенство крепостного и барина перед царем. В этом произведении отразилась активная неприязнь Кукольника к дворянскому сословию. Это сказалось на всех «уровнях» — от комического до вполне серьезного.

В 1842 г. Кукольник получает письмо от А. Х. Бенкендорфа по поводу этого произведения: «Исторический рассказ ваш “Сержант Иван Иванович Иванов” обратил на себя внимание публики желанием вашим выказать дурную сторону русского дворянства и хорошую — его дворового человека. Государь император удивляется, как может человек столь просвещенный и обладающий таким хорошим пером, как вы, милостивый государь, убивать время на занятия, вас недостойные, и на составление статей, до такой степени ничтожных. <...> Желание ваше беспрерывно выказывать добродетель податного состояния и пороки высшего класса людей не может иметь хороших последствий, а потому не благоугодно ли вам будет на будущее время воздерживаться от печатных статей, *противных духу времени и правительства* <курсив здесь и далее мой. — А. Н.>, дабы тем избежать взыскания, которому вы, при меньшей, как ныне, снисходительности, подвергнуться можете, ибо император считает вас очень *полезным и талантливym писателем*...»¹⁵.

Ответ Кукольника, к сожалению, неизвестен, но характер его реконструируется по второму письму Бенкендорфа: «<...> спешу уверить вас, милостивый государь, что из памяти государя императора совершенно изгладилось то впечатление, которое произведено было повестью вашею “Сержант Иванов”, и в мыслях Его Величества не осталось против вас ни малейшего гнева; если же вам и сообщено было о замеченных недостатках в вашей повести, то единственно потому, что Его Величество, памятуя все другие произведения ваши по части литературы, был несколько остановлен тем, что в новой повести вашей встречаются места, не вполне достойные пера вашего, и Его Императорское Величество соизволил заметить это именно потому, что считает вас в числе отличных писателей, всегда ожидал от вас произведений, равных вашему таланту, и что вы трудами своими можете приносить пользу и честь нашей литературе...»¹⁶. Кукольник, вероятно, написал ответ с такими испуганными оправданиями и пафосом, что вынудил Бенкендорфа утешать и успокаивать себя (хотя первое письмо отличается резким и категоричным тоном).

Упреки Николая и Бенкендорфа сформулированы четко: нельзя унижать дворянство. Но здесь, вероятно, присутствует еще и недовольство самим выбором эпохи.

Кукольник не зря несколько раз в этих письмах назван *полезным* писателем. Он точно выполняет недеklarированную программу Николая I и С. С. Уварова: внедрять официальную идеологию не только на уровне политических лозунгов, но и на всех жизненных уровнях; в том числе — на уровне искусства. (В это время у Николая появляется «верноподданническая» журналистика, ассоциировавшаяся с именами Греча и Булгарина. Но они быстро становятся одиозными фигурами. Кукольник же до какого-то момента воспринимается как талантливый поэт, и лишь спустя некоторое время в нем начинают стремительно разочаровываться¹⁷.)

Кукольник со своими «богемными» друзьями является наглядным подтверждением того, что у Николая есть официальное искусство. Он имеет отношение почти ко всем отраслям искусства и потому выполняет некоторую почти универсальную функцию. Кукольник литератор и прославляет в своих произведениях «правильные» ценности; он знаток музыки и дает Глинке стратегические советы по поводу названия оперы; почти все его «тенденциозные» произведения написаны в форме драмы и ставятся на сцене Александринского театра. Он издает «Художественную газету» и журнал «Иллюстрация». Наконец, Кукольник в своих пьесах акцентирует именно те идеи самодержавия (православия — народности), которые являются основой идеологии — а значит, он конструирует *правильный* ход истории; доказывает органичность такого развития. Именно поэтому фигура Петра I, неизбежно ассоциирующаяся с переворотами, решительными изменениями, вызвала неодобрение Николая. И, вероятно, именно эта «универсальность» так привлекает внимание Николая к творчеству Кукольника: на единственный промах автору немедленно указывают и дают понять, что такого больше не должно повториться.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Шильдер Н. К. Император Николай I. СПб., 1903. Т. II. С. 284–320.

² См., например: Зорин А. Л. Идеология «православия — самодержавия — народности»: опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума С. С. Уварова Николаю I) // НЛО. 1997. № 26. С. 71–105; Виттекер Ц. Х.

Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 102–139; *Киселева Л. Н.* Жизнь за царя // Россия / Russia. 1999. Вып. 3 [11]. С. 174.

³ Цит. по: *Зорин А. Л.* Указ. соч. С. 74–75.

⁴ *Сенковский О. И.* Т. Тассо. Большая драматическая фантазия. Сочинение Н. Кукольника, 1833 // *Сенковский О. И.* Собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VIII. С. 15–28.

⁵ Премьера «Руки Всевышнего...» состоялась 15 января 1834 года на сцене Александринского театра.

⁶ О драматической фантазии «Доменикино» см.: *Вересаев В.* Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868) // *Вересаев В.* Ступени Пушкина. М., 1937. Т. 2. С. 308–311.

⁷ См.: *Зорин А. Л.* «Бескровная победа» кн. Пожарского (события Смутного времени в русской литературе 1806–1807 гг.) // *НЛО.* 1999. № 38. С. 111–128.

⁸ Характерен также диалог Заруцкого и козака в пьесе: «Заруцкий: А кто у них начальник? Козак: Я спрашивал, и мне сказали — Бог...».

⁹ См. об этом, напр.: *Киселева Л. Н.* Карамзинисты — творцы официальной идеологии (заметки о российской гимне) // *Тыняновский сборник. Шестые–седьмые–восьмые Тыняновские чтения.* М., 1998. Вып. 10. С. 32.; *Виттекер Ц. Х.* Указ. соч. С. 112–128.

¹⁰ См., напр.: *Сенковский О. И.* «Драмы из эпохи самозванцев» // *Сенковский О. И.* Собрание сочинений. Т. VIII. С. 60–68. Об этом вопросе см. подробнее: *Вацууро В. Э.* Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х гг. // *История русской драматургии XVII – первой половины XIX века.* Л., 1982. С. 352–357.

¹¹ Цит. по: *Вацууро В. Э., Гиллельсон М. И.* Указ. соч. С. 163.

¹² ИРЛИ. Ф. 371. № 121. Л. 14 об.

¹³ *Кукольник Н. В.* Дневник // *Баян.* 1888. № 9. С. 90. О дневнике Кукольника см.: *Штейнпресс Б. С.* Дневник Кукольника как источник биографии Глинки // *Глинка М. И.* Исследования и материалы. Л.; М., 1950. С. 88–118.

¹⁴ На эту тему см. работы: *Киселева Л. Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху // *Лотмановский сборник 2.* М., 1997. С. 279–303; см. также: *Живов В. М.* Иван Сусанин и Петр Великий. О константах и переменных в составе исторических персонажей // *НЛО.* 1999. № 38. С. 51–65.

¹⁵ Русская старина. 1871. № 6. С. 793.

¹⁶ Русская старина. 1892. № 7.

¹⁷ См. об этом: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1988. С. 67–74, 91–93, 108–111, 128–131, 135–139, 144, 154, 158, 160, 171–173.

ОБ ОДНОЙ ВАЛЬТЕР-СКОТТОВСКОЙ ЦИТАТЕ У ПУШКИНА

Каспар Раннику
(Тарту)

Пушкин был горячим поклонником Вальтера Скотта. Он знакомится с его сочинениями уже в южный период¹, однако в сферу активного творческого интереса поэта Скотт попадает в середине 1820-х гг. Имя Скотта начинает регулярно появляться в его письмах (см.: XIII, №№ 115, 159, 227). В 1828 г. Пушкин серьезно занялся изучением английского языка и с этого времени мог читать Скотта в подлиннике². К этому же году относится пушкинский перевод баллады «Два ворона» («Ворон к ворону летит...») из сборника «Песни шотландских пограничников», составленного Скоттом³. Интерес к «шотландскому чародею» особенно обостряется у Пушкина в 1830-е гг. — в период прозы. Он дает высокую оценку умению Скотта «объективно» воссоздавать исторические эпохи и представлять исторических героев «домашним образом» (XII, 195). Скоттовский опыт был использован им при создании исторических романов «Арап Петра Великого», «Дубровский» и «Капитанская дочка»⁴.

В данной заметке мы остановимся на цитате из В. Скотта, приведенной в конце письма Пушкина к Чаадаеву 19 октября 1836 г. Обратимся к предыстории этого письма.

В 1826 г. Чаадаев возвратился в Россию после заграничного путешествия. К 1828 г. относится начало его работы над «Философическими письмами», которая была закончена в 1831 г. Чаадаев стремился опубликовать свое сочинение; в попытках публикации принимал участие и Пушкин. В мае 1831 г. он увез в Петербург два «Философических письма» (шестое и седьмое), в надежде их опубликовать⁵, но эта затея не осуществилась.

В сентябре 1836 г. в 15-м номере «Телескопа» было напечатано анонимно первое «Философическое письмо» Чаадаева, которое вызвало бурную реакцию в обществе. Пушкин получил оттиск чаадаевской статьи и 19 октября написал отклик. Письмо не было послано Чаадаеву, так как сразу же после его написания Пушкин узнал о репрессиях, постигших адресата и журнал. На последней странице своего письма Пушкин оставил следующую запись: «Ворон ворону гла-

за не выключет — шотландская пословица, приведенная В<альте-ром> Ск<оттом> в Woodstock» (XVI, № 1267).

Уточним текстологию этой цитаты. В томе писем большого академического собрания сочинений Пушкина, который был подготовлен Н. В. Измайловым, она отнесена к вышеупомянутому письму к Чаадаеву (XVI, № 1267). Такое же текстологическое решение мы находим в издании «Пушкин. Письма последних лет (1834–1837)», которое было подготовлено В. Э. Вацуро⁶. В десяти томном академическом собрании сочинений Пушкина, подготовленном Б. В. Томашевским, эта цитата из Скотта помещена не в томе писем, а в томе критической прозы и определена как отдельный набросок 1836 г., связанный с замыслом статьи о пословицах середины 20-х годов. Действительно, в одном из имевшихся у Пушкина сборников («Собрание 4291 древних российских пословиц», изд. 1770 г.) им отмечена пословица: «Ворон ворону глаза не выключет; а хоть и выключет, да не вытащит»⁷, что и явилось основанием для заключения Б. В. Томашевского.

Таким образом, мы имеем две текстологические версии, совпадающие лишь в том, что текст относится к 1836 г.

Нам представляется, что текстологическое решение Н. В. Измайлова и В. Э. Вацура является более убедительным, т.е., на наш взгляд, эта цитата из Скотта относится к письму к Чаадаеву, и мы хотим это подтвердить.

Мотив ворона является в творчестве Пушкина довольно частым. Можно даже составить «воронологию» Пушкина, в конце которой будет располагаться интересующая нас цитата из скоттовского «Вудстока». В библиотеке Пушкина роман имелся как на английском, так и на французском языках⁸. В авторском предисловии к «Вудстоку» мы находим нужное нам место: «Hawks, we say in Scotland, ought not to pick out hawks' eyes, or tire upon each other's quarry...» («Сокол, как мы говорим в Шотландии, не должен выклевать глаз другому соколу или посягать на его добычу...»)⁹.

Но вернемся теперь к пушкинской цитате и попытаемся понять, что может связывать ее с письмом к Чаадаеву. Уточним некоторые моменты: 1) Пушкин подчеркнул, что цитата взята из Скотта; по сути, он привел русское соответствие шотландской пословицы, но ему была важна именно ее связь со Скоттом; 2) приводя русское соответствие, Пушкин отметил, что пословица является шотландской; 3) Пушкин указал на источник цитаты — роман В. Скотта «Вудсток» (1826). Таким образом, хотя текст был трансформирован, была приведена столь точная ссылка, что это обращает на себя внимание.

Мы предлагаем следующую смысловую интерпретацию этой поговорки. Вороны — птицы, которые обороняются или нападают, выклеывая противнику глаза, однако когда противостоят друг другу два ворона, они не применяют своего традиционного приема, поскольку единоплеменник не должен покушаться на единоплеменника — они едины.

Исходя из этой интерпретации, мы хотели бы рассмотреть полемику между Пушкиным и Чаадаевым.

Чаадаев, как мы помним, рассматривал в своем первом «Философическом письме» человеческую историю как единый процесс, движущей силой которого является Божественный разум, воплощенный в христианстве. С возникновением христианства начинается, по Чаадаеву, историческое развитие Европы, и оно же дало Европе единство культуры.

Западному миру Чаадаев противопоставляет Россию. В результате схизмы византийская церковь отделилась от остального христианства. Русская церковь как преемница византийской тем самым отделилась от западного христианства. Таким образом, Россия, по Чаадаеву, не включилась в общую всемирную историю и в европейское единство и вообще лишена истории.

В своем отклике Пушкин высказывает, в общем, два возражения: 1) Россия все-таки имеет историю; 2) историческая судьба России хоть и отлична от европейской, все же включается в единый исторический процесс.

Чаадаев актуализировал в своей статье вопросы, которые в это время действительно очень интересовали Пушкина. Неслучайно ответ получился столь объемным и насыщенным. Мы можем найти мало подобных писем у позднего Пушкина. Письмо поэта стало «квинтэссенцией» его размышлений 30-х гг. над историей. Не случайно в том же году он обращается к «Нестору» А. Шлецера, которого читает параллельно с «Письмом» Чаадаева¹⁰. А. Шлецер был сторонником идеи «всемирной истории» и был против разделения народов на «исторические» и «неисторические». Такое же понимание истории было характерным и для Скотта.

Своими романами, в которых были воссозданы разные исторические эпохи в разных культурах, Скотт показал, что историей руководят некие общие закономерности. В основе исторической концепции Скотта лежит убеждение, что история развивается по линии от «непонимания» к «пониманию». Скоттовский герой почти всегда находится внутри конфликтных ситуаций и приходит к пониманию, что «правда истории» складывается из истин обеих противоборствующих

ших сторон. Пушкин приходит к такому же выводу в «Капитанской дочке»¹¹.

В этом контексте нужно, на наш взгляд, рассматривать и интересующую нас цитату из Скотта. Пушкин поместил ее в конце письма к Чаадаеву, подводя, таким образом, итог своего письма. Афористически точное выражение своих мыслей об истории он нашел у Скотта. Неслучайно Пушкин указал, что цитата взята из «Вудстока», романа, проблематика которого – междоусобицы — была близка к русской действительности и стала лейтмотивом его собственной исторической прозы.

Можно выдвинуть следующие интерпретации цитаты из Скотта в контексте пушкинского письма. 1) Пушкин не принимает чаадаевского противопоставления России Европе, так как история для Пушкина является единой. Напомним строки письма: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. <...> А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж и (положа руку на сердце) разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?» (XVI, № 1267, оригинал по-французски); 2) Пушкин как бы напоминает Чаадаеву, что единоплеменник не должен нападать на единоплеменника; 3) по версии С. Абрамович, Пушкин приписал цитату из Скотта к своему письму 22 октября, т.е. через три дня после его написания, узнав о начавшихся правительственных репрессиях против Чаадаева. Иными словами, Пушкин обратил цитату на себя самого: он не отправил письма, подразумевая, что не следует нападать на собрата¹². Не исключено, что когда Пушкин счел невозможным послать письмо, он нашел его содержанию афористическое соответствие (пословицу). Пушкин мог бы, таким образом, все-таки ответить Чаадаеву лишь одним афоризмом автора, который стоял вне российской цензурной системы, хотя и характерным образом придал пословице русскую огласовку.

Как нам представляется, цитата из Скотта содержательно связана с письмом Чаадаеву, поэтому и текстологическое решение Н. В. Измайлова и В. Э. Вадура представляется нам более убедительным.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л., 1937–1949. Т. XIII. № 74 (В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках тома римской и номера письма / страницы арабской цифрами).
- ² Об изучении Пушкиным английского языка см.: Алексеев М. П. Английский язык в России и русский язык в Англии // Учен. зап. Ленинградского ун-та. Л., 1944. Вып. 9. С. 105–107. В библиотеке поэта находились многие произведения Скотта, в том числе и на английском языке (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Репр. изд. М., 1988. №№ 584, 1362–1365, 1369).
- ³ В библиотеке Пушкина находились как английский, так и французский варианты скоттовского сборника «Minstrelsy of the Scottish Border, 1802/1803». См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Репр. изд. М., 1988. № 1367; Приложение к репр. изд. М., 1988. № 169.
- ⁴ О восприятии романистики Скотта Пушкиным см.: Якубович Д. П. «Капитанская дочка» и романы Вальтера Скотта // Временник Пушкинской комиссии, 4/5. М.; Л., 1939. С. 165–197; Степанов Н. Л. Проза Пушкина. М., 1962. С. 96–107, 130–131; Кулешов В. И. Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина). М., 1965. С. 200–205; Зборовец И. В. «Дубровский» и «Гай Мэннеринг» В. Скотта // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 131–137; Якубович Д. П. «Арап Петра Великого» / Публ. Л. С. Сидякова // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979; Петрунина Н. Н. Проза Пушкина (Пути эволюции). Л., 1987. С. 241–287; Долинин А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 231–235; Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. СПб., 1996. С. 206–257.
- ⁵ См. их переписку (XIV, №№ 613, 626, 627, 681).
- ⁶ См.: Пушкин. Письма последних лет (1834–1837). Л., 1969. С. 328–331.
- ⁷ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М.; Л., 1956–1958. Т. 7. С. 722.
- ⁸ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. № № 1366, 1369.
- ⁹ Scott, W. The Woodstock. Edinburgh, 1935. P. 7.
- ¹⁰ См. заметку Пушкина при чтении «Нестора» Шлецера 1836 г.: «XXXIV стр. Мнение Шлецера о русской истории — NB! Статья Чедаева» (XII, 208).
- ¹¹ См. об этом: Лотман Ю. М. Идеальная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992–1993. Т. 2. С. 416–429.
- ¹² Абрамович С. Пушкин. Последний год. Хроника (январь 1836 – январь 1837). М., 1991. С. 379.

НЕКОТОРЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ ПОДТЕКСТЫ СТИХОТВОРЕНИЯ ТЮТЧЕВА «PROBLÈME»

Мария Артемчук
(Тарту)

Мы попробуем выявить контексты, важные, по нашему мнению, для понимания стихотворения «Problème».

Приведем подтексты, найденные до нас.

1. Высказывание Спинозы в письме Г. Г. Шуллеру: *обладай летящий камень сознанием, он вообразил бы, что летит по собственному хотению*¹.
2. Книга Даниила 2, 34–35: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю».

Первый подтекст соотносится с третьим стихом, второй — с четвертым. Эти стихи являются главными в тексте. Вопрос ясен:

Сорвался ль он с вершины *сам* собой

Иль был низвергнут *мыслящей* рукой / Иль был *низринут* волею *чуждой*?

Помещая этот текст в разные контексты — философский, теологический и т.д. — мы получим разные ответы.

Мы предлагаем контекст, условно говоря, «политический». Причин для этого две:

1. на исключительно устойчивую связь «образа камня» с «политической» проблематикой у Тютчева указано в статье А. Л. Осповата и О. Ронена. Однако именно стихотворение «Problème», где «образ камня» — центральный, не связывалось с политической тематикой².

2. книга Даниила — один из источников, а также доказательство для самого поэта правомерности его историософских воззрений о *translatio imperia* — постоянно возрождающейся империи, последним и самым грандиозным воплощением которой и должна будет стать мыслимая им православная Российская Империя. На связь ис-

ториософских взглядов поэта с этой библийской книгой указывает А. Л. Осповат³, но не сопоставляет с ними «Problème».

При рассмотрении «Problème» в контексте политических и историософских взглядов поэта видно, что речь идет, кроме прочего, о том, какой из двух основных для Тютчева государственных строев Европы — *революционный Запад* или *православная Российская Империя* — является наиболее законным, естественным и «правильным» государственным устройством; какой станет преобладать в будущем; в чью пользу «разрешится вопрос».

Основания для такой интерпретации вытекают из соотнесения строк текста с тезисами, изложенными Тютчевым в политических сочинениях, а также при сопоставлении «Problème» с другими стихотворениями.

Третья строка — «Сорвался ль он с вершины *сам* собой» — соотносится с фрагментом из трактата «Россия и Запад»: «Революция <...> это современная западная мысль, во всей своей цельности <...> Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит только от себя самого как в управлении своим разумом, так и в управлении своей волей. Всякая власть исходит от человека; все провозглашающее себя выше человека, — либо иллюзия, либо обман. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова <...> человеческое я, эта определяющая частица современной демократии, сделало самого себя предметом идолопоклонства, и поскольку, в сущности, оно вовсе не обязано признавать иную власть, кроме своей, то кого же, по вашему, должно оно обожествлять, как не самого себя?»⁴.

Таким образом, третья строка — это описание модели революционного государства, основанного на «абсолютизации индивидуальности, лица, Я, его права преследовать свои отдельные эгоистические интересы»⁵.

Четвертая строка связана с «Русской географией». У них общий библийский подтекст. Для «Русской географии» он отмечен в комментарии: «И во дни тех царств бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу; оно сокрушится и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Книга Даниила 2, 44–45).

«Русская география» отсылает именно ко второй главе книги Даниила, и здесь акцентируется именно мотив «камня», «отторгнутого» от горы, как и в интересующем нас тексте.

Сопоставление четвертой строки со стихотворением «Русская география» дает возможность утверждать, что в ней манифестируется — в противовес третьей строке — принцип существования православного государства, воплощающего собой «главный, исходный принцип христианства, полностью искаженный, а затем и утраченный в римско-революционной западной традиции — принцип единства <...> в котором растворяется всякая раздробленность, особость, всякое своекорыстие, всякое Я и энергия, присущая ему в достижении своих частных целей»⁶.

«Политическое» прочтение «Problème» представляется нам важным по ряду причин. Во-первых, оно позволяет ввести это стихотворение в круг текстов, актуальных для понимания другого тютчевского стихотворения: последней части цикла «Наполеон» — «И ты стоял, — перед тобой Россия...». А. А. Николаев отмечает в комментарии к этому стихотворению: «В 1849 г. Тютчев включил в конспект гл. 7 <...> публицистического трактата “Россия и Запад” стихотворный отрывок “Он сам на рубеже России...” Переработанный и дополненный восемью строками, он затем вошел в состав самостоятельного стихотворения “Нерешенный вопрос” <...>, текст которого <...> соответствует третьей главе цикла»⁷. Первоначальное название этого стихотворения прямо соотносится с заключительными строками «Problème». Такое соотношение значимо для понимания того «вопроса», который первоначально имелся в виду в названии третьей главы.

Во-вторых, такое прочтение позволяет нам объяснить, почему в 1857 г. Тютчев вновь обращается к этому тексту и «переписывает» стихотворение (слегка меняя, правда, четвертую строку), созданное им 24 года назад, что в принципе для него нехарактерно.

В 1857 г. шла подготовка к крестьянской реформе. В связи с этим повсеместно в России происходили обширные крестьянские волнения. Тютчев же, как отмечает Твардовская, «ощутил под покровом терпения и смирения мятежный дух крестьянства <...> Слухи о крестьянских волнениях были постоянной темой бесед в окружении Тютчева. Сведения о них, через обширную агентуру стекавшие в 3 Отделение, тоже могли быть доступны поэту по его связям “в верхах”»⁸.

В письме А. Д. Блудовой от 28 сентября 1857 г. Тютчев пишет: «С моей точки зрения, все будущее задуманной реформы сводится к одному вопросу: стоит ли власть, призванная ее осуществить, <...> выше двух классов в нравственном отношении? <...> Только намеренно закрывая глаза на очевидность, <...> можно не замечать того, что власть в России <...> не признает и не допускает иного права, кроме своего, что это право <...> исходит не от бога, а от материальной силы самой власти <...> Одним словом, власть в России на деле *безбожна*, ибо неминуемо становишься безбожным, если не признаешь существования живого непреложного закона, стоящего выше нашего мнимого права <...>⁹».

Таким образом, в 1857 г., в связи с происходившими тогда в России событиями, для Тютчева актуализуются те «политические» смыслы, которые, возможно, имелись в стихотворении 1833 г. Но теперь, на фоне крестьянских восстаний, заданное в нем прежде противопоставление Революции и Православной Империи осмысливается уже не на примере противостоящих друг другу стран, внешних друг по отношению к другу сил, а на «внутреннем» материале: речь идет о противоречии между «всемирной судьбой России», умозраительной идеей Православной Империи, основой для которой она должна стать, и тем реальным воплощением этой идеи, которое видел Тютчев и которое, по его мнению, и порождало крестьянские восстания, т.е. порождало Революцию.

Возможно, в связи с этим он и обращается к прежнему своему стихотворению, актуализируя имплицитно заданные в нем в 1833 г. «политические» смыслы.

В-третьих, такое прочтение «*Problème*» является интересным примером взаимодействия различного рода контекстов у Тютчева, что описано в диссертации Р. Г. Лейбова¹⁰.

Разнородные подтексты (цитата из Паскаля, Библия, стихи и трактаты самого Тютчева, слова Наполеона) оказываются объединены не единством автора, а тематически. Можно выделить некоторый «комплекс идей», в общем связанный с книгой Даниила, который составляют принципиально разнородные тексты, объединенные в сознании Тютчева. Отсылка к этому «комплексу идей» дается намеком, к примеру, на один из составляющих его текстов, что, тем не менее, заставляет реконструировать не только этот — очевидный — претекст, но и все остальные, с которыми он оказывается тесно связанным. Принципиально важной остается возможность актуализации нескольких подтекстов для одной аллюзии, что, видимо, характерно

и для других тютчевских стихотворений и является одной из особенностей его поэтики.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Цит. по: Берковский Н. Ф. И. Тютчев // Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 22–23.
- ² Ошоват А., Ронен О. Камень веры (Тютчев, Гоголь, Мандельштам) // Тютчевский сборник 2. Тарту, 1999. С. 50–51.
- ³ Ошоват А. Элементы политической мифологии Тютчева (Комментарий к статье 1844 г.) // Тютчевский сборник 2. Тарту, 1999. С. 240–241.
- ⁴ Тютчев Ф. И. Россия и Запад // Литературное наследство. М., 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 206.
- ⁵ Кнабе Г. С. Римская тема в русской культуре и в творчестве Тютчева // Тютчевский сборник 1. Таллинн, 1990. С. 264.
- ⁶ Там же. С. 256.
- ⁷ Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 393.
- ⁸ Твардовская В. А. Тютчев в общественной борьбе пореформенной России // Литературное наследство. М., 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 136.
- ⁹ Тютчев Ф. И. Сочинения. М., 1984. Т. 2. С. 251.
- ¹⁰ Лейбов Р. Г. «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. Тарту, 2000. С. 84.

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ РУССКОГО ГАМЛЕТИЗМА

Алексей Семененко
(Тарту)

Феномен гамлетизма в русском литературоведении представлен рядом исследований, из которых наиболее основательное и авторитетное — работа Ю. Д. Левина «Русский гамлетизм» [Левин]. В статье достаточно полно исследуется возникновение и эволюция русского гамлетизма, однако как отдельные выводы, так и подход к проблеме в целом требуют уточнения.

Одну из определяющих ролей в формировании русского гамлетизма сыграли первые переводы трагедии на русский язык. Таким образом, в поле нашего исследования входят два первых перевода трагедии с языка оригинала (М. Вронченко и Н. Полевого) и две первых русских пьесы «Гамлет» (А. Сумарокова и С. Висковатова), не вполне справедливо называемые переделками. Последние два текста имеют к шекспировскому лишь косвенное отношение, тогда как к явлению гамлетизма — прямое, что мы и покажем.

Определение гамлетизма требует уточнений. Нередко от непонимания разделения героя трагедии и порожденного им *социально-психологического обобщения* или *сверхтипа*¹ некоторые исследователи склонны бросаться в другую крайность, считая гамлетизм сугубо социальным и/или политическим явлением.

Гамлетизм можно определить как своеобразный пост-эффект, реакцию на сверттип (один из «мировых образов») в культуре. Таким образом, основная особенность рассматриваемого явления — метафорическое отождествление кого- или чего-либо с символом, воплощением которого является принц датский.

Необходимым условием для гамлетизма является превращение Гамлета в имя нарицательное. Кроме того, гамлетизм всегда будет многолик настолько, насколько многочисленны интерпретации, однако всегда будет выделяться доминантная, в зависимости от ситуации и от конкретной культуры.

Проблема русского (и любого другого) гамлетизма лежит не только в общественно-философском, но и в филологическом поле. Как нам представляется, возникновение гамлетизма нельзя объяс-

нять исключительно влиянием «мрачной эпохи николаевского царствования» [Левин: 198]. Несомненно, необходимо учитывать и литературные предпосылки (что мы и сделаем в нашей работе)².

В России история Гамлета начинается с второй трети XVIII в. Первая русская трагедия «Гамлет» была написана в 1748 г. А. П. Сумароковым на основе французского прозаического перевода де Лапласа (1745). Через 60 лет С. И. Висковатов, переработав дюсисовскую переделку Шекспира, выпустил в 1811 г. своего «Гамлета». Обе трагедии имеют отдаленное отношение к английскому «Гамлету», но значимы для проблемы русского гамлетизма. Для нас важно то, что некоторые их эпизоды, несмотря на двойную переработку, напоминают или даже довольно точно воспроизводят английский оригинал³, и самое существенное сходство наблюдается в монологе «То be, or not to be». При довольно интересных совпадениях, особенно в тексте Сумарокова⁴, основа противоречия в двух вариантах монолога подменялась: любовь и долг побуждали к размышлениям о смерти сумароковского Гамлета; скорбь по убиенному отцу — к рассуждению о тленности бытия Гамлета Висковатова⁵.

За полвека после опубликования сумароковского «Гамлета» интерес к Шекспиру и к его трагедии заметно возрос: в печати появилось много переводных отрывков из трагедии, в основном — знаменитый монолог, который уверенно приобрел статус ключевого для понимания трагедии в целом⁶. Ближе к десятилетиям XIX века (когда была создана переделка Висковатова) на авансцену выходят немецкие романтики (*Sturm und Drang*; Шекспировский кружок, в который входили Гете и братья Шлегели, особенно переводчик Август Вильгельм). Их опыт прочтения Шекспира стал определяющим в последующем восприятии «Гамлета» не только в Европе, но и в России.

Тому было несколько причин: во-первых, Шекспир противопоставлялся «ложноклассическим» поэтикам (Н. Полевой, позже В. Лебедев и Ф. Тимофеев) и во многом воспринимался как предтеча романтизма; а во-вторых, именно через его творчество (а также Гете, Байрона etc.) русская литература включалась во всемирную, отсюда возникала потребность в переводе, иными словами — в адаптации Шекспира к русской почве.

Эпоха романтизма, где основным принципом перевода, казалось, был перевод вольный (генетически связанный с переводческой традицией классицизма), на самом деле сочетала в себе наравне с этой тенденцией и нарождавшуюся традицию буквалистского перевода. Эти направления находились между собой в постоянном конфликте,

и результатом их взаимодействия явился первый перевод «Гамлета» с подлинника. До него знать пьесу могли лишь немногие, она еще не была фактом русской культуры, а стало быть, не могло идти речи о возникновении русского гамлетизма.

Штамп восприятия Гамлета как решающего «туманный вопрос "To be, or not to be"» [Бестужевы: 100] был на тот момент довольно устойчив. Уже успела сложиться определенная традиция трактовки Гамлета как драматического героя; персонаж успел деперсонализироваться, стать именем нарицательным. Поэтому мы не согласимся с Левиным, что литераторы пушкинской поры «не выделяли "Гамлета" из шекспировских творений», а «характер датского принца, и, в частности, его немецкая интерпретация занимали их мало» [Левин: 195]. Сам автор статьи приводит примеры, видимо, призванные проиллюстрировать этот тезис, однако они свидетельствуют как раз о том, что Гамлет единственный из героев Шекспира приобрел особый статус и ассоциировался с чувствительным героем, размышляющим о смерти⁷.

Первую попытку адаптации «Гамлета» совершил в 1828 г. М. П. Вронченко. Переводчик ставил своей задачей представить «сколько возможно точнейшую копию Гамлета Шекспирова», снабдил перевод комментарием и предисловием, где объяснял принципы своего перевода; а также свою трактовку главного героя. Вронченко характеризует принца так: «<...> с сердцем добрым и чувствительным, с кроткою, благородною душою, со строгой нравственностью, получил он от природы приятную наружность, ум сметливый и дальновидный». Далее Гамлету приписывается отсутствие «геройской твердости», делается намек на первую «кроткую и нежную» любовь, и драма героя осмысливается как потеря короны, «которую привык он почитать своею собственностью» [Вронченко: XVI–XXIII]. От этого герой впадает в глубокое уныние, а после появления призрака начинаются его душевные метания из-за несоответствия тяжелого бремени его чувствительной душе.

Перевод Н. Полевого в 1837 г. впервые познакомил аудиторию (прежде всего — театральную) с творением Шекспира. Главной функцией перевода Полевого стала популяризация шекспировской трагедии: она начала восприниматься как часть русской литературы, «Гамлет» приобрел особый статус, а проблема гамлетизма в России стала осознаваться именно после 1837 г.

Важным для истории гамлетизма является то, что Полевой опирался на романтическое клише образа Гамлета, воспринимая основу трагедии как *«слабость воли против долга»*, которая «олицетворяет-

ся личностью Гамлета» [цит. по: Левин: 203]. Шекспировская трагедия воспринималась Полевым как инструмент авторефлексии (на переводчика повлияло его положение после закрытия «Московского телеграфа» в 1834 г.), и образ Гамлета трансформировался согласно самоощущению переводчика. Перевод получился весьма острым по звучанию. Белинский в 1841 г. первый в России дал определение гамлетизма, заговорив о «внутренней борьбе с самим собою, произведенной сшибкою двух враждебных сил — долга <...> и личной неспособностью ко мщению» [Белинский: 20].

С начала 40-х годов гамлетизм становится символом рефлексии; теперь любое рассуждение о Гамлете или его критика автоматически становится самокритикой и проецируется на данного автора, народ, эпоху. С этого момента любое упоминание принца датского будет подразумевать рефлексию, душевную слабость, меланхолию.

Итак, специфика восприятия «Гамлета» как в Европе, так и в России состояла в выделении из всего текста пьесы *pars pro toto* монолога Гамлета «То be, or not ot be...»; долгое время сам Гамлет ассоциировался исключительно с этим монологом, и в общем — с размышлением о смерти. Вместе с предромантическими веяниями такое представление только закрепилось за принцем датским, и Гамлет уже тогда приобрел отдельный от трагедии статус, став символом сентиментального героя, «стоящего на воскраии гроба» [Радичев: 97]. Гамлетизм сформировался и стал фактом общественной жизни в России именно в эпоху кризиса романтизма, которую принято называть переходом к реализму. Иными словами, генезис гамлетизма — вопрос типологии искусства, а не социологии, и социокультурный фактор здесь вторичен по отношению к литературному, что мы и пытались показать.

Что же касается определения, то под гамлетизмом в широком смысле можно понимать тенденцию к интерпретации образа Гамлета как ключевого персонажа, декодирующего зашифрованный в трагедии message, влияющего как на сверттип, так и на восприятие всей пьесы в целом. Поэтому каждая последующая трактовка образа датского принца неизбежно влияет на гамлетизм, на его эволюцию, а само явление предстает как меняющаяся в зависимости от эпохи и литературной ситуации система.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См. об этом: *Лотман Л. М.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974.
- ² Описание европейского «фона», на котором происходила русификация «Гамлета», невозможно в рамках данной статьи.
- ³ На основании отдельных схождений трагедий Сумарокова и Висковатова с шекспировским текстом можно говорить только о том, насколько точно тот или иной фрагмент был воспроизведен в переводе де Лапласа или переделке Дюсиса, и насколько следовали ему русские авторы. Это тема для отдельного исследования, мы перед собой подобной задачи не ставим; для нас здесь более важен результат.
- ⁴ «Когда умру: засну. — засну и буду спать? / Но что за сны сия ночь будет представлять! / Умереть — и внити в гроб — спокойствие прелестно; / Но что последует сну сладку? — неизвестно».
- ⁵ Напр.: «Что делать мне, не знаю, что зачать, / Легко ль Офелию навеки потерять!» — у Сумарокова; «От сильного Царя что днесь осталось?.. Прах...» — у Висковатова.
- ⁶ Напомним, что подобным образом монолог Гамлета выделял еще в 1792 г. А. Н. Радищев в своем трактате «О человеке, его смертности и бессмертии», говоря о «единословиях» Гамлета и «Катона Утикского» как о «размышлениях, стоящих на воскраии гроба, на праге вечности» [Радищев: 97–98]. Напомним, что Радищев читал «Гамлета» в подлиннике.
- ⁷ Характерно, что в трагедии Висковатова этот образ выражен весьма явно: «Гамлет в час полночи среди могил блуждает; / Питаясь ужасом средь тленья и гробов, / Всегда уединен, безмолювен, дик, суров»; «Гамлет уныл; ему противна вся природа...»; «Всегда с угрюмою тоскою неразлучный <...> Терзает грудь, весь мир в отчаяньи клянёт, / И жаждет в ужасе кончины неизбежной».

ЛИТЕРАТУРА

- Вронченко: *Шекспир В.* Гамлет: Трагедия в 5 д. / Пер. с англ. М. В. <Вронченко>. СПб., 1828.
- Белинский: *Белинский В.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953–1956. Т. 5.
- Бестужевы: Воспоминания братьев Бестужевых / Под ред. П. Е. Щеголева. Пг., 1917.
- Левин: *Левин Ю.* Русский гамлетизм // От романтизма к реализму. М., 1978.
- Радищев: *Радищев А. Н.* Полное собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1941. Т. 2.

О ЛИТЕРАТУРНОМ ГЕНЕЗИСЕ ОБРАЗА ЛОГИНА В РОМАНЕ Ф. СОЛОГУБА «ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ» (Логин и Нежданов)

Екатерина Кривенкова
(Тарту)

Тема «Сологуб и Тургенев» почти не изучена. Этот вопрос лишь поставлен в монографии Л. Клейман «Ранняя проза Федора Сологуба»¹.

На литературный генезис образа Логина, главного персонажа романа Ф. Сологуба «Тяжелые сны» (1894), обратила внимание М. Павлова. Исследователь отмечает, что Сологуб продолжает «излюбленную тему русской реалистической прозы, тему “лишнего” человека. В главном герое, Василии Марковиче Логине, легко угадываются черты его отдаленных предков, — Онегиных, Печориных, Базаровых»², — пишет она.

В нашей работе мы попытаемся сопоставить Логина с Неждановым, главным героем романа Тургенева «Новь» (1877), так как отсылки к этому тургеневскому образу доминируют среди цитатного пласта, репрезентирующего в романе галерею «лишних» людей в русской литературе XIX века.

По свидетельству биографа Сологуба О. Н. Черносвитовой, писатель, вспоминая детские впечатления от романов XIX века, героями которых являются революционеры, «Новь» выделяет особо³.

При сопоставительном анализе «Тяжелых снов» и «Нови» мы находим ряд типологических параллелей между образами Логина и Нежданова.

1. а) герои объединяются сходной душевной организацией — это неустойчивые, колеблющиеся люди. Повествователь говорит о Логине: «Душа колебалась, как на качелях»⁴. Нежданов замечает о себе: «<...> равновесие!.. Вот это главное; именно, чего у меня нет»⁵; б) оба персонажа душевно раздвоены, им присуще разногласие между сердцем и разумом. В первоначальном варианте романа Сологуб обосновывал раздвоенность Логина так: «Великое страдание Логина в разрыве между чувством и разумом. Сердцем влечется к добру и отворачивается от зла, а разум говорит, что добро от зла отличается только количественно, как тепло от холода»⁶. Хотя эти строки не вошли в окончательный вариант романа, они важны для понимания

образа Логина. Противоречивость Нежданова имеет тот же источник: «<...> он явно, на виду у всех, занимался одними политическими <...> вопросами, исповедывал самые крайние мнения <...> — и втайне наслаждался художеством, поэзией <...>» (9, 156).

2. Окружающие скептически относятся к обоим персонажам: «<...> в нем нет настоящей силы», — говорит о Логине Ермолин (36). «Жалким» человеком называет Нежданова Фимушка (9, 249). Обоих называют гамлетами: «Вот, например, господин Логин, — Гамлет, принц датский <...>» (103) — у Сологуба; ср. «Алексис! Друг! Российский Гамлет!» (9, 233) — у Тургенева.

3. Вследствие своей душевной неуравновешенности оба героя сходным образом проявляют себя в любви: «Я недостойн ее <Анны. — Е. К.> и не должен к ней приближаться», — говорит себе Логин (195). Нежданов обращается к Марианне так: «Мне жаль, что ты соединила свою судьбу с человеком, который этого не стоит» (9, 347). Логин из-за своей порочности и внутренней дисгармоничности считает себя неспособным к любви: «Теперь Логин думал, что не могла зажечься любовь в его преждевременно одряхлелом сердце» (23). Герой ощущает себя духовно мертвым человеком. Чувство собственного духовного омертвления свойственно и Нежданову: «Она меня любит... и сказала мне, что будет моею, если... я почувствую себя вправе потребовать от нее этого. <...> я этого права за собой не чувствую! Я знаю, что я никого не любил и не полюблю <...> больше, чем ее. Но все-таки! Как могу я присоединить навсегда ее судьбу к моей? Живое существо к трупу?» (9, 325).

4. Оба персонажа с самого начала не верят в результативность собственной общественной деятельности. Логин задумал основать в провинциальном городе союз взаимопомощи: «В глубине сознания Логина с самого начала таилось неверие в осуществимость этой мысли» (28). Повествователь передает сомнения Нежданова, впервые находящегося в обществе единомышленников: «Да верит ли он <Нежданов. — Е. К.>, наконец, в это дело?» (9, 233). Оба героя признаются в своем неверии: «Иногда он <Логин. — Е. К.> даже сознавался перед собою в том, что не верит» (28). Нежданов в письме к другу пишет: «Уверяют, что нужно выучиться языку народа, узнать его обычаи и нравы... Вздор! Вздор! Вздор! Нужно верить в то, что говоришь, а говори как хочешь! <...> А я начну говорить, точно виноватый, все прощения прошу <...> где веры-то взять, веры!» (9, 326).

5. Для реализации идейных стремлений оба героя стараются узнать ближе людей, которым хотят помочь: «Логин в последние

дни <...> внимательно всматривался в горожан и много знакомился с теми, кого раньше или вовсе не знал, или знал мало» (28). Нежданов переодевается мещанином и идет «в народ» для пропаганды мучкам народнических идей.

6. Для обоих героев актуальна идея самоубийства, напрямую связанная с неудачей в общественной деятельности. Убедившись окончательно в собственной неспособности верить в общее дело, Алексей Нежданов покончил с собой. Он оставил две посмертные записки — другу и невесте. Письмо к другу начинается так: «Когда ты получишь этот *клочок* <...>» (9, 378; курсив здесь и далее наш. — Е. К.). Логина реально задуматься о самоубийстве заставляет предвидимая им неудача в создании союза взаимопомощи. Он пишет в письме к другу завещание. Размышления Логина о ненужности посмертной записки звучат, на наш взгляд, полемично по отношению к действиям Нежданова: «Завещание самоубийцы — *клочок* бумаги с традиционной просьбой в смерти никого не винить. Очень это нужно, подумаешь! Люди привыкли любопытствовать, даже забавляться всяким происшествием, в том числе и самоубийством. <...> А самоубийцы покорно подчиняются ненужному им порядку и оставляют объяснения смерти. Иной целое письмо сочинит, — *к другу, к невесте*, — с тайной целью порисоваться трагизмом кончины. Глупо! Впрочем, в таких случаях люди, должно быть, ужасно теряются и плохо соображают» (91). Нежданов застрелился почти на глазах у своей невесты: выстрелил себе в грудь в фабричном палисаднике, рядом с домом, где находилась Марианна. Во многом полемично по отношению к поступку тургеневского героя звучат также слова Логина о способе самоубийства: «Если бы до меня дошла очередь убить себя, я постарался бы сделать это словно нечаянно: мало ли бывает несчастных случаев! А всего бы лучше исчезнуть совсем незаметно, бесследно: потонуть в океане, отравиться в непосещаемой пещере» (91).

Далее мы попытаемся выяснить, почему Нежданов становится одним из литературных прототипов Логина. Как неоднократно указывали исследователи, образ Логина автобиографичен. Сам Сологуб также признавал этот факт⁷. Мы выскажем предположение, что литературный образ Нежданова был близок Сологубу как биографически, так и психологически.

Тургеневский герой имеет незаконное происхождение и свой социальный статус ощущает как неопределенный: «Нежданов родился <...> от князя Г., богача, генерал-адъютанта, и от гувернантки его дочерей» (9, 155); «<...> фальшивое положение, в которое он был

поставлен с самого детства, развило в нем обидчивость и раздражительность» (9, 155). «Тем же самым фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе» (9, 155). Отец Сологуба, К. Тетерников, был незаконнорожденным сыном помещика. По мнению М. И. Дикман, в стихах Сологуба 1880–90-х гг. «выявляется сложный и противоречивый психологический комплекс человека “униженного и оскорбленного”, комплекс, порожденный сознанием социальной неполноценности»⁸. Комплекс этот вызван, очевидно, жизненными обстоятельствами писателя. Можно предположить, что социальная и психологическая расколотость, неустойчивость Нежданова была близка и понятна Сологубу.

Нежданов главным своим недостатком считает отсутствие внутреннего равновесия. Как полагает М. Павлова, подобное душевное состояние было свойственно Сологубу в высшей степени. Она подтверждает свои слова цитатой из стихотворения «Качели» (1894)⁹, лирический герой которого «то стремится жадно к тленью, то ищет радостей и света».

Кроме того, и неждановский эстетизм несомненно близок Сологубу как художнику: Нежданов «наслаждался искусством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях... даже сам писал стихи» (9, 156).

Итак, некоторое сходство между героем Тургенева и самим Сологубом могло послужить одной из причин того, что Нежданов становится литературным прототипом Логина, образ которого во многом близок автору.

В романе И. С. Тургенева «Новь» создан образ рефлектирующего героя, характерный для народнического движения 1870-х гг. В письме от 15 ноября 1895 г. к Л. Гуревич Сологуб объяснял, что в центре его произведения «современный человек, живущий более книжными и отвлеченными интересами, потерявший старые законы жизни <...>»¹⁰. На наш взгляд, в романе «Тяжелые сны» писатель пытается создать свой, современный вариант рефлектирующего героя — «декадента», с трагическим мироощущением «человека в десятилетиях, пронизанном чувством конца эпохи»¹¹.

Возможно, поэтому в романе Сологуба появляется и некоторая полемичность по отношению к «Нови», представленная, в первую очередь, в способе преодоления героем раздвоенности. Нежданов, не справившись с этой задачей, кончает жизнь самоубийством. Такой способ отвергается Логиным: «Да ведь этим и не избавишься ни от чего» (20). Второй способ — убийство Логиным Мотовилова, человека, в котором сосредоточилось для героя все зло, также не дает

избавления. После убийства он говорит Анне: «Послушай, сегодня ночью мне стало тяжело. Неуклюжее, безобразное навалилось на грудь» (237). В итоге раздвоенность героя преодолевается готовностью к смерти (как возмездие за убийство) и спасающей любовью Анны. Любовь героини изгоняет из души Логина все порочное.

Как нам представляется, проекция Логина на образ Нежданова имела еще одну определенную причину. Логин — герой разочарованный, декадентски аморальный. Как писал Сологуб в письме к Л. Гуревич, это человек «усталый, развинченный и очень порочный»¹². Нежданов же воспринимался многими читателями и критиками как носитель высокой нравственности. Это образ однозначно трагический¹³. Отсылка к Нежданову оценочно усложняет образ Логина, являясь противовесом психологическому «декадентству» героя.

Таким образом, Нежданов становится литературным прототипом Логина не только по биографическим и психологическим, но и по литературно-тактическим причинам. «Декадент» Сологуб в середине 1890-х гг. — поэт и прозаик, которого активно порицает не-символистская критика. Однако и лидеры журнала «Северный вестник», где печатался роман «Тяжелые сны», упрекают Сологуба за «декадентский радикализм». Как нам кажется, апеллируя к классической литературной традиции XIX века, в частности, к Тургеневу, Сологуб пытается укрепить свою позицию в литературном мире.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Клейман Л. Ранняя проза Федора Сологуба. Ann Arbor, 1983. Исследователь типологически сближает художественно-философские картины мира Ф. Сологуба и И. С. Тургенева. Оба писателя, по мнению Клейман, фаталисты, идеалисты, романтики, «оба видят в мире трагическую борьбу противоположных начал, их постоянное разъединение и объединение. Гамлет и Дон Кихот, символы этих двух начал, используются обоими писателями для выражения своих кредо. Герои Тургенева и Сологуба бегут от действительности — и «убежище» то же: сон, мечта» (Клейман. Указ. соч. С. 4).
- ² Павлова М. Между светом и тенью // Сологуб Ф. Тяжелые сны. Л., 1990. С. 7.
- ³ Черношвитова О. Н. Материалы к биографии Ф. Сологуба // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 239.
- ⁴ Сологуб Ф. Тяжелые сны. Л., 1990. С. 24. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера страницы.

- ⁵ Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1979. Т. 9. С. 267. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
- ⁶ Цит. по: Удонова З. В. Из истории символистской прозы // Русская литература XX века. Тула, 1974. № 7. С. 44.
- ⁷ См.: Абрамова-Калицкая В. П. Федор Сологуб в Вьетгре // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 271.
- ⁸ Дикман М. И. Поэтическое творчество Федора Сологуба // Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1978. С. 17.
- ⁹ Павлова М. Указ. соч. С. 11.
- ¹⁰ Там же. С. 7.
- ¹¹ Забражилова М. В мире антиномий Федора Сологуба // Europa Orientalis. <Salerno>, 1992. Т. 11. Vol. 2. P. 51.
- ¹² Цит. по: Павлова М. Указ. соч. С. 8.
- ¹³ Буданова Н. Ф. Роман И. С. Тургенева «Новь» и революционное народничество 1870-х годов. Л., 1983. С. 148.

«ЗДЕСЬ — ТРЕПЕТАНИЕ СТРЕКОЗ».
МОТИВ БЕЗЗАБОТНОСТИ В РАННЕМ
ТВОРЧЕСТВЕ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

Филипп Дзядко
(Москва)

С. П. Каблуков записал 18 августа 1910 г. в свой дневник следующее: «В полученном мною сегодня № 9 журнала “Аполлон” напечатаны 5 стихотворений молодого поэта-лирика Иосифа Эмилевича Мандельштама, с которым я познакомился в Хангё в июле этого года <...>. Мандельштам еще очень молод: ему 20 или 21 годов <...>. Человек он несомненно даровитый и глубокий, но мало образованный и довольно безалаберный, легкомысленный по отношению к необходимым заботам “суетного мира”. В Хангё я ежедневно и подолгу беседовал с ним о поэзии и эта его беззаботность вызывала во мне резкое осуждение...»¹. Далее в дневник вклеен автограф письма, написанного от лица О. Мандельштама, однако, по всей вероятности, сочиненного самим Каблуковым²: «С. П. Каблуков есть лицо, не заслуживающее доверия, и все, что он клеветал — ложь. <...> а если я в бытность мою в Париже упал в Люксембургский фонтан, читая Мэтерлинка — то это мое дело» (КАМЕНЬ, 242).

Во многих стихах О. Мандельштама начала десятых годов возникает образ если не падающего в фонтан героя, то, по крайней мере, героя беспечного и легкомысленного.

Между тем, за исключением одной статьи С. С. Аверинцева³, практически не существует специальных работ, посвященных образу беззаботного героя и вообще беззаботности и легкости у раннего Мандельштама. Но, как справедливо пишет Аверинцев, ребячество Мандельштама, «во-первых, не выдуманно нарочно, не шуточно, не пародийно, во-вторых, очевидным образом осознанно».

Таким — «ребячливым» — представляется нам герой стихотворения «Медлительнее снежный улей...» (1910):

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
 Изнеженная лаской света,
 Она испытывает лето,
 Как бы нетронута зимой.

И, если в ледяных алмазах
 Струится вечности мороз,
 Здесь — трепетание стрекоз
 Быстроживущих, синеглазых...

(КАМЕНЬ, 15)

В стихотворении представлена зимняя картина, включающая в себя пространство города («зааконный» мир) и пространство комнаты. Перед читателем — заснеженный город или падающий снег (в самом слове «медлительнее» будто слышится «метель»), окно, хрусталь и вуаль. Затем — развернутая, эмоциональная характеристика вуали: ткань «опьяненная» и «изнеженная». И в третьей строфе — снова к окну, к алмазам, видимо, на стекле, разделяющем два мира.

Особо отметим здесь принцип постепенного погружения в мир «бирюзовой вуали» и мотив возвращения — от вида за окном к комнате, из комнаты — к ледяным алмазам (очевидно, прямым образом связанным с «зааконным миром»), и снова к комнате. Во второй — центральной — строфе стихотворения, выделенной к тому же особой рифмовкой (1-я и 3-я строфы: ЖММЖ, 2-я: МЖЖМ), появляются две противоположные категории — зима и лето. И образы стихотворения можно схематически расположить по этим двум полюсам: с одной стороны — снежный улей, хрусталь, ледяные узоры, с другой — бирюзовая вуаль, ласки света, стрекозы. Таким образом, мы находим основной смысловой принцип структуры «Медлительнее снежный улей...» (далее — МСУ): антитеза, ряд жестких оппозиций-противопоставлений: тепло / холод, тяжесть / легкость, беззаботность / серьезность. Главной же, очевидно, будет вечность / сиюминутность⁴.

По существу, тема времени появляется в конце стихотворения: в тяжелых ледяных узорах струится вечность, а в легком трепетании стрекоз — быстротечность. Эти последние строки можно сопоставить со стихотворением Мандельштама, написанным годом раньше: «Не говорите мне о вечности / — Я не могу ее вместить. / Но как же вечность не простить / Моей любви, моей беспечности?». Так, и в МСУ герой предпочитает милое-ничтожное громадному-вечному («там» — зима и вечность, «здесь» — стрекозы и лето), не желает подчиняться законам зимы, он «как бы не тронут» ею.

Тема вечности в МСУ, очевидно, связана и с необычайно популярной в России начала XX века сказкой Г.-Х. Андерсена «Снежная королева», где также нам встречаются «снежинки-пчелы», «узоры на стекле», «розы в комнатах мальчика и девочки», сложение слова «вечность» из льдинок и где даже бросается беззаботный вызов — вспомним, что и Кай сперва грозился посадить Королеву снежных пчел на печку, а Герда именно своей «нежностью» побеждает могучую власть Зимы⁵. «В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удастся отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик чуть побольше цветочного горшка»⁶. Из этой сказки вытекает и еще один, крайне важный для мандельштамовского «Камня», мотив детства: «Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!». Мотив детства и присущие ему беззаботность, игрушечность и несерьезное отношение к жизни появляются в ряде стихов «Камня»: «Морожено! Солнце. Воздушный бисквит...», «Сусальным золотом горят...», «Отчего душа так певуча...», «В непринужденности творящего обмена...», «В безветрии моих садов...» и других. А стихотворение «Только детские книги читать...» с его императивными конструкциями становится своего рода программным текстом: «Только детские книги читать, / Только детские думы лелеять, / Все большое далеко развеять, / Из глубокой печали восстать... / Я качался в далеком саду / На простой деревянной качели, / И высокие темные ели / Вспоминаю в туманном бреду».

Как мы видим, Мандельштам действительно «детские думы лелеет» и «детские книги читает», и художественное пространство МСУ с его вуалью, нетронутой зимой, прямо соотносится с далеким садом Кая и Герды и с деревянными качелями — это беспечный мир детства, «милого и ничтожного». А легкость, трепетание «быстроживущей» стрекозы оказываются противопоставлены вечности, морозу и «медлительному снежному улью».

Это заставляет вспомнить другую литературную традицию, прежде всего традицию басни, где стрекоза знаменует летнюю беззаботность, наказанную зимой. «Попрыгунья Стрекоза / Лето красное пропела; / Обернуться не успела, / как зима катит в глаза» (И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей»). Но если у Крылова эта беззаботность наказывается зимой («Все прошло: с зимой холодной / Нужда, голод настает / Стрекоза уж не поет...»), то здесь, как в «Снежной королеве», зима оказывается побеждена, и вечность и мороз отступают⁷.

Эта беззаботность лирического героя МСУ может быть связана с той «безалаберностью», которую многие современники отмечали у Мандельштама: «Доверчивый, беспомощный, как ребенок, лишенный всяких признаков “здорового смысла”, фантазер и чудака, он не жил, а ежедневно “погибал”», — писал К. Мочульский⁸ (сходные характеристики мы находим в дневнике С. П. Каблукова, воспоминаниях М. Карповича, М. Волошина и у других мемуаристов). Этой поведенческой стратегии Мандельштама соответствует выбираемая им литературная традиция, отталкивание от символистов и обращение к началу XIX века — к Батюшкову, прежде всего («Словно гуляка с волшебною тростью...»), и к молодому Пушкину: «И не одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам уйдет». Что касается отношения Мандельштама к символистам, сошлемся на К. Ф. Тарановского, в статье «“Концерт на вокзале”». К вопросу о контексте и подтексте» сравнивающего МСУ со стихотворением Андрея Белого «Зима», в котором стрекозы оказываются «алмазными» и принадлежат к миру «сухого мороза»⁹.

Не стремясь рассматривать здесь проблему литературных отношений Мандельштама и Пушкина¹⁰, выскажем предположение о возможной связи «голубоглазых стрекоз» с часто обыгрываемым поэтами начала века арзамасским прозвищем А. Пушкина «Сверчок».

Шутливо-беззаботному литературному объединению «Арзамас» во многом подражали поэты мандельштамовского круга, Пушкин же мог представляться символом беззаботного творчества среди петербургской зимы — сверчком¹¹ (ср. появившиеся позднее словосочетания «веселое имя Пушкин» и «легкое имя Пушкин»¹²). Заметим, что «Арзамас» был основан в противовес серьезности и суровости «Беседы любителей русского слова», к которой принадлежали как Крылов, наказавший свою стрекозу, так и Державин, свой портрет желавший видеть в окружении русской зимы: «В жестокий мраз с огнем души, / В косматой шапке, скутан шубой...» («Тончию», 1801) (как показывает М. Л. Гаспаров, именно «Тончию» «послужило толчком» к созданию «Грифельной оды»).

Подобная, совершенно осознанная, ориентация на раннего Пушкина, на «безделки» начала XIX века и сказочную, детскую литературу в сочетании с конкретной поведенческой стратегией конструирует образ беззаботного, «легкого» героя в стихах О. Мандельштама начала 1910-х гг.¹³

Эта беззаботность и живописная импрессионистичность МСУ провоцирует нас обратиться к общей культурной ситуации начала 1910-х годов. В первом номере журнала «Аполлон» (1909 год, ок-

тябрь) была напечатана программная статья Александра Бенуа «В ожидании гимна Аполлону», и Мандельштам, уже через год опубликовавший свои стихи в «Аполлоне», по всей вероятности, с этой статьей был знаком. Характерно, что текст МСУ во многом перекликается с «манифестом» Бенуа и на уровне семантическом, и на уровне лексическом, рисуя картину единого жизненного и поэтического (культурного) мировоззрения: «И мы чувствуем приближение какой-то общей смерти ... мы тоже переживаем агонию, в которой таится великая красота (и прямо театральная пышность) апофеоза, и, смущенные переизбытком, мы кличем: еще, еще свету. Но все же мы не совсем уверены, переживаем ли мы восторг радости или восторг отчаяния. Нас что-то закутывает и пьянит, мы все более и более возносимся, вокруг распадаются колоссальные громады, рушатся тысячелетние иллюзии, падают недавно еще нужнейшие надежды, и мы сами далеко не уверены в том, не спалят ли нас лучи восходящего солнца, не ослепит ли оно нас. Наконец, коварно вырастает вопрос: доживем ли?».

На фоне подобных поисков новых путей в искусстве О. Э. Мандельштам занимает несколько иную позицию. Драматизму и эсхатологии Бенуа он противопоставляет «легкое приятие жизни». Впрочем, и его вуаль, не переживающая ни «восторгов радости», ни «восторгов отчаяния», «все более и более возносится». «Опьяненная собой», она живет в своей летней комнате, наполненной стрекозами, живет по своим законам, не подчиняясь зиме.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Мандельштам О. Э. Камень / Издание подготовили Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 241–242. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи в скобках: КАМЕНЬ, с указанием страницы. Все стихи Мандельштама цитируются по этому изданию.
- ² Авторы примечаний к каблуковскому дневнику (КАМЕНЬ, 359) комментируют это место так: «Такое письмо в фонде Вяч. Иванова (ГБЛ) отсутствует, и сведения о нем, очевидно, явились результатом шуточного розыгрыша Каблукова, *поддержанного Мандельштамом*» <курсив наш. — Ф. Д.>.
- ³ Аверинцев С. С. Так почему же все-таки Мандельштам? // Новый мир. 1998. № 6. См. также: Лекманов О. А. О первом «Камене» Мандельштама. М., 1994; где герой ранних стихов Мандельштама сравнивается с ребен-

ком, «отправляющимся познавать мир» и постепенно «вырастающим» из стен собственной комнаты».

- ⁴ О принципе оппозиций в «Камне» см., напр.: Гинзбург Л. Я. «Камень» // КАМЕНЬ, 261–277.
- ⁵ Ср. отзыв в журнале «Мир Божий» (1900. № 2. С. 84): «Говорить о несравненной прелести сказок Андерсена не приходится: они слишком хорошо знакомы и старому и малому». О популярности сказок Андерсена см.: Брауде Л. Ю. Андерсен в России // Андерсен Г.-Х. Сказки, рассказанные детям. Новые сказки. М., 1983.
- ⁶ Андерсен Г.-Х. Указ. соч. Ср. с образом сада в ряде стихотворений «Камня», напр., в «Дано мне тело, что мне делать с ним...».
- ⁷ Крылов И. А. Сочинения: В 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 70. Образ легкой свободной стрекозы, возможно, соотносится и с традицией русской анакреонтической поэзии, напр., со стихотворениями М. В. Ломоносова («Кузнечик дорогой, коль много ты блажен...»), Н. И. Гнедича («Кузнечик. Из Анакреона»), Л. А. Мея («Как блажен ты, мой кузнечик...»).
- ⁸ Мочульский К. О. Э. Мандельштам // Даугава. 1988. № 2. С. 112–114.
- ⁹ Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2001. С. 34–35. Ср. также МСУ со стихотворением Андрея Белого 1903 г.: «Поэт, ты не понят людьми, / В глазах не сияет беспечность. / Глаза к небесам подними: / С тобой бирюзовая Вечность».
- ¹⁰ См. об этом: Тоддес Е. А. К теме: Пушкин и Мандельштам // Philologia. Рига, 1994.
- ¹¹ О мотивах беззаботности и лени в XIX веке см., в частности: Ганкин Л. А. Лень в русской литературе XIX века. (Рукопись из архива лица № 15/25 «Воробьевы горы»).
- ¹² О значении фигуры Пушкина в начале XX века см., напр., сб.: Cultural Mythologies of Russian Modernism. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992.
- ¹³ Об образе стрекозы в позднейших стихах Мандельштама см.: Кацис Л. «Дайте Тютчеву стрекозу» // «Сохрани мою речь». М., 1991; Амелин Г. Г., Мордерер В. Я. «Дайте Тютчеву стрекозу...» Осипа Мандельштама // Лотмановский сборник 2. М., 1997. Появление стрекозы в «Дайте Тютчеву стрекозу...» (1932) перекликается с образом беззаботной «быстроживущей стрекозы» из МСУ и со стремлением сочетать «суровость Тютчева — с ребячеством Верлена».

«ВЕЧНЫЙ ЖИД» В ТЕТРАЛОГИИ М. АЛДАНОВА «МЫСЛИТЕЛЬ»

Олеся Лагашина
(Тарту)

Л. Бюклинг, комментируя переписку М. Алданова с М. Чеховым, заметила, что «одним из центральных образов и у писателя, и у артиста является Вечный Жид или Агасфер; недаром Чехов указал на него в тетралогии писателя». Далее Бюклинг указывает, что «в тетралогии Алданова сквозной образ Вечного Жида выступает под личиной Пьера Ламора <...>. Этот вымышленный персонаж выражает взгляды Алданова на революцию во Франции и, косвенно, на все революции»¹. Мы обратимся к исследованию причин актуализации образа Агасфера в творчестве Алданова, основываясь на материале тетралогии «Мыслитель».

Проекция Пьера Ламора на Вечного Жида задается самим Алдановым. В «Святой Елене» Наполеон говорит, что «знал в начале своей карьеры одного странного старика... У него было несколько имен, и никто точно не знал, кто он собственно такой. <...> Шутники называли его вечным жидом»².

Два основных мотива, связанных с именем Агасфера, — мотивы бессмертия и странствия. Рассмотрим их применительно к алдановскому герою.

а) Ламор и бессмертие

Читатель впервые встречает Ламора на страницах «Девятого термидора» в тот момент, когда он возвращается во Францию, якобы для того, чтобы умереть на родине. По его собственным словам, он неизлечимо болен какой-то непонятной болезнью и жить ему осталось «по всей видимости очень недолго» [I: 185]. Речь о близкой смерти Ламора в тетралогии заходит неоднократно, причем, как правило, о ней рассуждает сам герой. При первом же своем появлении в «Девятом термидора» он заявляет: «<...> близость собственной моей смерти не вызывает во мне особого желания сокращать жизнь дорогих «ближних»» [I: 185]. Не менее категорично и следующее его утверждение: «Я через несколько месяцев умру» [I: 194]. В этом же кон-

тексте следует рассматривать и заявление Ламора о том, что надо бы ему полечиться у знакомого доктора Гильотена [I: 190], которое также может быть истолковано как иронический намек на возможность собственной смерти, но на эшафоте.

Ламор декларирует, что «приятнее умереть в Консьержери, чем в скверной наемной комнате фламандского или немецкого лавочника» [I: 187]. Таким образом, когда Ламор на самом деле оказывается в Консьержери, читатель закономерно должен ожидать смерти героя, однако это ожидание оказывается обманутым, и Ламор вновь и вновь возникает на страницах тетралогии.

В следующий раз он появляется в романе «Чертов мост» на приеме турецкого посла, рядом с Талейраном, причем выясняется, что они давно и близко знакомы [I: 392]. Талейран отнюдь не случайно выбран Алдановым в качестве собеседника Ламора. «Непотопляемый» политический деятель, переживший не одно правительство и не один государственный переворот, конечно же, является своеобразным двойником Ламора в романе. Показателен их диалог при встрече:

<Талейран> — Мы давно с вами не встречались...

<Ламор> — Очень давно. В последний раз... Кажется в последний раз я у вас завтракал перед революцией?.. В большом обществе... из которого не казнены только мы двое? [I: 392].

Такая способность персонажей к выживанию в самых критических обстоятельствах роднит их обоих с образом Вечного Жида.

Имя героя, как часто бывает у Алданова, — говорящее. В переводе с французского «la Mort» означает «смерть». Это слово, ключевое для Вечного Жида и данное в качестве имени герою, который в романе не умирает, звучит иронически. На значимость такого имени намекает Штааль, который замечает в беседе с Ламором, что «если это псевдоним, то он звучит слишком зловеще» [I: 194]. Ламор — герой, который постоянно ждет смерти, но не находит ее. Мотив надоевшего «бессмертия» так же важен для Ламора, как и для Вечного Жида. Для обоих смерть является избавлением и приносит долгожданный покой. В этом смысле показателен диалог Ламора и Борега в Консьержери:

<Борега> — Да, вы правы, жизнь ужасна... Смерть — избавление.

<Ламор> — Наконец-то вы пришли к этой здоровой мысли [I: 295].

Т.е. для Ламора смерть ожидаема и даже желанна. Возможно, поэтому для него «бессмертие» — нелепое слово, как он заявляет в разгово-

воре со Штаалем [I: 187]. Однако в ожидании смерти и он начинает утверждать, что «в бессмертии души нет ничего невозможного» [I: 294]. Впрочем, и здесь это утверждение включено в иронический контекст.

б) Ламор — странник

Ламор — герой путешествующий, возникающий в разных точках земного шара то в роли политического эмигранта, то в качестве бонапартистского шпиона, то как масонский посланник. При знакомстве со Штаалем он упоминает, что был когда-то в Америке [I: 185], в разговоре с Талейраном вспоминает Иерусалим [I: 395]. Знаменательно, что первая встреча Ламора и Штаала происходит в пути. В первом романе тетралогии читатель видит Ламора во Франции, во втором — в Италии, в Неаполитанской республике, куда он послан в качестве гражданского комиссара Директории. В следующем романе он появляется уже в России.

Странствующий герой (предположительно еврейского происхождения), которому свойственны постоянные размышления о смерти, но который, тем не менее, не погибает при самых критических обстоятельствах, подобен другому вечному скитальцу — Агасферу. Еще одним косвенным доказательством обоснованности проекции Ламора на Вечного Жида является несколько раз упомянутая в тексте тюрьма Консьержери, точнее, ее название. По одному из вариантов легенды о Вечном Жиде он был *привратником* в преториуме. В примечании к прологу «Мыслителя», где впервые упоминается название «Консьержери», говорится, что дословно оно переводится как «жилище *привратника* <курсив наш. — О. Л.>». В значимости имен собственных для Алданова мы уже могли убедиться на примере говорящего имени «Ламор», что дает нам основания считать данное примечание неслучайным.

Образ Агасфера оказывается удобным для Алданова в связи с тем, что бессмертие и странничество этого персонажа позволяют расширить круг исторических событий, поданных именно в его восприятии. Кроме того, упомянутые свойства Вечного Жида ставят его *над* конкретными временем и пространством. Такой герой наблюдает события как бы извне, уподобляясь при этом автору-историку. В тетралогии Ламор выступает как герой-резонер, освещающий исторические события отчасти с алдановской точки зрения. Таким образом, герой оказывается соотносенным с автором (тоже, кстати, евреем и эмигрантом). Как автор «вводит» читателя в историю изображаемой эпохи, так и Ламор знакомит второго центрального персо-

нажа тетралогии — Штааля — с революционным Парижем. Штааль говорит Ламору: «Вы помните <...> в старинной итальянской поэме “Божественная комедия”, автора — его зовут Дуранте Алигьери — водит по аду римский поэт Вергилий. Так и меня теперь вводит в царство революции муж всеведущий и строгий» [I: 191]. Ламор выполняет функцию своеобразного проводника героя, что в литературной традиции является одним из устойчивых амплуа еврейского персонажа.

Тема вечности связана также с темой исторической повторяемости, которая для Алданова является исключительно важной. Критики и исследователи отмечали, что события, которые описывает Алданов в своих романах, проецируются на эпизоды из современной ему истории. «Бессмертие» Ламора позволяет ему наблюдать повторяемость исторических сюжетов и служит для автора средством доказательства его тезиса о принципиальном историческом постоянстве и вытекающей из этого бессмысленности любых попыток изменить status quo.

Кроме того, образ Вечного Жида и тема странствия могли быть актуальными для Алданова в свете его собственной национальной принадлежности и эмиграции. Образ Агасфера как «вечного эмигранта» важен в связи с темой вины, ставшей причиной его изгнания. Агасфер был осужден за оскорбление Христа, русская интеллигенция же поплатилась за то, что спровоцировала революцию, вследствие чего лучшая ее часть оказалась в эмиграции. Эта точка зрения может быть косвенно подтверждена тем, что близкий к вольномыслящим кругам (вспомним его знакомство с Вольтером и Мирабо) и проецирующийся на Вечного Жида Ламор предположительно эмигрировал, спасаясь от революционного террора. Неслучайно также упоминание о вхождении Ламора в масонскую ложу, так как известно, что масонов обвиняли в происхождении как французской, так и русской революции.

Немаловажно также то, что образ Агасфера устойчиво связан с эсхатологическими представлениями, так как, согласно легенде, он ждет второго пришествия. Появление Пьера Ламора в центре событий французской революции оказывается, таким образом, закономерным, потому что революция зачастую ассоциировалась с концом света. Характерно, что свой сборник публицистических отрывков об Октябрьской революции Алданов назвал «Армагеддон».

С именем Агасфера, помимо мотивов вины и расплаты, связана также идея непрочности всего земного. Только «вечный» персонаж способен со всей ясностью представить себе временный, преходя-

щий характер всех исторических явлений. «Вечный» Ламор оказывается в позиции надвременного наблюдателя, созерцающего «суету сует» человеческой истории. Это функционально роднит его с фигурой дьявола-мыслителя из пролога, вынесенного в заглавие алдановской тетралогии.

Образ «Вечного Жида»-Ламора оказывается, таким образом, центральным для данного текста и становится первым в ряду странствующих предположительно еврейских персонажей у Алданова. В том или ином виде «двойники» Ламора появляются как в тетралогии (где таковыми являются Штааль и де Бальмен), так и в последующих романах Алданова (например, Лейден и Виер в «Повести о смерти»).

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Бюклинг Л. Михаил Чехов в Голливуде: размышления и письма Марку Алданову // *Studia Slavica Finlandensia*. Helsinki, 1991. Т. 8. С. 6.
- ² Алданов М. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1991. Т. 2. С. 376. Далее ссылки на это издание приводятся в основном тексте с указанием тома и страницы в квадратных скобках.

РОМАН НАБОКОВА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ». ТЕМА ДЕТСТВА В КОНТЕКСТЕ ДВОЕМИРИЯ РОМАНА

Дмитрий Зуев
(Москва)

В подавляющем большинстве работ, посвященных «Приглашению на казнь», исследователи уделяют большое внимание «особости» мира этого набоковского произведения, выделяющегося на фоне других. Его «неавтобиографичность», по мнению некоторых авторов, дала Набокову возможность говорить о том, что не находило себе места в других его произведениях. Причем вне сферы исследования в этом произведении остаются магистральные темы набоковского творчества, как, например, тема детства, о которой и пойдет речь ниже. Упоминания о них в литературе о «Приглашении на казнь» довольно редки, несмотря на то, что они отнюдь не утратили своей значимости, а лишь мимикрировали, трансформировались в иной художественной реальности.

Нора Букс в книге «Эшафот в хрустальном дворце» делает важное наблюдение: «Все герои “Приглашения на казнь” наделены детскими признаками, их учат, одергивают, с ними сюсюкают» (Букс, 118). Но здесь необходимы существенные уточнения: все персонажи воспринимают как ребенка только одного Цинцинната.

Общение с героем его тюремного окружения очень походит на общение взрослых с ребенком. При первой встрече Цинцинната с мсье Пьером, его палачом, герой не обращает никакого внимания на гостя. Это заставляет директора тюрьмы сделать Цинциннату строгий выговор, который позволителен по отношению к ребенку, плохо знакомому с правилами приличия: «Книжку бы отложили, — заметил директор срывающимся голосом; — ведь у вас гость сидит» (Набоков, 49).

Тюремщик Родион, рассказывая о неудачной попытке узника разглядеть что-нибудь через зарешеченное окно камеры, говорит с шепчущим чувством сострадания, с которым часто говорят о детях: «Очень жалко стало их мне, — вхожу, гляжу, — на столе-стуле стоят, к решетке ручки-ноженьки тянут, ровно мартышка кволая. А небо-то синехонько, касаточки летают, опять же облачка — благодать, ра-

дость! Сымаю их это, как дите малое, со стола-то, — а сам реву, — вот истинное слово реву... Оченно, значит, меня эта жалость разобрала» (Набоков, 22).

Вот еще сходная сцена, в которой мсье Пьер пытается развеселить Цинцинната: «— Какие мы печальные, какие нежные, — обратился мсье Пьер к Цинциннату, вытягивая губы, как если бы хотел рассмешить надувшегося ребенка. — Все молчим да молчим, а усики у нас трепещут, а жилка на шейке бьется, а глазки мутные» (Набоков, 48).

Для того чтобы проникнуть в этот своеобразный детский мир Цинцинната, герои романа пытаются поставить себя вровень с ним, говорить «на его языке». Отсюда возникает в их речи сюсюканье, которое призвано имитировать разговор ребенка. Например, когда Цинциннату дают возможность через глазок полюбоваться на своего нового соседа, мсье Пьера, директор тюрьмы просит героя дать и ему посмотреть: «Будет — шепнул с улыбкой директор, — я то же хочу, — и он прильнул опять» (Набоков, 33).

То же сюсюканье слышно и в словах Марфиньки, которые она произносит, прощаясь с Цинциннатом перед казнью: «Пляшай, пляшай, — залепетала Марфинька. — Постойте, не лапайтесь, дайте проститься с мужем. Пляшай. Если тебе что нужно в смысле рубашечек или там...» (Набоков, 117). Резкая смена тона от «пляшай, пляшай», адресованного Цинциннату, до грубого: «Постойте, не лапайтесь, дайте проститься с мужем», — обращенного к охранникам, наглядно демонстрирует разделение языковых сфер в романе.

Кроме того, многие герои почти напрямую называют Цинцинната ребенком. Вот сцена чаепития у директора тюрьмы: «— Оставьте, — сказал мсье Пьер, не поднимая глаз. — Ведь они оба дети.

— Каникулам конец, вот и хочется ей пошалить, — быстро проговорила директорша» (Набоков, 96).

Но черты ребенка в образе Цинцинната проступают не только благодаря отношению к нему других героев, они присутствуют и в авторских описаниях. Физический облик тридцатилетнего Цинцинната, как можно судить из портрета в пятой главе, совсем не соответствует его возрасту: «<...> и когда он так сидел на койке, — голый, всю тощую спину от куприка до шейных позвонков показывая наблюдателям за дверью (там слышался шепот, обсуждали что-то, шуршали, — но ничего, пусть), Цинциннат мог сойти за болезненно-го отрока, — даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком

длинных волос, был мальчишеский — и на редкость сподручный» (Набоков, 36).

Несколько раз повторяется в романе описание одежды героя, которая почти всегда оказывается ему велика. Полы халата приходится подворачивать, а в туфли напихивать газеты, чтобы они не сваливались при ходьбе: «Цинциннат стоял на цыпочках, держась маленькими, совсем белыми от напряжения, руками за черные железные прутья, и половина его лица была в солнечную решетку, и левый ус золотился, и в зеркальных зрачках было по крохотной золотой клетке, а внизу, сзади, из слишком больших туфель приподнимались пятки» (Набоков, 15).

Тюремщики пытаются устроить так, чтобы Цинциннату не было скучно: с ним играют в игры, показывают всевозможные представления, а когда мсье Пьер узнает, что Цинциннат лелеет мечту о побеге, он и директор тюрьмы решают устроить ему такой побег, но «по-нарошку», сыграть с ним в увлекательную игру.

Э. Филд в работе «Nabokov: His Life in Art, a critical narrative» (1967) предлагает рассматривать мир этого романа как реализацию распространенной мысли, согласно которой мир художественного произведения условен и не имеет ничего общего с настоящим. Т. Смирнова, подхватывая идею Филда, замечает, что одним из важнейших художественных приемов романа, благодаря которому и возникает этот совершенно особенный мир, является реализованная метафора. Образ Цинцинната-ребенка можно рассматривать в таком ключе как буквализацию, осуществление представления о том, что ребенок живет в своем особом мире, закрытом от чужих глаз, существующем по своим законам, и мало заботится о происходящем в мире взрослых. С помощью подобного приема в тексте воплощается важнейший смысловой комплекс романа, о котором писали многие исследователи: противостояние творческой личности системе, стремящейся подмять ее под себя, обезличить. Мир Цинцинната отгорожен от всех непроницаемым барьером, замкнут внутри себя.

Но это только внешний уровень значения образа. Свою идефикс о побеге из крепости Цинциннат связывает с Эммочкой, дочкой директора, и это не случайно. Вот какой план рождается у него: «Когда она сегодня примчалась — еще ребенок, — вот, что хочу сказать, — еще ребенок, с какими-то лазейками для моей мысли, — я подумал словами древних стихов — напоила бы сторожей... спасла бы меня» (Набоков, 30).

Среди всех людей, которые окружают Цинцинната, лишь в Эммочке он находит что-то родственное. Но, доверившись ей, он становится участником игры. Пробираясь к себе в камеру по туннелю, он каким-то чудом оказывается снаружи, за крепостными стенами, где встречает Эммочку и, последовав за ней, попадает прямо в дом к директору тюрьмы. В этой театральной, маскарадной реальности Цинциннат опять попадает впросак. В последней беседе перед этим Эммочка пообещала ему помочь бежать, но когда Цинциннат попросил ее рассказать, как все произойдет, она лишь пробубнила ему на ухо какую-то бессмыслицу. В этой сцене срабатывает условность театрального действия: важно лишь происходящее непосредственно на глазах у зрителей, а то, что говорит один актер другому на ухо, не имеет никакого значения, поскольку зрители этого не слышат, а актеры все знают заранее. И как все театральное действие происходит не на самом деле, этот побег был тоже «понарошку». Эммочка же, в которой Цинциннат видел единственное родственное себе создание, оказывается таким же призраком, как и все в этом мире.

Постоянно размышляя о побеге и об Эммочке, которая должна была ему в этом помочь, Цинциннат роняет несколько слов о том, что должно произойти с дочкой директора, чтобы она поняла его и помогла бежать: «Будь ты взрослой, — подумал Цинциннат, — будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней...» (Набоков, 26). Что значит «душа хоть слегка с моей поволокой», могут пояснить следующие слова Цинцинната: «Кабы вот таким ребенком осталась, а вместе повзрослела, поняла, — и вот удалось бы: горящие щеки, черная ветреная ночь, спасение, спасение...» (Набоков, 30).

В этом состоит и «особость» главного героя: он в одно и то же время живет и в детстве, и сейчас, когда ему тридцать лет, его мир не ограничен временными рамками, он находится вне времени. Здесь можно вспомнить эпизод, в котором герой рассказывает, как он однажды очутился в маленьком городке, настолько тихом и сонном, что когда человек вставал с завалинки возле белой стены, его тень на секунду запаздывала и только потом догоняла хозяина. Цинциннат говорит, что вся его жизнь сосредоточена в этой мельчайшей доле секунды разрыва. Здесь снова появляется мотив жизни вне времени, вне ее привычных законов, которые действуют в этом мире.

«Пограничное состояние», в котором живет Цинциннат, реализуется в романе и на пространственном уровне: герой живет на грани двух миров, и переход из одного в другой для него прост и естествен-

нен: «Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилий проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, — и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала» (Набоков, 69).

Цинциннат постоянно ощущает близость родственного ему мира и, описывая его, замечает следующее: «<...> там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети» (Набоков, 53). Он чувствует это потому, что сам не разорвал связи с детством, с тем состоянием, когда он был ближе всего к тому, «другому», родному ему миру. Именно в детстве, как он говорит, эта близость была сильнее: «Еще ребенком, еще живя в канареечно-желтом, большом холодном доме, <...> еще тогда, в проклятые те дни, среди тряпичных книг, и ярко расписанных пособий, и проникающих душу сквозняков, — я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, — знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас» (Набоков, 54).

В образе Цинцинната реализуется принципиально иной, чем в человеческой жизни, ход развития: чем взрослее и старше становится герой, тем все сильнее отдалается он от истины. И у детей, по словам Цинцинната, в сущности, есть больше шансов стать кем-то другим, чем они становятся в результате (см.: Александров, 130).

Подчиненная своей внешней формой стихийной метафоричности романа, тема детства в «Приглашении на казнь» является важным внутренним механизмом повествования, благодаря которому на уровне образа осуществляется связь с другим, близким Цинциннату миром, о котором он постоянно говорит.

ЛИТЕРАТУРА

Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. М., 1998.

Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1990. Т. 4.

Смирнова Т. Роман Набокова «Приглашение на казнь» // В. Набоков: pro et contra. СПб., 1997.

Field, Andrew Nabokov: His Life in Art, a Critical Narrative. Boston, 1967.

Александров В. Набоков и потусторонность. СПб., 1999.

ВОКРУГ «PALE FIRE»

Григорий Утгоф
(Таллинн)

Рассуждения о том, что препятствует переводу «Pale Fire», ограничиваются, как правило, рассмотрением такого примера: «There's one misprint — not that it matters much: / *Mountain, not fountain* <курсив Набокова. — Г. У.>. The majestic touch» (ср. в переводе В. Набоковой: «Одна есть опечатка, не то, чтоб важная: / Гора, а не фонтан. Оттенок величавости» — Набоков 1983: 58) [Nabokov 1991: 53]¹. Куда менее очевидная, но столь же большая, трудность заключается в передаче авторских реминисценций. Вне английского контекста поэма «Pale Fire» обретает многочисленные источники, не свойственные оригиналу².

Так, к примеру, в строках «Но эта прозрачная штука требует заглавия, / Подобного капле лунного света. / Помоги, мне, Вильям! «Бледный огонь»» [Набоков 1983: 64] проявляются сразу несколько фантомных подтекстов³. Это, прежде всего, «Люди лунного света» Розанова⁴, стихотворение «Первый удар» Кузмина⁵ (ср.: «Я был на спиритическом сеансе, / Хоть не люблю спиритов и казался / Мне жалким медиум — забитый чех. / В широкое окно лился свободно / Голубоватый леденящий свет. / Луна как будто с севера светила: <здесь и далее курсив мой. — Г. У.> / Исландия, Гренландия и Тулз, / Зеленый край за паром голубым») и короткий отрывок Гоголя, озаглавленный «Ночи на вилле» (ср.: «Я глядел на тебя. Милый мой молодой цвет! Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старше целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь. Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки») ⁷.

Между тем, в исходной редакции приведенный фрагмент ориентирован на Шекспира. В строках «But this <курсив Набокова. — Г. У.> transparent thingum does require / Some moondrop title. Help me, Will! *Pale Fire*» [Nabokov 1991: 57] заключаются реминисценции двух трагедий⁸ — «Гамлета» (ср.: «Fare thee well at once. / The glow-

worm shows the matin to be near, / And gins to *pale* his uneffectual *fire*. / Adieu, adieu, adieu. Remember me» [ср. в переводе А. Кронеберга: «Прощай! Прощай! Светящийся червяк / Мне говорит, что близко утро: / *Бессильный свет* его уже бледнеет. / Прощай, прощай и помни обо мне»]⁹ — I, 5) и «Тимона Афинского» (ср.: «... I'll example you with thievery: / The sun's a thief, and with his great attraction / Robs the vast sea. The moon's an arrant thief, / And her *pale fire* she snatches from the sun. / The sea's a thief whose liquid surge resolves / The moon into salt tears...» [ср. в переводе П. Вейнберга: «... Везде / Я вам найду грабительства примеры: / Так солнце — вор, который океан / Обкрадывает силой притяженья; / И месяц — вор нахальный: крадет он / Свой *бледный свет* у солнца; океан — / Вор: жидкостью своей он разрешает / Луну в поток соленых слез...»]¹⁰ — IV, 3).

Очевидно, что в стремлении передать только «внутреннюю переключку мыслей и образов» [Набоков 1983: 1] автор самого буквального из всех переводов «Pale Fire» отошел от следующего набоковского постулата: «The faithful translator should be aware of every <...> authorial reminiscence, imitation, or direct translation from another language into that of the text»¹¹ (ср. в переводе Н. Жутовской: «Добросовестный переводчик должен понимать каждую авторскую реминисценцию, подражание или прямой перевод с другого языка на язык текста» — Набоков 1998: 28) [Nabokov 1964: X].

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Сам Набоков — от имени безумного комментатора Кинбота — отмечал, что «переводчикам поэмы Шейда неизбежно предстоят трудности с трансформацией единым махом “горы” в “фонтан”»: это невозможно сделать ни по-французски, ни по-немецки, ни по-русски, ни по-земблянски...» (ср. в исходном тексте: «Translators of Shade's poem are bound to have trouble with the transformation, at one stroke, of 'mountain' into 'fountain': it cannot be rendered in French or German, or Russian, or Zemblian...» — Nabokov 1991: 204) [Набоков 1983: 24].
- ² Теоретические предпосылки сделанного наблюдения заключает монография: *Гаспаров Б. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования*. М., 1998.
- ³ В понимании подтекста я следую определению, данному Кириллом Тарановским: «Если определить контекст, как группу текстов, содержащих один и тот же похожий образ, подтекст можно формулировать как уже существующий текст, отраженный в последующем, новом тексте» (Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 31).

- ⁴ Семантическая двойственность ореола, закрепившегося за словосочетанием «лунный свет», обыгрывается Набоковым в «Даре»: «“Месяц, полигон, виола заблудившегося пола...” — как кто-то в кончеевской поэме *п е р е в е л* “и степь, и ночь, и при луне”» [Набоков 2000: 229]. Некоторые замечания о полемике Набокова с Розановым содержатся в работах: *Сконечная О.* Люди лунного света в русской прозе Набокова. К вопросу о набоковском пародировании мотивов Серебряного века // *Звезда*. 1996. № 11. С. 207–214; *Brodsky A.* Homosexuality and the Aesthetic of Nabokov's Dar // *Nabokov Studies*. 1997. Vol. 4. P. 95–115. О розановском следе в «Подвиге» см.: *Долинин А., Утгоф Г.* Примечания <к «Подви-гу»> // Набоков В. Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб., 2000. Т. 3. С. 714–742; *Утгоф Г.* Мотив «пути» в романе Владимира Набокова «Подвиг» // *Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры*. Екатеринбург, 1998. С. 219–224.
- ⁵ Некоторые несущественные параллели между «Pale Fire» и сборником «Форель разбивает лед» рассматриваются в заметке: *Rylkova G.* «Beyond the Limits of a Vulgar Fate»: On Kuzminian Subtext in Nabokov's The Eye and Pale Fire // *Abstracts from the International Centennial Conference Nabokov at the Crossroads*. [London], 1999. P. 31.
- ⁶ *Кузмин М.* Первый удар // Кузмин М. Избранные произведения. Л., 1990. С. 284. Мнимое пересечение с Кузминым обнаруживается и в следующем отрывке: «“Я знаю, вы в несколько стесненных...” (рука Градуса плеснулась, как маленькая рыбка, и он подмигнул)» [ср. в исходном тексте: «“I know your funds are somewhat — ”(Small-fish gesture and wink)» — Nabokov 1991: 143] [Набоков 1983: 169]. Ср. в «Первом ударе»: «Меня он принял будто за другого, / Пожал мне руку и сказал: “Покурим!” / Как сильно рыба двинула хвостом!» (*Кузмин М.* Указ. соч. С. 284–285).
- ⁷ *Гоголь Н.* Ночи на вилле // Гоголь Н. Полное собрание сочинений: В 14 т. М., 1938. Т. 3. С. 326.
- ⁸ См.: *Alter R.* Nabokov's Game of Worlds // *Alter R.* Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious Genre. Berkeley, 1975. P. 180–217; *Grabes H.* Nabokov and Shakespeare: The English Works // *The Garland Companion to Vladimir Nabokov*. New York, 1995. P. 496–512; *Lyons J. O.* Pale Fire and the Art of Fine Annotation // *Nabokov: The Man and His Work*. Madison, 1967. P. 157–164; *McCarthy M.* A Bolt from the Blue // *Nabokov V.* Pale Fire. Harmondsworth, 1991. P. V–XXII; *Tammi P.* Pale Fire // *The Garland Companion to Vladimir Nabokov*. New York, 1995. P. 571–586; *Williams C. T.* «Web of Sense»: Pale Fire in the Nabokov Canon // *Critique*. 1963. № 3 (6). P. 29–45. Проблема авторской семантизации словосочетания «pale fire» / «бледный огонь» затрагивается в работе: *Утгоф Г.* Две заметки о прозе Набокова // *Studia slavica*. II сборник научных трудов молодых филологов. Таллинн, 2001. С. 147–151.
- ⁹ *Шекспир В.* Гамлет // Библиотека великих писателей под редакцией С. А. Венгерова. Шекспир. СПб., 1903. Т. 3. С. 91.

- ¹⁰ Шекспир В. Тимон Афинский // Библиотека великих писателей под редакцией С. А. Венгерова. Шекспир. СПб., 1903. Т. 3. С. 556.
- ¹¹ С удивительной последовательностью, однако, в каноническом переводе «Pale Fire» воплощен принцип полного отказа от «благозвучия, ясности, хорошего вкуса, современного словоупотребления и даже грамматики» [«euphony, clarity, good taste, modern usage and, even grammar» — Nabokov 1964: X] [Набоков 1998: 29]. Ср.: «Они полагали, что я предпочитаю быть оставленным в покое» [Набоков 1983: 16]; «Вид, открывавшийся в одном из моих окон, обеспечивал меня постоянным первоклассным развлечением» [Набоков 1983: 19]; «Увы, моему душевному покою предстояло в скором времени быть нарушенным» [Набоков 1983: 20]; «Когда он возвращался, пришел Олег» [Набоков 1983: 119]; «При всем своем блестящем даровании Джон Шейд никогда не мог заставить так осесть свои снежинки» [Набоков 1983: 193]; «Да, мы с Джоном опять шагали, как бывало, в лесах Аркадии под лососиновым небом» [Набоков 1983: 245].

ЛИТЕРАТУРА

- Набоков 1983: *Набоков В.* Бледный огонь. Ann Arbor, 1983.
- Набоков 1990: *Набоков В.* Дар // Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб., 2000. Т. 4. С. 188–541.
- Набоков 1998: *Набоков В.* Предисловие // Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 27–30.
- Nabokov 1964: *Nabokov V.* Foreword // Pushkin A. Eugene Onegin. Translated from the Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov. Bollingen Series LXXII. New York, 1964. Vol. 1. P. VII–XII.
- Nabokov 1991: *Nabokov V.* Pale Fire. Harmondsworth, 1991.

ЛИНГВИСТИКА

ОБ ОДНОМ ПАРАМЕТРЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Анастасия Бонч-Осмоловская
(Москва)

Традиционное разбиение прилагательных на качественные и относительные основывается одновременно на семантическом и на грамматическом критериях. Семантический критерий относит к качественным прилагательные, обозначающие «признаки предмета, способные проявляться с разной степенью интенсивности» [Плотникова 1997: 377], а к относительным — прилагательные, обозначающие «признаки предмета обычно через его отношение к другому предмету» [Там же]. Два данных класса, однако, не формируют четкой семантической оппозиции, а лишь выделяют два подмножества из множества всех прилагательных в языке. Для того, чтобы данная классификация могла считаться исчерпывающей, необходимо было бы определить еще два класса прилагательных: первый, объединяющий прилагательные, не обладающие ни одним из рассматриваемых семантических признаков (напр., прилагательное *немой*), и второй, включающий в себя те прилагательные, которые обладают одновременно обоими семантическими признаками (напр., прилагательное *мещанский*, являющееся в современном языке формой негативной оценки, и в то же время отсылающее к вполне определенному объекту). Отсутствие данных классов замещается использованием грамматического критерия классификации, при помощи которого прилагательные, не вполне попадающие под приведенные выше определения, «рассовываются» по двум имеющимся классам качественных и относительных прилагательных.

Грамматический критерий представляет собой крайне неоднородный список контрольных грамматических признаков: возможность образования у прилагательного сравнительной степени, краткой формы и наречий на *-о*, *-е*, возможность образования от прилагательного абстрактных существительных и форм оценки, непроеводность основы и даже некоторые сугубо семантические характеристики, напр., наличие у прилагательного антонимов. Грамматический критерий относит к качественным все прилагательные, которые обладают хотя бы одной из названных грамматических характери-

стик, в том числе и не соотносящиеся с семантическим критерием качественности: указанием на признак той или иной степени интенсивности. Так, к качественным относят прилагательное *женатый*, благодаря наличию у него краткой формы, прилагательное *гнедой*, благодаря непроемкости его основы, и т.д., см. [Тихонов 1997].

Причина неоднозначности и запутанности данной классификации заключается в **несоотнесенности** выделяемых грамматических параметров с ее семантическим основанием. Между тем, в соответствии с современными лингвистическими теориями грамматические признаки слова следует рассматривать как проявление его глубинной семантической структуры. Классификация, учитывающая данное положение, представляет собой не бинарную оппозицию, а континуальную шкалу с заданными крайними «прототипическими» точками и набором параметров, определяющих порядок расположения всех остальных элементов (ср. современное понимание переходности глагола).

В настоящей работе будет предпринята попытка построения такой шкалы на базе одного выбранного параметра — *степени вовлеченности Экспериментера в акт оценки свойств Стимула*.

С точки зрения когнитивных механизмов, определяющих функционирование языка, употребление прилагательного является результатом оценки субъектом речи ряда релевантных свойств определяемого имени. Иначе говоря, за атрибутивной функцией прилагательного стоит глубинный ментальный предикат оценки, имеющий свои актанты — экспериментера, т.е. того, кто производит оценку, и стимул, т.е. то, что оценивается. Свойства стимула могут восприниматься как «объективные», существующие независимо от акта оценки, или же они являются непосредственно результатом оценки экспериментером свойств стимула и выражают, в конечном итоге, сведения о внутреннем мире или состоянии экспериментера. Первое свойственно «прототипически» относительным прилагательным, типа *американский*, второе — «прототипически» качественным прилагательным, типа *теплый* (т.е. такой, который вызывает ощущение тепла).

Чтобы построить семантико-грамматическую шкалу «качественности-относительности», необходим ряд тестов, определяющих релевантность роли экспериментера при функционировании того или иного прилагательного. Если роль экспериментера существенным образом определяет семантику прилагательного, должна существовать возможность экспликации этого на поверхностном уровне, и наоборот, если роль экспериментера оказывается нерелевантной, ее

экспликация должна быть затруднена. Конечный выбор тестовых конструкций происходит с учетом двух важных тезисов:

1) поверхностное кодирование роли экспериенцера осуществляется при помощи датива;

2) прилагательное понимается максимально широко, в рамках одной лексемы рассматриваются и ее предикативные «безличные» употребления — т. н. предикативные наречия на -о, -е.

Обоснование такой точки зрения на прилагательные и предикативные наречия было дано в [Бэбби 1985]: «Если и существует вообще что-либо подобное категории состояния, то предикативные КФ прилагательных в среднем роде единственного числа к этой категории не относятся. Напомню, что “прилагательное” есть в сущности глагол и для него совершенно естественно быть сказуемым безличного предложения» [Бэбби 1985: 197].

Иначе говоря, в предложениях типа *Мне известна эта книга* и *Мне известно, что он написал эту книгу*, мы имеем дело не с двумя разными лексемами, но лишь с изменением синтаксического контекста одной и той же.

Первым тестом, выявляющим место экспериенцера в семантической структуре рассматриваемого прилагательного, является возможность одновременного управления прилагательным двумя актантами — экспериенцером в дативе и стимулом в номинативе (конструкция 1). Напр.:

- 1) *Ему неприятны эти люди.*
- 2) *Мне интересна эта проблема.*

но

- 3) ? *Мне грязен пол.*
- 4) * *Мне глуп подобный поступок.*

Возможность образования конструкции 1 «располагает» рассматриваемое прилагательное на «качественном конце» шкалы.

При более опосредованной связи между внутренним миром экспериенцера и свойствами стимула одновременное поверхностное выражение обеих ролей будет затруднительно, однако прилагательное может тем не менее управлять экспериенцером (конструкция 2):

- 5) *Мне глупо приезжать на вокзал в такую рань.* (ср. с примером 4)
- 6) *Мне так будет спокойней.*

но

- 7) * *Ему достойно так поступать.*

Наконец, в качестве третьего теста рассматривается возможность операции подъема определяемого имени в главное предложение, вершиной которого является предикат *казаться*, управляющий экспериментером в дативе (конструкция 3):

8) *Погода кажется мне вполне приятной.*

9) *Этот человек показался мне слепым.*

но

10) ? *Этот факультет кажется мне юридическим.*

11) ??? *Вечер кажется мне вчерашним.*

Затрудненность образования конструкции 3 означает, что данное прилагательное располагается на «относительном конце» шкалы. Необходимо отметить, что «степень затрудненности» может быть разной в зависимости от свойств определяемого имени, ср., напр., 12 и 13:

12) ??? *Учреждение, в котором он работал, показалось мне детским.*

но

13) *Его улыбка показалось мне детской.*

Такое варьирование можно объяснить, разлив исходную гипотезу о ментальном предикате оценки, лежащем в основе прилагательного: одни и те же свойства могут в зависимости от определяемого имени представлять как существующие объективно признаки, и как результат субъективной оценки.

Три разработанных теста были применены к выборке из более чем 400 прилагательных, разбитых на 15 семантических классов (см. таблицу 1). Произведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. Рассматриваемые конструкции составляют иерархию: если прилагательное допускает при себе конструкцию 1, то оно допускает и конструкции 2 и 3, если прилагательное допускает конструкцию 2, то оно допускает и конструкцию 3. Таким образом, на предполагаемой шкале качественности-относительности выделяются следующие последовательно располагающиеся узлы:

1) Прилагательные, допускающие все 3 конструкции (полюс качественности).

2) Прилагательные, допускающие конструкции 2 и 3.

3) Прилагательные, допускающие только конструкцию 3.

4) Прилагательные, не допускающие использование ни одной из рассматриваемых конструкций (полюс относительности).

В реальности шкала является менее дискретной, поскольку очень часто оказывается затруднительным ответить на вопрос, насколько

допустимо использование той или иной конструкции вне специального круга контекстов. Наличие лексических ограничений «сдвигает» прилагательное в сторону полюса относительности.

II. Прилагательные внутри одного семантического класса ведут себя единообразно и располагаются на шкале последовательно. Не случается, чтобы часть прилагательных семантического класса располагалась на полюсе качественности, а другая часть того же самого класса на полюсе относительности. Этот вывод является важным свидетельством в пользу того, что рассматриваемые нами синтактико-грамматические свойства прилагательных напрямую следуют из свойств их семантической структуры.

Таблица 1. КЛАССЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ [Гращенков 2000]

КЛАССЫ	Путеводитель по КЛАССАМ	ПРИМЕРЫ	К-во
Ab Lo	Расположение в пространстве	<i>европейский</i>	25
Ab Ti	Временной период	<i>вечерний</i>	4
COLOR	Цвет	<i>черный</i>	17
De Lo	Пространственная соотнесенность	<i>внешний</i>	16
De Ti	Временная соотнесенность	<i>прежний</i>	13
GRAMM	Грамматические термины	<i>анафорический</i>	15
Li Be	Свойства живых существ	<i>молодой</i>	57
MAT	Материал	<i>металлический</i>	8
NAT	Национальность	<i>русский</i>	16
Ph Pr	Физические характеристики	<i>чистый</i>	44
SIZE	Размер	<i>большой</i>	20
SOCIO	Социальная сфера	<i>военный</i>	77
STRUC	Структурные прилагательные	<i>единственный</i>	32
TIME	Время	<i>новый</i>	14
VALUE	Оценка	<i>хороший</i>	77

Таблица 2. ШКАЛА КАЧЕСТВЕННОСТИ-ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

качественность конструкции 1, 2, 3			конструкции 2, 3		конст- рукции 3	относитель- ность	
страш- ный	VA- LUE	простой	VA- LUE	достой- ный	VALUE		
важный	VA- LUE	нормаль- ный	VA- LUE	плоский	Ph_Pr		
прият- ный	VA- LUE	мокрый	Ph_Pr	блестя- щий	Ph_Pr		
тяже- лый	Ph_ Pr	свежий	Ph_Pr	крупный	SIZE		
жест- кий	Ph_ Pr	больной	Li_Be	мертвый	Li_Be		
низкий	SIZE	печаль- ный	Li_Be	молодой	Li_Be		
узкий	SIZE	веселый	Li_Be	редкий	TIME		
		долгий	TIME	вечный	TIME	прежний	De_ Ti
		темный	COLOR	красный	COLOR	крайний	De_ Lo
		поздний	De_Ti	древний	De_Ti	собст- венный	STR- UCT
		близкий	De_Lo	желез- ный	MAT	общест- венный	SO- CIO
				единст- венный	STRUCT	коммер- ческий	SO- CIO
				родной	STRUCT	амери- канский	NAT
				женский	SOCIO	итальян- ский	NAT
						восточ- ный	Ab_ Lo
						област- ной	Ab_ Lo
						летний	Ab_ Ti
						ночной	Ab_ Ti
						грамоль- ный	GRA- MM
						синтак- сический	GRA- MM

ЛИТЕРАТУРА

- Бэбби Л. 1985 — К построению формальной теории «частей речи». *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XV. М. 171–203.
- Гращенков П. В. 2000 — Русское прилагательное: опыт многофакторного анализа. Курсовая работа. Рукопись¹.
- Плотникова (Робинсон) В. А. 1997 — Прилагательное. *Энциклопедия «Русский Язык»*. М. 376–378.
- Тихонов А. Н. 1997 — Качественные прилагательные. *Энциклопедия «Русский Язык»*. М. 183–184.

¹ Я благодарна П. В. Гращенкову за предоставленную базу данных по прилагательным.

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СЕМАНТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ ‘МЕСТО ДЕЙСТВИЯ’ КАК НОСИТЕЛИ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Димитрий Миронов
(Таллинн)

К настоящему времени в русистике стало общепринятым положение о трансформации глагольных категорий при именном словообразовании. Данная проблема рассматривалась в [Иванникова 1972; Кузнецова 1979; Дмитриева, Новикова 1981; Ремчукова 1990, 1991].

Связь с различными глагольными категориями исследователи находят, прежде всего, у отглагольных имен существительных, обозначающих действие. Однако следует предположить, что связь с глагольными категориями сохраняется и в других семантических группах субстантивных производных глагола.

В качестве материала для данного исследования была выбрана группа отглагольных существительных со значением ‘место действия, названного мотивирующим глаголом’. Выборка существительных, составляющих данную группу, была произведена по «Грамматическому словарю русского языка» А. А. Зализняка. Критерием отбора было наличие у производной субстантивной лексемы мотивирующей глагольной основы (словообразовательные связи были верифицированы по «Словообразовательному словарю русского языка» А. Н. Тихонова). Словарное толкование выбранных существительных проверялось по «Словарю русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой, «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой и «Толковому словарю русского языка конца XX в.» под ред. Г. Н. Складневской. Кроме перечисленных словарей, в работе использовался «Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка» Т. Ф. Ефремовой в качестве источника для верификации семантики аффиксальных единиц, образующих от глаголов существительные со значением места действия.

Данная группа существительных представляется интересной с семантической точки зрения. С одной стороны, не вызывает сомне-

ния опредмеченность существительных, выражающих пространственные понятия. С другой стороны, нельзя оставлять в стороне и факт наличия глагола в качестве мотивирующей основы, что дает возможность предполагать сохранение в семантической структуре подобных существительных компонентов, тем или иным образом связанных с грамматическими категориями производящего глагола.

Существительные с компонентом 'место действия' представляется возможным разделить на две большие группы. К первой относятся лексемы, обозначающие место, предназначенное для выполнения действия, названного мотивирующим глаголом (ср. *курилка* для того, чтобы курить; *пекарня* для того, чтобы печь и т.д.). С семантической точки зрения подобные существительные тяготеют к глаголам несовершенного вида, т.к. действие представляется как неограниченно повторяемое. На это указывает и то, что в морфемной структуре некоторых существительных этой группы сохраняются формальные показатели несовершенного вида, напр., суффикс имперфективации *-ва-* в слове *раздевалка*. Ко второй группе относятся лексемы, обозначающие место, являющееся результатом выполнения действия, названного мотивирующим глаголом (ср. *трещина* появляется там, где что-либо трескается; *стройка* — то место, где что-то строят и т.п.). Если у первой группы значение места действия является доминантным или частным значением словообразовательного типа, то во второй группе значение места не обусловлено словообразовательными морфемами, которые в основном несут лишь обобщенное значение предметности. Свойственная второй группе слов полисемичность является следствием выражения как самого действия (*стройка* как процесс, *окружение* как действие войск), так и места как его результата (побывать на *стройке*, попасть в *окружение*).

С целью изучения особенностей семантической структуры рассматриваемых существительных (в первую очередь, с точки зрения наличия в ней компонентов, связанных с грамматическими характеристиками производящих глаголов), был предпринят контекстуальный анализ. Рассматривалось употребление данных слов в художественных, публицистических текстах, а также в разговорной речи. Результатом подобной работы можно считать выявление следующих особенностей употребления анализируемых лексем:

1. Полифункциональность существительных, обозначающих место, позволяет им в разговорной речи выступать в качестве полноценных эквивалентов глаголов, напр.: — *Что он делает?* — *Он еще в раздевалке*, ср.: *Он еще раздевается*.

2. Принятое положение о том, что отглагольные существительные индифферентны по отношению к залогу производящего глагола большей частью относится и к исследуемым существительным (*купальня* --- 'место, где купают и где купаются'), однако исключение из этого правила может подтвердить обратную точку зрения. «Грамматический словарь русского языка» Л. А. Зализняка приводит лексему *парилка* с ударением на первом слоге как производное от глагола *парить* со значением 'помещение, где парят что-либо' и лексему *парИлка*, образованную от глагола *париться* со значением 'отделение в бане, где парятся'.
3. Как известно, протяженность во времени — характеристика действия. Присутствие в семантической структуре некоторых существительных компонента длительности позволяет им не только указывать на место, но и характеризовать действие с точки зрения его протекания во времени. Примером может служить лексема *говорильня* со значением 'соборание, учреждение, где ведутся длительные безрезультативные речи'. Кроме того, в определенных контекстах актуализируется сема характера протекания действия, причем в таком случае у слова появляется ярко выраженная субъективная оценочность (ср. пример из «Толкового словаря русского языка конца XX в.»: *Он снова возвращается к экономике, ему претит болтовня, говорильня в парламентах и на кухнях, он прагматик*).
4. В семантике некоторых исследуемых существительных присутствуют модальные компоненты. Так, лексемы *убежище*, *прибежище* имеют значение 'место, где можно укрыться, пайти приют, спасение от чего-либо' с модальностью потенциальной возможности совершения действия в определенном месте, ср.: *Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса* (Тургенев).
5. Количественная природа сближает категории вида у глагола и числа у имен, причем у последних отглагольности, процессуальности подчеркивается формой множественного числа. Если существительные типа *раскопка*, *разработка*, *раскорчевка* в значении действия, названного мотивирующим глаголом, употребляются в основном в форме единственного числа (ср.: *разработка проекта*), то в форме множественного числа на значение места накладывается обозначение сложного процесса, комплекса действий, производимых при этом, ср.: *После осмотра крупной молочнотоварной фермы Лозунов побывал на раскорчевках под огороды и пашни* (Колтычева). О структурно-семантической зоне «сложное действие», см.: [Ремчукова 1987].
6. В семантике некоторых рассматриваемых существительных присутствует компонент, связанный с временной локализованностью действия (ср.: *приемник-распределитель* — 'учреждение для временного содержания задержанных до определения их в другие учреждения'). По-

мимо этого, помещение во временной план может содержаться и в контексте (ср.: *Это мое временное жилище*).

Таковы первичные наблюдения над функционированием данной группы существительных в современном русском языке. Приведенные примеры в целом носят фрагментарный характер, но они вполне способны доказать, что семантическая структура существительных со значением места наследует информацию о глагольных категориях производящего слова, которая с наибольшей полнотой выявляется в контексте.

ИСТОЧНИКИ

- Ефремова Т. Ф. 1996. *Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка*. М.
Зализняк А. А. 1980. *Грамматический словарь русского языка*. М.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 1995. *Толковый словарь русского языка*. М.
Словарь русского языка. 1981–1984. Т. 1–4. М.
Тихонов А. Н. 1985. *Словообразовательный словарь русского языка*. М.
Толковый словарь русского языка конца XX века: языковые изменения. 1998. СПб.

ЛИТЕРАТУРА

- Дмитриева Н. С., Новикова Л. М. 1981 — Компоненты семантики отглагольного существительного. *Исследования по семантике. Лексическая и синтаксическая семантика*. Уфа. 28–36.
Иванникова Е. А. 1972 — К вопросу об аспекте изучения категории вида у отглагольных существительных в русском языке. *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*. М. Т. XXXI. Вып. 2. 113–123.
Кузнецова Г. А. 1979 — Признаки процессуальности отглагольных существительных и условия ее сохранения. *Лексическая семантика и словообразование в русском языке*. Куйбышев. Вып. 1. Т. 228. 56–64.
Ремчукова Е. Н. 1987 — Структурно-семантическая зона «сложное действие» в современном языке. *Грамматическая семантика слова и предложения*. Уч. зап. ТГУ. Тарту. Вып. 760. 62–75.
Ремчукова Е. Н. 1990 — Вид и отглагольное словообразование. *Функциональные и семантические проблемы описания русского языка. Труды по русской и славянской филологии*. Уч. зап. ТУ. Тарту. Вып. 896. 21–30.
Ремчукова Е. Н. 1991 — Трансформация глагольных категорий. *Синтагматические и парадигматические связи языковых единиц и категорий (на материале разносистемных языков)*. Таллинн. 54–55.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО ВИДА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. МОДАЛЬНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ И ФОРМАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Мадс Эскильдсен
(Дания)

1.

Целью настоящей статьи является анализ таких случаев употребления глаголов совершенного вида настоящего времени (далее — СВНв), когда их форма выражает не «внутренний предел действия» [Виноградов 1986: 409], не «событие» [Дурст-Андерсен 1997: 80], и не «однократное действие» [Маслов 1984: 72–73], а какой-то иной тип грамматического значения. В русистике предпринимались попытки описания этого типа значения как *потенциального* [Бондарко 1971: 23] или значения с неким оттенком модальности [Караванов 1997: 105]¹. Однако в таком случае возникает вопрос о характере модальности, выражаемой глаголами СВНв, а в некоторых случаях, и инфинитивом СВ: чем она обусловлена и чем маркирована, а также вопрос о том, как при этом категория глагольного вида соотносится с категорией времени в интересующих нас случаях?

2. Формальные средства выражения модальности

Изучением формальных средств выражения модальности глаголов СВНв в случаях, когда они не обозначают однократность действия в традиционном смысле, недавно занялась А. А. Зализняк. Она установила, что «реализация этого <потенциального> значения обычно требует контекстной поддержки — т.е. дополнительного указания на обобщенный характер описываемого действия» [Зализняк 1997: 18]. При более подробном анализе контекстной поддержки, можно установить, что модальность в рассматриваемых случаях проявляется в сочетании глаголов с особыми модальными показателями. Таковыми

¹ Под модальностью понимается та семантико-прагматическая оценка, которую придает высказыванию говорящий [Palmer 1986: 51].

показателями могут быть любые элементы предложения, не являющиеся его главным членом. Таким образом, сюда можно отнести наречия, частицы, отрицания, а также слова, употребленные в обобщающем и переносном значении². Напр., в предложении *Он отдаст последнюю рубашку* в качестве модального показателя можно рассматривать слово *последнюю*, которое модифицирует традиционную семантику глагола СВНв. Модальность может также выражаться сочетанием двух или более глаголов СВНв без дополнительных модальных показателей (если не считать само сочетание таким модальным показателем) или с помощью вводного слова *бывает (бывало): Бывает, к нам придет сосед, сядет и расскажет что-нибудь веселенькое*. В следующем примере функцию модального показателя выполняет частица *то*: *Он не сидит на месте: то встанет, то сядет, то начнет ходить по комнате*. Аналогичное предложение, но без модального показателя, имеет совершенно другое, немаркированное, значение: *Он встанет, а затем сядет*. Такое немаркированное значение вызывает ассоциации с конкретно-фактическим значением глаголов СВ. Представляется очевидным, что различие между приведенными случаями употребления глагола СВНв состоит в том, что при наличии особых модальных показателей возникает особая модальность — модальность потенциальности. Ср. нижеследующие примеры: *Редко он скажет что-нибудь дельное! Всегда он окажется хитрее всех!* Показателями модальности тут являются наречия *редко* и *всегда*. Отрицание *не* тоже может выполнять функцию модального показателя, напр.: *Меня не проведешь!* Примечательно, что данный тип предложения во многом проявляет сходство с инфинитивными конструкциями, которые, в сущности, выражают лексическое, видовое и залоговое значение глагола, а в некоторых случаях, в сочетании с модальным показателем, и модальность потенциальности: *Меня не провести!* В отличие от конструкций со спрягаемой формой глагола, модальный характер инфинитивных высказываний не относится к конкретному субъекту-исполнителю действия, т. к. форма инфинитива сама по себе безлична. Ср., напр., *Тебя не переспорить!*, где модальность мыслится как присущая некоему абстрактному субъекту. Однако, поскольку инфинитивные конструкции возможны и с глаголом НСВ, можно предположить, что говорящий уделяет внимание не субъекту, а действию, обозначаемому глаголом СВ или НСВ: *Туда не подойти. Туда не подходить!* (См. ниже).

² Степень влияния отдельных модальных показателей на модальность как таковую нами подробно не изучена.

В данных предложениях функцию модального показателя выполняет отрицательная частица *не*.

Итак, модальность потенциальности, обнаруживаемая в ряде случаев употребления глаголов СВНв, выражается в рамках всего предложения сочетанием указанных глаголов с выявленными модальными показателями. Иначе говоря, конструкции с глаголом СВНв с модальными показателями следует считать модально маркированными по сравнению с конструкциями без таких показателей.

3. Модальность: говорящий — субъект — действие

Как указывалось выше, под модальностью подразумевается та семантико-прагматическая оценка, которую говорящий, с помощью упомянутых средств и с определенной коммуникативной целью, придает высказыванию. Из этого можно было бы заключить, что говорящий, употребляя глагол СВНв в сочетании с модальным показателем или инфинитив с отрицанием, тем самым характеризует субъект описываемого действия, наделяя его определенными качествами и свойствами — как положительными (*Он отдаст последнюю рубашку*), так и отрицательными (*Редко он скажет что-нибудь дельное!*). Однако представляется, что в конструкциях с глаголами СВ, как и в конструкциях с глаголами НСВ, говорящий характеризует не субъект, а его действие, обозначаемое глаголом, который, таким образом, становится центральным членом высказывания, опорным элементом всей информации, выражаемой подлежащим, дополнением и пр. Ср., напр.: *Туда не подходит!*, где говорящий, употребляя глагол НСВ, описывает какую-то ситуацию, независимо от присутствия или отсутствия в ней субъекта-исполнителя действия.

Итак, говорящий, употребляя сочетания глагола СВ с модальными показателями, выражает вероятность повторения (субъектом) подобных действий в будущем [Караванов 1997: 106]. Эта уверенность в потенциальном повторении действия позволяет говорящему употреблять глаголы СВ, сущность совершенного вида глагола заключается в некоем представлении о действии «в его целостности» [Бондарко 1971: 16–17], о полном его осуществлении³, и представление о полном осуществлении действия возможно только в тех случаях,

³ Именно к представлению о целостности, о полном осуществлении действия сводятся такие значения СВ, как, напр.: конкретно-фактическое значение, внутренний предел действия и пр.

когда говорящий воспринимает действие в его целостности. Выделяется несколько типов модальности, включающих уверенность говорящего в полном осуществлении действия. К ним относится, в частности, «алетическая модальность» [Palmer 1986: 11], под которой понимаются некие неопределенные логико-философские предположения о возможности/невозможности и необходимости осуществления субъектом действия. Однако алетическая модальность как таковая не включает все случаи употребления глаголов СВНв. Целесообразнее, на наш взгляд, говорить об одном типе модальности потенциальности, которая охватывает все интересующие нас аспекты, тем самым распространяясь на всю сферу модальности, выражаемой глаголами СВ в сочетании с модальными показателями. Именно глаголы СВ в сочетании с модальными показателями выражают потенциальность осуществления действия, напр.: *Он не поднимет этот камень*. В данном предложении модальность относится к невозможности осуществления действия в его целостности, т.е. говорящий акцентирует внимание на потенциальности; осуществляется ли само действие — не важно. Причем речь идет о потенциальности — как в настоящем, так и в будущем, — а не о конкретном осуществлении действия в будущем, напр.: *Он откроет любой замок*. В этом примере выражается потенциальная возможность открыть замок, а не реальное действие «открывания» замка в будущем. При этом потенциальность действия предполагает его многократность.

Таким образом, потенциальность осуществления многократного действия передается посредством выражения целостности, т.е. глаголами СВ, но в сочетании со средствами выражения повторяемости, которая в нашем случае создается контекстуально с помощью модальных показателей или кванторов итеративности [Кюльмоя 1998: 202]. Потенциальность следует воспринимать независимо от фактического протекания действия во времени. Как справедливо замечает А. В. Бондарко, «потенциальность есть способ изображения постоянно возможного [...] через единичное: из множества постоянно возможных фактов выбирается один» [Бондарко 1971: 23]. «Изображение постоянно возможного через единичное» выдвигает на первый план потенциальность, оставляя на заднем плане конкретное осуществление действия.

4. Выводы

Говорящий, употребляя глаголы СВ настоящего времени в сочетании с модальными показателями или кванторами итеративности, дает свою характеристику действию, тем самым сосредоточивая внимание на потенциальности осуществления действия в его целостности. Подразумеваемая говорящим модальность относится как к настоящему времени, к моменту речи, так и к будущему, в то время как само действие, о котором идет речь, относится только к будущему, поскольку действия, названные глаголами СВ или инфинитивом, не могут совпадать с настоящим. Для выражения совпадения настоящего с будущим используются модальные показатели.

Следует отметить, что инфинитив СВ проявляет аналогичные свойства: в то время как инфинитив НСВ лишь называет какое-либо действие и выделяет его на фоне других действий, не указывая на его реальное протекание во времени или на его целостность, инфинитив СВ указывает на осуществление и целостность, а в сочетании с модальным показателем и на потенциальность осуществления какого-либо действия. Причем инфинитивные конструкции лишены темпоральности, они не указывают на протекание действия во времени.

ЛИТЕРАТУРА

- Бондарко А. В. 1971 — *Вид и время русского глагола*. М.
Дурст-Андерсен П. В. 1997 — Совершенный и несовершенный вид русского глагола с позиции ментальной грамматики — Семантика. Прагматика. *Труды аспектологического семинара*. М. Т. I. 71–90.
Зализняк А. А. 1997 — *Лекции по русской аспектологии*. Мюнхен.
Караванов А. А. 1997 — Употребление формы будущего времени глаголов СВ в значении настоящего. *Труды аспектологического семинара*. МГУ. М. 102–114.
Кюльмоя И. П. 1998 — Об одном способе выражения итеративности в русском языке. *Типология, грамматика, семантика*. СПб. 201–208.
Маслов Ю. С. 1984 — *Очерки по аспектологии*. Л.
Виноградов В. В. 1986 — *Русский Язык*. М.
Palmer F. R. 1986 — *Mood and Modality*. Cambridge.

К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ СЛОВАРЯ ГЛАГОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Лиана Григорян
(Москва)

Тот интерес, который вызывает в настоящее время прикладная лингвистика, не позволяет оставить без внимания вопросы автоматического перевода, обработки и синтеза текста. Важной отраслью прикладной лингвистики является также теория и методика преподавания иностранных языков. Представляется, что именно в этих областях наиболее необходим словарь моделей управления (МУ) глаголов в русском языке.

Примеры моделей управления некоторых русских предикатных слов приводятся в «Толково-комбинаторном словаре современного русского языка» И. А. Мельничука и А. К. Жолковского (Вена, 1984).

Формат модели управления — таблица, где семантическим ролям ставятся в соответствие способы их синтаксического выражения. Для примера рассмотрим такую таблицу для русского глагола *пленять*:

Агенс (кто пленяет)	Пациенс (кого пленяет)	² Инструмент (необязательный актанта, чем пленяет)
НОМ	АКК	ТВОР

Для того чтобы правильно распознать, а затем перевести актанты глагола, словарные статьи соответствующих языков должны содержать сведения о падежной кодировке данных актантов. Рассмотрим, например, английское предложение (1):

(1) *I like him.*

Экспериенцер (Прям. П.) нравиться Стимул (Косв. П.)

Английский глагол *like* является экспериенциальным глаголом. Его Экспериенцер кодируется прямым падежом, а Стимул — косвенным.

В общем случае эти падежи переводятся на русский язык соответственно Номинативом и Аккузативом. Но мы не получим грамматически правильного русского предложения, если переведем английский глагол *like* русским глаголом *нравиться*.

Представим себе результат такого перевода без учета модели управления:

(2) *Я *направляюсь* его. (Подобный перевод дают автоматические переводчики Stylus и Socrat, не учитывающие модели управления глаголов).

Ситуация существенно изменится, если словарные статьи предикатных слов будут содержать информацию об их Моделях Управления. Тогда перевод предложения (1) будет осуществляться следующим образом: мы определяем актанты английского глагола соответственно их падежной кодировке, содержащейся в словарной статье. Там указано, что прямым падежом у глагола *like* кодируется Экспериенцер, а косвенным — Стимул. После этого следует перевести глагол и затем обратиться к русской словарной статье. В ней будет содержаться информация о том, что Экспериенцер русского глагола *нравиться* кодируется Дательным падежом, а Стимул — Именительным. Только в этом случае нам удастся получить грамматически правильное предложение:

(3) Он мне *нравится*.

Стимул (Nom.) Экспериенцер (Dat.)

Анализ МУ разных глаголов показывает, что глаголы одной семантической группы часто имеют сходные модели управления. Напр., глаголы физического воздействия (*бить, колоть, резать, рубить, ударить...*) часто имеют падежную рамку [Агенс: НОМ, Пациенс: АКК, (факультативно) Инструмент: ТВОР]. Этот факт еще более упрощает внесение информации о модели управления в автоматизированный словарь, поскольку достаточно указать довольно ограниченный список типов МУ и предусмотреть в словаре отсылку к определенному типу.

Но в результате проведенных работ были выявлены некоторые проблемы, решение которых вызывает определенные затруднения.

1. Подъем подлежащего из зависимой предикации.

(4) Его *начинает знобить*.

(5) Меня *знобит*.

В словаре МУ глагола *начинать* будет выглядеть следующим образом: Агенс, Пациенс и, если словарь составлен корректно, указание на то, что *начинать* может иметь сентенциальный актант (Nom — Acc/V inf). Но в примере (4) нет Nom. Причем это не нуль стихии при сентенциальном актанте, напр.:

(6) *Начинает темнеть*.

Значит, в словаре МУ необходимо объяснить подъём подлежащего из зависимой предикации (5), причем из самой дальней, как видно из примера (7), где дативное подлежащее относится к предикации *мне холодно*:

(7) *Мне начинает становиться холодно.*

В словаре МУ также придется избегать некоторых неоднозначностей, как в примере (4), где Экспериенцер глагола *знобить* формально совпадает с Пациентом основного глагола, ср.:

(8) *Я начинаю выступление.*

Надо описать систему так, чтобы она отнесла Прямое Дополнение к инфинитиву (4), или сделала местоимение подлежащим (7), но при этом сказуемое согласуется с Nom:

(9) *Мне начинает нравиться жизнь в деревне.*

2. Экспериенциальные предикаты?

(10) *Я жму руку приятелю.*

(11) *Я жму на педаль.*

(12) *Ботинок жмет.*

Считать ли предложения типа (12) идентичными экспериенциальным? *Мне нравится Маша — Мне жмет ботинок.* Делать две схемы МУ?

Агенс	Пациент	Реципиент
Им	Вин	Дат

Субъект
Им

В рамках прикладных лингвистических систем, где в процессе анализа текста важным моментом является борьба с омонимией, полисемией, нужны достаточно серьезные основания для создания нескольких словарных статей одной лексемы. Поэтому при написании статей порой приходится прибегать к несколько обобщенным толкованиям слов. Тогда единственным отличием Жмет (10) от (12) — оказывается неодушевленность субъекта и его воздействие на одушевленный объект, способный испытывать чувства. Т.е. получаем две схемы:

Агенс	Пациент	Посессор
Им	Вин	Дат
	На Вин	Дат

Стимул		Экспериенцер
Им	Вин (на)	Дат (фак.)

Рюкзак давит на плечи. Галстук душиит. Солнце печет голову. Горячий песок жжжет ступни.

Для представленных примеров достаточно одной схемы, но не для (12), где *Ботинок жмет мне ногу* — очень неестественный контекст, возможный только как противопоставление. *Ботинок жмет мне руку (Галстук душиит шею)*. Т.е. только для этого глагола нужна отдельная одновалентная схема. С неодушевленным деятелем? Но в предложении *Я не заметил, как его нога нажала на педаль* тоже деятель формально является неодушевленным, т.е. требуется очень глубокая семантическая обработка. Возможно, для таких «экспериенциальных» предикатов в схеме нужны инкорпорированные актанты.

Они, возможно, будут необходимыми в графе *Инструмент* для глаголов типа *кивать, подмигивать*. Также мы не сможем избежать некоторых лексических ограничений и в случае:

(13) *Он женился на красивой женщине.*

Он женился на Маше.

*' *Он женился на женщине.*

3. Глаголы с Субъектом восприятия:

Показаться, Выглянуть, Заглушить, Загородить, Закрыть, Заслонить, Показаться, Спрятаться, Скрыть, Скрыться.

(14) *Примерил костюм? Ну-ка, покажись нам!*

(15) *Из-за тучи показалась луна.*

В примере (14) субъект восприятия явно выражен, и это позволяет нам оформить его МУ:

Агенс	Фак., в зависимости от значения.	Экспериенцер
Им	Твор(?)	Дат

В примере (15) Наблюдатель семантически необходим, но он не может быть выражен на синтаксическом уровне. То, что Субъект Восприятия (СВ) необходим, доказывают следующие примеры:

(16) *Из-за угла неожиданно появился грузовик.*

(17) * *Из-за угла медленно появился грузовик.*

Строить схемы исходя из признака одушевленности/неодушевленности Агенса здесь невозможно:

(18) *На дороге появился всадник.*

* *На дороге нам появился всадник (а им не появился).*

Ведь СВ может быть не выражен даже семантически: *на пустынной дороге показался всадник*.

Можно просто указать, что Экспериенцер — Датив факультативен, но тогда опять же нужна глубокая семантическая обработка. Другая возможность — признать, что перед нами разные лексемы вследствие разного набора участников.

4. Разграничение актантов и сирконстантов.

Возьмем глагол *переводить* (из _ в), (с _ на).

(19) С 1.01.96 экономиста Иванову перевести из бухгалтерии на должность старшего экономиста в плановый отдел с окладом 700 т. рублей.

(20) С 1.01.96 перевести Иванову с должности экономиста бухгалтерии в плановый отдел на должность старшего экономиста с окладом 700 т. рублей.

Значит, мы должны указать для этого глагола возможность абсолютного любых сочетаний. Аналогичная ситуация с валентностью куда у глагола *прийти*:

(21) Прийти в институт на лекцию к профессору Кибрику.

Но для симметричных глаголов *уйти*, *выйти*:

(22)* Уйти из института с лекции от профессора Кибрика.

Это можно было бы считать сирконстантами места и просто не включать их в МУ, если бы глаголы не обнаруживали определенной закономерности, ср.:

Глаголы, имеющие три зоны: *прийти, приехать, зайти, поехать* — *привести, привезти, отвести*.

(23) Тебе надо привезти книгу в среду в университет на заседание кафедры к профессору Кибрику. (Приведи его в...)

Глаголы, имеющие две зоны: *жить, поселиться* (в общежитии у друга), *положить, поставить, повесить* (ковер к нам в комнату, к нам на стену).

С другой стороны, для глагола *врезать* это абсолютно неприемлемо:

(24)* Врезать в морду по челюсти.

5. Возможны ли в МУ пустые ячейки:

(25) Я открыл дверь ключом — Ключ открыл дверь.

Подл.			
	Агенс	Пациенс	Инструмент
	Им	Вин	Твор

Свободную позицию подлежащего может занимать как Агенс, так и Инструмент:

(26) *Он забивает палку в щели. — Он забивает щели палкой.*

Подл.	ПД		НПД	
Агенс		Пациенс	Инструмент	Место
Им		Вин		Лок

Сдвиг на позицию вправо. Место вытесняет Пациенса из позиции ПД, и он автоматически спускается на одну позицию вниз, до НПД, Инструмента.

(27) *Выбивать пыль из ковра палкой — Выбивать ковер палкой* (место НПД занято).

Здесь позиция НПД уже занята, поэтому при вытеснении бывшее ПД получает коммуникативный ранг *ноль*. И позиция Места уже не может заполняться. Проблемы могут возникнуть при порождении:
**Выбивает ковер палкой из квартиры.*

(28) *Он забивает палку в щели _____ Он забивает щели палкой.*

В (28) вопрос о том, является ли Место Актантом, должен отпасть, т.к. при тематическом выделении Место занимает пациентивную позицию.

(29) *Врач лечит Ивана от малярии хинином — Врач лечит малярию хинином.*

В (29) идентичная ситуация — все «престижные» позиции для вытесненного ПД уже заняты. Преобразование связано с тематическим выделением.

Таким образом, недостаточно просто разграничить глаголы и постулировать, что, напр., глаголы физического воздействия всегда имеют Инструмент.

(30) *Бить Петю палкой.*

**Бороться с Петей палкой.*

Но: *Бороться с Петей его же методами.*

Большинство глаголов всегда будут иметь подобные исключения, которые необходимо учитывать при создании словаря глагольного управления.

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛА РЕЧИ В «ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» ПРИ КОНСТРУКЦИЯХ С СЕНТЕНЦИАЛЬНЫМИ АКТАНТАМИ

Олеся Ханина
(Москва)

Большинство индо-европейских языков для связи двух предикаций используют союзы — служебные лексемы, чаще всего не влияющие на структуру предложения, которое они оформляют. Однако многие другие языки (финно-угорские, тюркские, монгольские, кавказские языки и др.) предпочитают так называемые нефинитные способы оформления одной из предикаций, иерархически более низкой чем другая: инфинитивные, причастные, деепричастные стратегии, номинализация и т.д. В то время как у носителей этих языков может возникнуть необходимость создать высказывание с использованием максимально нейтральных средств связи, таких, которые позволяют оставить зависимую предикацию в неизменном, первоначальном виде.

Таким образом, все вышеперечисленные языки начинают развивать союзные средства связи. Возможности же появления в языке нового служебного слова достаточно ограничены: обычно это заимствование подобного элемента из соседнего языка или грамматикализация собственной полнозначной лексемы.

В статье Хоппера [Hopper 1991] говорится о том, что для некоторых лексических единиц типичным оказывается их грамматикализация в клитики и аффиксы. Так, в языках мира нередко наблюдается грамматикализация различных форм глагола речи в средство связи между двумя предикациями (в «подчинительный союз»). Т.е. функции некоторых форм глагола речи во всех тюркских, многих дагестанских, монгольских, некоторых африканских языках оказываются эквивалентны подчинительному союзу индоевропейских языков. А именно — связь сентенциального актанта (СА) с глаголом, который им управляет:

(1) агульский язык

wuri	kur-ar	iDe	lajšu-ne	pu-na
[все	дело-PL	хорошо	пройти-PST	говорить-CONV.PAST] _{3п}

ge- sa šatti aji
 тот -PART радостно COP.PST

Она была так рада, что [все хорошо кончилось!]_{3П}

На материале типологически разных языков мы наблюдаем стадии процесса грамматикализации (градуального по своей сути): в частности, грамматикализовавшаяся лексическая единица способна сохранять некоторые свои морфологические и/или синтаксические и/или семантические свойства. Рассмотрению соответствующих параметров, по которым может быть оценена степень грамматикализации глагола речи, и будет посвящена данная работа.

1. Предикаты, присоединяющие свой СА с помощью союза

Таблица 1

(эве — [Westerman 1906], [Westerman 190?], лезгинский — [Haspelmath 1993], годоберинский — [Kibrik (ed) 1996], арчинский — [Кибрик 1977], татарский, агульский — данные, полученные нами от носителей)

	эве <i>bé/ béna</i>	татар- ский <i>dlp</i>	лезгин- ский <i>lahana/ luhuz</i>	годобе- ринский <i>-L'u</i>	агуль- ский <i>puna/ aRaj</i>	арчин- ский <i>bóli</i>
речь	+	+	+	+	+	+
эмоции	+	+	+	+	+	
надеяться	+	+	?	+	?	
приказать	+	+	+	+	+	
восприятие, связанное вербальны- ми процес- сами	+	+	+	-		
знание	+	-	-	-		
восприятие без вербаль- ных процес- сов	+	-	-	-		
заставлять	+	-	-	-		
хотеть	+	-	-	-		
отношение	?	-	-	-		
квази-фазо- вые (соби- раться)	?	-	-	-		
фазовые	-	-	-	-		

Примечание: малый объем данных по агульскому (родственный лезгинскому) и арчинскому языкам не позволяет заполнить остальные клетки таблицы.

Таким образом, мы строим следующую *иерархию предикатов*: для подчинительного союза данного языка, произошедшего из глагола речи, верно следующее: если он оформляет КСА некоторого предиката, то он с большой вероятностью оформляет КСА всех тех предикатов, которые расположены выше него в данной иерархии.

Так, напр., кубачинский язык, в котором исследуемый союз используется только с глаголами говорения, и африканский язык эве демонстрируют соответственно наименьшую и наибольшую степени грамматикализации по данному параметру:

(2) кубачинский язык

dudil	icə	ha'adkúwa	[i? I	səul_saw]	зп	uqul
я	тебе	сказал_же	он	болен		говоря

*Я же сказал тебе, что [он болен]*зп.

(3) эве [Westerman 190?: 11]

edi	be	yeau
он_желал	говорить	уйти

Он хотел уйти (Er wunschte zu gehen).

2. Сохранение «союзом» некоторых свойств глагола, из которого он образовался, несвойственных этой части речи.

— *Морфологические свойства.*

Напр., в лезгинском языке «подчинительный союз» имеет синтаксическую (= несамостоятельную) категорию вида [Haspelmath 1993]. А именно:

- если главный глагол в аористе или форме, производной из аориста (Past Aorist, Perfect), то в качестве «союза» используется Aorist converb глагола *luhun* 'say' - *laha-na*
- если же глагол в главной предикации в будущем или имперфективе, то эту функцию выполняет Imperfective converb - *luhu-z*.

— *Синтаксические свойства.*

Во многих тюркских (напр., узбекском [Кононов 1960], шорском [Дыренкова 1941], татарском), монгольских языках возможно сохранение «союзом» модели управления глагола, из которого он образовался. Так, напр., в мишарском диалекте татарского языка зависимая предикация, оформленная бывшим деепричастием глагола 'говорить, называть' *dip*, может иметь следующий вид:

(4) татарский язык

mIn [sInE kIt-tE-Ø]_{ЗП} dI-p
я ты.ACC уходить-PST-3.SG говорить-CONV

uɟi-ej-m

думать-ST-1.SG

*Я думаю, что [ты ушел]*_{ЗП}.

Здесь винительный падеж подлежащего зависимой предикации обусловлен падежной рамкой глагола di, которая может быть проиллюстрирована следующим примером:

(5) татарский язык

rI SA t kez-ne alsu dI-gAn
Ришат.NOM девушка-ACC Алсу.NOM называть-PFCT

Ришат назвал девушку «Алсу».

Таким образом, в примере (4) синтаксическая структура предложения с конструкцией с сентенциальным актантом выглядит следующим образом:

[S_i [Ø_i S_{Acc} [V_{3sg}] dIp]_{ЗП} V]_{ГП}.

где S — субъект предикации, V — финитный глагол предикации, ГП — главная предикация, ЗП — зависимая предикация, 3Sg — 3 лицо, ед. число.

Аналогичная ситуация наблюдается и в монгольском языке:

(6) монгольский язык

[Дугар-ые ерээ]_{ЗП} гэжэ бу хэлээрэйгты
Дугар-ACC приехал говорить не рассказывайте

*He говорит, что [приехал Дугар]*_{ЗП}.

— Семантические свойства.

Один из процессов, сопутствующих грамматикализации [Норрегер 1991], — накладывание на употребление грамматикализовавшейся формы определенных сочетаемостных ограничений, идущих из ее бывшего лексического значения.

Для иллюстрации этого явления при грамматикализации глагола речи обратимся еще раз к Таблице 1 и связанной с ней иерархией. Как видим, во главе иерархии находятся те предикаты, которые легче всего допускают в своем значении компонент называния / говорения.

Таким образом, мотивированным оказывается запрет, напр., на предложение (7) татарского языка (в семантической структуре одно-

местного предиката «плохо» нет участника, который мог бы стать субъектом говорения):

(7) татарский язык

*[rIsAt kIt-kAn] зп

dI-p

awer

Ришат уходить-РФСТ

говорить-CONV

плохо

Плохо, что Ришат ушел. (Сказав «Ришат ушел», плохо)

ЛИТЕРАТУРА

Дыренкова 1941 — *Грамматика шорского языка.*

Кибрик 1977 — *Арчинский язык. Тексты и словари.*

Кибрик 1992 — *Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания.*

Кононов 1960 — *Грамматика современного узбекского литературного языка.*

Haspelmath 1993 — *A grammar of Lezgian.*

Hopper 1991 — On some principles of grammaticization. *Approaches to grammaticalization* (vol. 1) Traugott, Heine (eds.).

Kibrik (ed.) 1996 — Kibrik (ed.), Tatevosov, Eulenberg (ass. eds). *Godoberi.*

Westerman 1906 — *Grammatik der Ewe Sprache.*

Westerman 1907 — *Ewe-Deutsch Woerterbuch.*

РАЗЛИЧЕНИЕ ЧАСТИЦ *НЕ* И *НИ* КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ГРАММАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Елена Сидорова
(Тарту)

Частицы *не* и *ни* принадлежат к самым употребительным из имеющихся в русском языке. Они как самостоятельные слова (при раздельном написании) и как части слов (при слитном написании) обычно имеют различное значение. При этом значение и роль данных частиц в языке очень разнообразны. Разграничение неударяемых *не* и *ни* целиком основывается на их семантике, т.к. на слух они не могут быть различены. Ср.:

Когда он не приходил, заседание откладывалось.

Когда он ни приходил, заседание откладывалось.

И *не* и *ни* в данном случае без ударения произносятся одинаково, а именно как [н'и]. Формальных признаков здесь нет, и трудно определить, что означает звуковой комплекс [н'и] — *не* или *ни*.

Поэтому первые проблемы, которые возникают в связи с частицами *не* и *ни*, — это формальные орфографические проблемы. Следует отметить и тот факт, что данные частицы могут выступать в позиции под ударением. Напр.:

Где я только ни был, меня везде встречали приветливо!

Где я только не был! Всюду побывал.

Это наблюдение свидетельствует о том, что только в отрицательных местоимениях и наречиях действует положение орфографии, что «под ударением пишется всегда *не*, а без ударения *ни*» [Валгина 1970: 27]. В нашем случае обе частицы ударные. Это подтверждает реальное наличие в русском языке частиц *не* и *ни* как независимых слов, а не графических вариантов одного слова. Если бы они не встречались в сильной фонетической позиции (под ударением), то безударное *ни* следовало бы рассматривать только как закономерное изменение ударного *не*. В приведенном примере *не* и *ни* находятся в положении контрастной дистрибуции, т.е. различаются в одинаковой позиции. Таким образом, наш вывод о том, что *не* и *ни* — это разные

слова, верен, и различное написание этих частиц в безударной позиции оправдано. Отсюда следует, что необходимо сформулировать правила, которые разграничивали бы их на письме.

Вышедший в свет в 1956 г. свод «Правил русской орфографии и пунктуации», который продолжает действовать и теперь (никаких официальных изменений в него не вносилось), упорядочил все основные вопросы, касающиеся разграничения частиц *не* и *ни*. Однако в общем своде не было пояснений, почему пишется именно так, а не иначе. Параграф 48 по различению неударяемых *не* и *ни* четко разделен на два пункта: в первом описывается употребление *не*, а во втором — *ни*. Фактически речь идет о том, что составитель и человек, применяющий правила, заранее знают принципы употребления этих частиц. Это следует из того, что сформулированные правила не объясняют причину употребления в конкретном случае *не* или *ни*, а просто формально выделяют частотные случаи их употребления и закрепляют его за определенной синтаксической конструкцией.

Проанализировав параграф 48 Правил, мы хотим подчеркнуть, что частицы *не* и *ни* прежде всего различаются здесь по значению. Так, о частице *не* говорится, что она «употребляется для отрицания» [Правила 1994: 8]. Напр.:

Не я говорил об этом.

А «частица *ни* употребляется для усиления отрицания» [Правила 1994: 9]:

Ни косточкой нигде не мог я поживиться (Крылов).

В данном случае обращают на себя внимание используемые термины: «отрицание» и «усиление отрицания». Если термин «отрицание» широко употребляется и при всем разнообразии подходов имеет несколько твердо установившихся значений, то понятие «усиление отрицания» гораздо менее ясно. Так, если отрицание само по себе означает «констатацию отсутствия» [Бахарев 1980: 15], то возможно ли еще более усилить это отсутствие? Мы полагаем, что это нереально. С другой стороны, напротив, возможно ослабление, смягчение отрицания. Напр.:

Мне кажется, мы не успеем.

Он, возможно, не придет.

В данных примерах отражается чувство неуверенности, но здесь нет полного категорического отрицания. Поэтому понятие «ослабленно-го отрицания» [Бахарев 1980: 35] не вызывает возражений. Термин

же «усиление отрицания» по смыслу неясен, т.к. отрицание само по себе носит предельный характер.

Необходимо отметить и противоречие, которое возникает в формулировках Правил относительно значения **ни**. Во втором пункте параграфа 48 в подпункте а) говорится, что «частица **ни** употребляется для усиления утвердительного смысла» [Правила 1994: 9]. Возникает вопрос: какой смысл усиливает частица **ни** — утвердительный или отрицательный? Общая формулировка — «для усиления отрицания» (пункт 2) — очевидно находится в противоречии с частной формулировкой — «для усиления утвердительного смысла» (пункт 2а). Сопоставим примеры:

- п. 2 На небе позади не было **ни** одного просвета.
п. 2а Слушайтесь его во всем, что **ни** прикажет (Пушкин).

Действительно, первое предложение имеет значение отрицания, а второе — утверждения. Остается непонятным, почему одна и та же частица **ни** используется в обоих случаях.

Мы сопоставили между собой положения Правил, касающиеся **не** и **ни**, и выяснили, насколько приводимые формулировки позволяют разграничить случаи употребления той или другой частицы. При этом учитывалось, что примеры часто помогают пониманию правил. Анализ привел нас к следующим заключениям:

1) Пункты 16 и 2а противопоставляются между собой не по смыслу, а по форме предложения, в котором употребляются **не** и **ни**. В восклицательных и вопросительных предложениях **не** примыкает к местоимениям, наречиям, а в придаточных предложениях в данной позиции находится **ни**. Напр.:

- п. 16 Чего он только **не** видал!
п. 2а Слушайтесь его во всем, что **ни** прикажет.

При этом в обоих примерах мы наблюдаем утвердительный смысл (= все видал; = прикажет). Различить эти случаи можно только по синтаксической форме. Добавим, что указание в пункте 16 на примыкание к местоимениям и наречиям оказывается не относящимся к делу, поскольку примыкание к этим же словам, как мы уже отметили, наблюдается и у частицы **ни**. Ср.:

кто не — кто ни; где не — где ни; как не — как ни и т.д.

В общем случае утверждалось, что частица **не** употребляется для отрицания, других функций и значений этой частицы не указывалось. И впоследствии, когда возникают противоречащие примеры,

это соответствие не оговаривается. В примере 2а наблюдается такая же ситуация: прежде говорилось о том, что значением частицы **ни** является усиление отрицательного смысла, но из примера следует усиление утвердительного смысла.

В данном конкретном случае пишущий, очевидно, не может опираться на семантику частицы. Для выбора между частицами **не** и **ни** он должен провести синтаксический анализ предложения. Так, в вопросительных и восклицательных самостоятельных предложениях после относительных слов, частиц и союзов перед сказуемым пишется **не**, а в придаточных предложениях в аналогичных условиях пишется **ни**.

2) Пункты 1а и 2 («повторяющаяся частица **ни** приобретает значение союза») [Правила 1994: 9] естественно соотносятся друг с другом, поскольку в одном из них говорится о двойном **не**, а в другом — о двойном **ни**. Двойное употребление **ни** фразеологизировано в языке:

*Я не знаю **ни** кто вы, **ни** что вы* (Пушкин).

и, как справедливо отмечается, «приобретает значение союза» [Правила 1994: 9]. Двойное **не** союзом не считается, и случаи употребления двойного **не** не оговариваются как устойчивые. Однако если попытаться вместо модального слова *мочь* использовать другие модальные слова или фазовые глаголы, то мы придем к выводу, что в этом случае двойное **не** невозможно. Напр.:

Не хочу **не молчать.*

Не должен **не сердиться.*

Не начинай **не спорить.*

В результате данного эксперимента можно констатировать, что двойное **не** типа

НЕ + МОЧЬ + НЕ + ИНФИНИТИВ

тоже фразеологически связано:

*Не могу **не** сказать.*

Действительное различие между двойным **не** и двойным **ни**, как это видно из примеров, опять связано с синтаксическими фактами. Двойное **не** употребляется в составе сказуемого, а двойное **ни** при однородных подлежащих, второстепенных членах или однородных придаточных предложениях.

3) Формулировку правила в пункте 2б следует признать не совсем удачной, т.к. устойчивые сочетания с частицами **ни**, имеющие

значение категорического приказа, связаны с использованием имени существительного, что не отмечается авторами. Напр.:

Ни с места! Ни шагу!

Подобное же значение категорического приказа приобретают сочетания с частицей *не*, но она в этом случае относится к глаголу:

Не ходи! Не стрелять!

Из этого следует, что данная формулировка употребления *не* и *ни* имеет скорее формальный характер, чем семантический. В сравнении с предыдущим случаем это правило демонстрирует определенную однородность, а именно: употребление *не* перед глаголом, *ни* — в других случаях.

4) В пункте 1в описывается конкретный тип предложения, синтаксической конструкции с оборотом *пока не*. Но очевидно, что в данном случае возникает скорее значение условия, чем отрицания:

Сиди дома, пока я не приду.

Надо заметить, что «нет никаких оснований говорить об образовании в современном русском языке сложного союза *пока не*» [Никитина 1964: 78], т.е. частица *не* не является обязательной в данном обороте. Но «литературным считается употребление предложений с *не*» [Там же].

5) Пункты 2г и 1г обосновывают определенное употребление *не* и *ни* в фразеологических оборотах, т.е. с формальной стороны:

п. 1г *далеко не, ничуть не, вовсе не* и т.д.;

п. 2г *ни рыба ни мясо, ни дать ни взять* и т.д.

При этом в пункте 1г объединены случаи со значением отрицания (напр., *вовсе не плохой товар*) и «обозначающие предположение» [Правила 1994: 9]: *едва ли не лучший стрелок*; причем в последних трудно обнаружить негативную семантику, и причины употребления здесь частицы *не* остаются не разъясненными.

Примеры, приведенные в пункте 2г, семантически связаны с отрицанием. Напр.:

Ни жив ни мертв —

находящийся при смерти, т.е. как бы не вполне живой и не вполне мертвый; но здесь не ясно, каким образом отрицание «усилено». Добавим, что не разъясняется отличие такого употребления *ни* от союзного (см. п. 2, второй абзац: *ни воды ни деревьев* — Правила 1994: 9).

Надо заметить, что понятие «усиленное отрицание» авторы Правил используют при обосновании употребления частицы *не*, а не *ни*, как ожидалось (ср. п. 1г и п. 2).

Как видим, академические правила содержат неточные формулировки, недостаточно обоснованные утверждения, противоречия между теоретическими положениями и примерами, их иллюстрирующими. Правила не помогают твердому орфографическому различению *не* и *ни*. Авторы «Правил русской орфографии и пунктуации» стремятся приписать определенное значение частицам, но они упускают из вида следующий важный аспект: употребление той или иной частицы зависит от контекста, т.е. синтаксические связи влияют на семантику частиц, усложняя ее и видоизменяя, придавая *не* и *ни* разнообразные оттенки значения.

Налицо проблема: если сами правила неточны, значит, данный вопрос представляет собой в теоретическом плане большую сложность. Поэтому логичным выглядит тот факт, что в 1990-е годы Институт русского языка РАН подготовил новую формулировку правил, см.: [Кузьмина, Лопатин 1996]. К сожалению, о проблеме различения частиц *не* и *ни* в этой статье не говорится. Мы знаем только, что «весь текст правил был переписан заново» [Кузьмина, Лопатин 1996: 89] без радикальных изменений.

ЛИТЕРАТУРА

- Бахарев А. И. 1980 — *Отрицание в логике и грамматике*. Саратов.
Валгина Н. С. 1970 — *Правописание частиц не и ни*. М.
Кузьмина С. М., Лопатин В. В. 1996 — К лингвистическому обоснованию «Свода правил русского правописания» (новая редакция). *Русистика сегодня*. № 1.
Никитина Э. Г. 1964 — Типы временных придаточных предложений с союзом *пока* и отрицательной частицей *не*. *Филологические науки*. № 2.
Правила 1994 — *Правила русской орфографии и пунктуации*. М.

О СПЕЦИФИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАСТИЦЫ *ПРОСТО*

Наталья Карасева
(Тарту)

В данной статье обсуждается одна из функций лексемы *просто* — партикулярная функция. Цель статьи — уточнить специфику употребления *просто* в качестве частицы. Выявление особенностей ее функционирования способствует более четкому определению статуса названной лексемы в системе частиц русского языка.

Анализ был проведен на базе собранных нами языковых фактов и с учетом уже имеющихся теоретических разработок. Материал представляет собой сплошную выборку преимущественно из текстов художественной литературы.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в значении частицы *просто*, в отличие от многих других частиц, сохранилась явная и достаточно прозрачная этимологическая связь с производящей основой (краткой формой имени прилагательного). Эта связь находит проявление в специфике употребления данной частицы, которая оказывается маркером специфической дополнительной семантики в рамках синтаксической конструкции. Указанная лексема усиливает очевидность наличия предметов, очевидность событий, помогает подчеркнуть обычность оценок, признаков, элементарность фактов, явлений, естественность действий, которые совершаются каким-либо субъектом, и т.д. Все это наглядно показано в наших примерах.

Как было отмечено ранее, этимология частицы *просто* соотносит это слово с другими частями речи — знаменательными, т.е. здесь мы имеем дело с явлением функциональной омонимии — «способностью звукового комплекса выступать в роли разных частей речи в зависимости от синтаксических условий» [Высоцкая 1999: 71]. Состав омокомплекса *просто* подробно анализируется в статьях А. Я. Баудера [Баудер 1975] и И. В. Высоцкой [Высоцкая 1999]. Но поскольку нас интересовало только партикулярное употребление лексемы *просто*, то ее возможная омонимичность с другими частями речи — с краткой формой имени прилагательного и наречием, а также ее союзная функция — затронута не будет.

Предметом данного анализа являются функционально-семантический и формально-синтаксический аспекты употребления частицы *просто*.

Мы попытались определить закономерности расположения частицы в предложении, а также ее синтактико-смысловую нагрузку в предикативной единице.

Прежде чем перейти к результатам анализа, целесообразно кратко остановиться на проблеме классификации частиц, в частности на трактовке частицы *просто* в классификациях разных авторов.

Известно, что частицы определяются и классифицируются исследователями по-разному. После работ В. В. Виноградова широкое распространение получил более узкий подход к частицам, которые стали рассматриваться как особый разряд служебных слов [Виноградов 1986: 544–555]. Однако и в современной лингвистической литературе классификация самих частиц окончательно не сложилась, и статус отдельных лексем нельзя признать достаточно установленным. В связи с этим изучение частиц до сих пор остается актуальным.

Нами были проанализированы 35 классификаций частиц, которые представлены в академических грамматиках, в лингвистических энциклопедиях, а также в различных вузовских учебниках и пособиях, вышедших в период с 1945 по 1998 гг. Выяснилось следующее: во-первых, разные исследователи в своих классификациях нередко относят одну и ту же частицу к различным разрядам, при этом некоторые частицы оказываются включенными в два и более разряда одновременно; во-вторых, у ряда авторов наблюдаются расхождения не только в количестве выделяемых ими разрядов, но и в способе их номинации, что зависит, в первую очередь, от степени обобщения объекта и от того, какой из признаков рассматривается в качестве ведущего. Все сказанное в полной мере касается и частицы *просто*. Для нее характерно отнесение разными исследователями к разрядам смысловых и эмоционально-экспрессивных частиц, реже ее причисляют к модальным (или субъективно-модальным) частицам. Кроме того, ее трактуют и как частицу-союз. Хотелось бы подчеркнуть, что данная лексема действительно может включаться сразу в несколько разрядов и подразрядов одновременно, что свидетельствует о ее многозначности и полифункциональности.

В обобщенном виде разнообразие трактовок частицы *просто* представлено в таблице № 1. Каждый из перечисленных в ней пунк-

тов означает ту или иную квалификацию, которую приобретает интересующая нас лексема у разных авторов.

Таблица № 1. Трактовка частицы *просто* в различных теоретических источниках

РАЗРЯДЫ ЧАСТИЦ ПО ЗНАЧЕНИЮ И ФУНКЦИЯМ				
ПОДРАЗРЯДЫ ЧАСТИЦ	Смысловые частицы	Эмоционально-экспрессивные частицы	Модальные частицы	Союзные частицы
	1) выделительно-ограничительные (или усилительно-ограничительные);	1) выражающие различные эмоциональные характеристики (угрозу, удивление, иронию и т.д.);	1) выражающие разные виды субъективных отношений с оппозицией реальность / ирреальность;	1) функция связующего слова при противопоставлении;
	2) определительные (или определительно-уточняющие, или ограничительно-определьные).	2) усилительные.	2) вносящие эмоционально-экспрессивные и др. оценки, выражающие непосредственные реакции говорящего.	2) функция противительного союза.

Заметим, что чаще всего частица *просто* определяется как «выделительно-ограничительная», но, на наш взгляд, такое название не совсем точно отражает суть явления, и мы попытаемся доказать это.

Переходя к вопросу о позиции частицы *просто* в рамках предложения, следует напомнить о довольно распространенном мнении, связанном с расположением частицы *просто* в синтаксической конструкции: нередко утверждается, что названная частица не имеет постоянного, фиксированного места в предикативной единице. А это означает свободу перемещения в предложении в зависимости от смысла высказывания. Однако в ходе нашего исследования выяснилось, что степень свободы данной частицы все же ограничена. Какие же позиции для нее типичны?

Наблюдение над собранным языковым материалом показало, что частица *просто*, во-первых, может находиться в абсолютном начале предложения, т.е. стоять в препозиции по отношению ко всем компонентам синтаксической единицы, напр.:

1. — Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек.

Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду (Куприн).

2. Вышла она за меня шестнадцати с половиной; видели бы, какая цветущая была! **Просто** красавица! (Гиппиус).

Во-вторых, частица *просто* может находиться в интерпозиции, т.е. внутри предложения:

3. Нет, их отношение нельзя было назвать **просто** восторженным отношением (Зощенко).

4. Вы **просто** человек с улицы: какое вы имеете право на наследство? (Андреев).

И, наконец, третья позиция — в самом конце предложения — для исследуемой частицы оказывается нерелевантной. Наблюдение над языковыми фактами и лингвистический эксперимент по перестановке словоформ в пределах предложения приводят к выводу о том, что в абсолютной постпозиции данная частица не употребляется.

Результаты эксперимента показывают также, что свободная перестановка частицы *просто* в предложении не всегда возможна, если при предикате содержится левый распространитель, который представлен, например, качественным наречием при глаголе-сказуемом:

5. **Просто** он живо представил себе Володю (Олеша).

а) Он **просто** живо представил себе Володю.

*б) Он живо **просто** представил себе Володю.

Частица *просто* в примере 5(а) актуализирует семантику всего блока «живо представил», т.е. глагола-сказуемого в совокупности с качественным наречием.

Кроме того, следует отметить, что в пределах предложения частица обычно находится в препозиции по отношению к актуализируемому ею члену предложения.

Таким образом, тезис о свободном расположении интересующей нас лексемы можно подвергнуть сомнению.

Выделительная функция частицы *просто* и ее значение общности, элементарности, естественности предметов, признаков, явлений, действий и т.д. проявляются в определенном контексте, т.е. зависят от лексического наполнения структуры предложения, сочетания с той или иной знаменательной частью речи и, соответственно, членом предложения. Проведенный анализ показал, что данная час-

тица используется как при главных, так и при второстепенных членах предложения, выраженных различными частями речи. Для частицы *просто* типичны позиции перед подлежащим (6), прямым и косвенным дополнением (7, 8), согласованным определением (9), обстоятельством (10, 11), простым и составным сказуемым (12, 13). Проиллюстрируем сказанное примерами:

6. Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. — Наталья Савишина, **просто** Наталья, говорит мне ты и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку (Толстой).

7. — Кто это видел? Вы передаете **просто** слухи: о Нем так много лгут (Андреев).

8. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или **просто** из махорки (Бунин).

9. И немало других, не менее вздорных, невероятных и **просто** немыслимых разговоров подсказывало мне детское тщеславие... (Брюсов).

10. Я **просто** с ужасом на нее поглядел (Гиппиус).

11. Иногда, если и случался свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб, или к знакомым, или **просто** на улицу... (Куприн).

12. Потом он стал жаловаться на усталость. Потом он **просто** вздыхал (Маканин).

13. На что брат Андрей, со свойственной ему грубостью, ответил коротко: «Ты **просто** мерзавец» (Олеша).

Тем самым *просто* может относиться к разным членам предложения, в том числе и ко всему члену предложения с его распространителями. В последнем случае частица актуализирует семантику всех компонентов предложения в целом, а не отдельного его компонента, в препозиции к которому она формально находится, напр.:

14. Вы **просто** человек с улицы: какое вы имеете право на наследство? (Андреев).

В этой языковой иллюстрации частица актуализирует сочетание слов, составляющих именную часть составного именного сказуемого — «человек с улицы».

Кроме того, частица *просто* способна актуализировать не только какой-либо член предложения, но и лексическое значение одной конкретной словоформы, которая выступает в функции данного члена предложения, напр.:

15. В тот год, когда строился «Четвертак», Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера — **просто** позорным (Олеша).

В данном примере частица акцентирует не просто согласованное определение, а качественно-оценочную характеристику предмета, выраженную именем прилагательным.

Частица *просто* может относиться и ко всей языковой ситуации в целом через предикат. При этом актуализируется либо значение конкретного действия, либо значение той или иной модальности и т.д., напр.:

16. *Просто* приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду (Куприн).

17. — Как человек честный, я теперь *просто* обязан стреляться, — продолжал он (Тургенев).

Итак, наш анализ показал, что общее лексическое значение частицы *просто* можно охарактеризовать как выделительное, поскольку основной ее функцией является функция актуализации семантики слова или члена предложения. При этом, логически акцентируя смысл отдельного слова в предложении или высказывания в целом, данная лексема служит одновременно и для усиления выразительности речи, способствуя ее эмоциональности и экспрессивности. Иными словами, частица *просто* так или иначе связана с оценочностью. Возможно поэтому она типична для газетных и художественных текстов, для разговорной речи, но немыслима в официально-деловых текстах и мало свойственна речи научной.

ЛИТЕРАТУРА

- Баудер А. Я. 1975 — Какой частью речи является слово *просто*? *Русский язык в школе*. М. № 6. 81–86.
- Виноградов В. В. 1986 — *Русский язык: (Грамматическое учение о слове)*. М.
- Высоцкая И. В. 1999 — Лексико-грамматическое описание омокомплекса *просто*. *Филологические науки*. М. № 2. 71–77.

ЛЕКСЕМА *ВЕДЬ* В ФУНКЦИИ ЧАСТИЦЫ

Наталья Викульцева
(Тарту)

Прежде чем приступить к теме статьи, хотелось бы напомнить, что кроме партикулярной функции лексема *ведь* может выполнять функцию союза, но анализ последней не входит в нашу задачу.

Особо следует отметить, что в лексикографической практике встречается трактовка лексемы *ведь* как вводного слова. Так, в «Словаре русского литературного языка» 1951 г. под редакцией В. И. Чернышева относительно данной лексемы утверждается следующее: «произносится без ударения, примыкая к ближайшему ударяемому слову; употребляется в разговорной речи как *вводное слово*» <выделено нами. — Н. В.> [СРЛЯ 1951, II: 115]. В словаре под редакцией К. С. Горбачевича также отмечается возможность использования *ведь* в функции вводного слова [СРЛЯ 1991, II: 75].

Такая помета нас заинтересовала, поэтому были просмотрены источники лексикографических иллюстраций. В результате выяснилось, что в разных изданиях пунктуация не всегда совпадает: иногда в более ранних изданиях *ведь* не выделяется запятыми, а в более поздних обособляется. Кроме того, пунктуационный знак иногда ставится лишь с одной стороны — или слева, или справа. Иными словами, единства в пунктуации не наблюдается. Напр.:

а) *ведь* не выделяется запятыми: Андрей Сергеевич, бумаги-то *ведь* не мои, а казенные. Не я их выдумал (А. Чехов, Три сестры, 1910).

б) *ведь* выделена запятыми: Андрей Сергеич, бумаги-то, *ведь*, не мои, а казенные. Не я их выдумал. (А. Чехов, пример из словаря под ред. В. Чернышева, 1951).

в) *ведь* выделена слева: А, *ведь* признайся, есть / Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть (И. Крылов, Зеркало и обезьяна, 1887).

г) *ведь* не выделяется: А *ведь* признайся, есть / Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть (И. Крылов, Зеркало и обезьяна, 1949).

д) *ведь* обособляется: А, *ведь*, признайся, есть / Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть (И. Крылов, пример из словаря под ред. В. Чернышева, 1951).

е) *ведь* выделена справа: А *ведь*, признайся, есть / Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть (И. Крылов, Зеркало и обезьяна, 1955).

ж) *ведь* обособляется запятыми: *Но, ведь, я только скромный журналист. Я предполагал, что буду изображен за письменным столом* (Б. Темрязев, *Повесть о пустяках*, 1939).

Значительные пунктуационные различия свидетельствуют, по-видимому, о том, что статус лексемы *ведь* до середины XX в. не был достаточно определенным.

В современной пунктуационной норме требование выделять *ведь* запятыми отсутствует, что и позволяет трактовать это слово как частицу или союз. Но в любом случае пунктуация не может быть аргументом в пользу отнесения *ведь* к модальным словам, тем более что многие исследователи в сфере частиц выделяют особую группу модальных партикул.

Частицы представляют собой, несмотря на внешнюю пестроту функций и значений, относительно замкнутую и довольно четко очерченную подсистему с легко определяемым количеством языковых единиц. Но, как справедливо отмечает В. Черкасская, «сфера функционирования частиц настолько широка, их свойства и значения настолько мобильны, что подчас трудно уловить и зафиксировать все их метаморфозы в речи» [Черкасская 1985: 124]. Долгое время лингвисты относились к частицам как к словам, не обладающим значением. Если бы это действительно было так, то в тексте одну частицу можно было бы свободно заменять другой, поскольку они являлись бы синонимами. Синонимия в сфере частиц действительно имеет место, однако она не покрывает все случаи употребления той или иной частицы, т.е. такая замена не всегда возможна. Следовательно, частицы обладают особым значением, которое заключается, по мнению специалистов, в их функциях. Поэтому представляется важным детальное описание каждой единицы системы частиц для получения целостного представления о многообразии их значений и функций. Основная цель данного анализа заключается в уточнении специфики употребления и особенностей функционирования лексемы *ведь*.

Систематизация материала производилась по двум критериям. Во-первых, учитывалась позиция лексемы *ведь* в рамках предложения: абсолютное начало предложения, интерпозиция, финальная позиция. Во-вторых, анализ проводился с учетом классификации предложений по цели высказывания: нас интересовало, как ведет себя слово *ведь* в повествовательных, вопросительных, побудительных, а также восклицательных предложениях.

Обычно в научной литературе отмечается, что *ведь* — это одна из самых свободных частиц в русском языке, т.е. она может стоять практически перед любой частью речи и в любом месте предложения. Однако наблюдения над собранным материалом и проведенный нами лингвистический эксперимент, который заключался в перестановке *ведь* в рамках синтаксической конструкции, позволяют утверждать, что свобода *ведь* преувеличена:

- а) *Ведь родители не понимают сына.*
- б) *Родители ведь не понимают сына.*
- в) **Родители не понимают ведь сына.*
- г) **Родители не понимают сына ведь¹.*

Выясняется следующая закономерность: данная частица тяготеет к началу предложения, в конце встречается довольно редко. Кроме того, конечная позиция *ведь* в предложении имеет некоторые ограничения, а именно — в самом конце предложения употребление частицы, как правило, не отступает от нормы русского литературного языка только в таких небольших по объему предложениях, состоящих из предикативного ядра, в которых рематичным является сказуемое, чаще всего глагольное:

Что ты, стыдись! Молодая красивая женщина, да на мужчину разораться! Не старуха ведь (А. Островский, Последняя жатва).

Ну, будет, ну перестань... Ты мне только скажи, ты того-то, тогдашнего, не любишь ведь? Правда? (А. Куприн, Ночлег).

При этом использование частицы *ведь* в финальной позиции является приемлемым лишь в спонтанной разговорной речи, а также в художественных текстах, имитирующих разговорные черты.

Итак, позиция частицы *ведь* в предложении лишь относительно свободна. При этом смысл предложения не зависит от местоположения данной частицы, т.к. в любой позиции *ведь* отсылает содержание синтаксической структуры к предтексту, к ситуации, причем отсылает через глагол-сказуемое. Иначе говоря, *ведь* актуализирует семантику сказуемого.

Каковы же особенности функционирования частицы *ведь* в повествовательных, вопросительных и восклицательных предложениях? Сразу отметим, что ни одного примера использования *ведь* в побудительных предложениях обнаружено не было. По всей видимости, семантика этой частицы не соотносится с прагматической семанти-

¹ Звездочкой помечены спорные случаи.

кой предиката в форме повелительного наклонения и с семантикой побудительного предложения в целом.

В повествовательных же предложениях *ведь* может усиливать разные прагматические и модальные смыслы. Напр., усиливает значение уверенности, оправдания, жалобы, упрека, несогласия и т.д.:

а) усиление уверенности: *Богородица, милая, Ты ведь всегда меня любила, всегда... Не отступись...* (Е. Замятин, Великая).

б) усиление оправдания: *Саша смутился, спохватился, начал оправдываться: «Да нет же, я ведь хотел сказать, что вы бойкая, а не скромная, а не то, что вы нескромная»* (Ф. Сологуб, Мелкий бес).

в) усиление жалобы: *Одно стоит на своем. До слез ведь довел нас с женою* (А. Новиков-Прибой, В бухте).

г) усиление упрека: *Непременно надо обои переклеить. Я ведь вам присылала обойщика с образчиками* (Ф. Достоевский, Бесы).

Не являясь структурно обязательным компонентом в предложении, частица *ведь* маркирует субъективное отношение адресанта к окружающему миру.

В разговорных текстах, в частности диалогических, встречаются особые синтаксические единства, представляющие реплики собеседников, объединенные по смыслу. Ответная реплика, как правило, состоит из вопросительного + повествовательного предложений:

— *Она изменила мне. — Как изменила? Ведь ты еще не был женат на ней* (И. Гончаров, Обыкновенная история).

Вопросительная часть данной конструкции отражает непосредственную реакцию на исходную реплику собеседника, а второе предложение служит обоснованием этой реакции. Весь этот комплекс эмоционально насыщен. Одновременно вторая предикативная единица выражает уверенность говорящего в сообщаемой информации о предмете речи, уверенность в реальности действия. На наш взгляд, значение уверенности, убежденности в неоспоримой истине усиливает частица *ведь*.

Лексема *ведь* в повествовательных предложениях используется и как средство, которое дает возможность преподнести всем известную истину с субъективной точки зрения:

А главное, заносившийся так, жутким криком кричащий о своем праве, никогда ведь своего крика не слышит. И жалко становилось Верочку (А. Ремизов, Крестовые сестры).

Таким образом, с помощью *ведь* мы можем преподнести свою мысль как непреложный факт. Эта функция также является прагматической.

Аналогично ведет себя исследуемая частица и в восклицательных предложениях, но в отличие от употребления в повествовательных конструкциях, преваляющим является усиление эмоциональной выразительности предложения. Здесь также проявляется убежденность, уверенность говорящего в предмете речи:

Вишь, ведь хватило ума сказать! Станет мошенник реветь в чужих сенях! (И. Гончаров, Обыкновенная история).

А что, братцы! Ведь она, Клемантика, хотя и беспутная, а правду молвила! (М. Салтыков-Щедрин, История одного города).

Переходя к вопросительным конструкциям, сразу отметим, что частица *ведь* используется лишь в одном из видов вопросительных предложений. Речь идет о предложениях, в которых нет вопросительных слов.

Вопрос с данной частицей предполагает утвердительный ответ, это своего рода вопрос-уточнение. Говорящий, задавая вопрос с *ведь*, не ожидает получить новой информации, а желает подтвердить старую, уже известную. Иначе говоря, частица *ведь* в данном случае показывает желание говорящего найти подтверждение своей мысли, получить положительный ответ. Следовательно, *ведь* в вопросительной конструкции имеет усилительно-уточняющее значение с оттенком уверенности; эта конструкция нацелена на подтверждение информации со стороны адресата, т.е. вместе с запросом об информации выражается и уверенность в содержании ответа:

— *Ведь вам направо идти?* — *Направо* (И. Тургенев, Дворянское гнездо).

Иногда кто-нибудь из офицеров говорил: «Костя, ты бы сел, устал ведь?» (А. Серафимович, Поход).

Подобные вопросительные предложения фактически граничат с утверждением; можно сказать, что это вопрос + уверенность в содержании ответа. Цель вопросительных конструкций с *ведь* — уточнить полученную информацию.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 1) частица *ведь* прежде всего принадлежит к реактивным и информативным регистрам и не принадлежит волюнтаривному; 2) сохраняется этимологическая связь *ведь* с глаголом *ведѣти* [Фасмер 1964, I: 284–285], имеющим значение *ведать*,

знать. Не случайно основное предназначение этой частицы — выражать значение уверенности.

ЛИТЕРАТУРА

- СРЛЯ 1951 — *Словарь русского литературного языка* / под ред. В. И. Чернышева. М. Т. 2.
- СРЛЯ 1991 — *Словарь русского литературного языка*. М.
- Фасмер М. 1964 — *Этимологический словарь русского языка*. М.
- Черкасская В. Б. 1985 — О функциях повторяющихся соединительных скреп в осложненном предложении. *Неполнозначные слова как средства связи*. Ставрополь. 119–123.

ЧАСТИЦЫ С СЕМАНТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ «УСТУПКА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Янина Калугина
(Тарту)

Что до хитросплетений, то русский язык, в котором подлежащее часто уютно устраивается в конце предложения, а суть часто кроется не в основном сообщении, а в его придаточном предложении, — как бы для них и создан. Это не аналитический английский с его альтернативным «или / или», — это язык придаточного уступительного, это язык, ждущийся на «хотя». Любая изложенная на языке этом идея тотчас перерастает в свою противоположность, и нет для русского синтаксиса занятия более увлекательного и соблазнительного, чем передача сомнения и самоуничтожения.

Иосиф Бродский

I. «Уступка» в русском языке

В последние годы внимание исследователей все более привлекают отношения уступительности (или уступки) и, шире, отношения обусловленности в целом. Это объясняется не только и, возможно, не столько значительной лингвистической ролью отношений обусловленности, характеризующихся ярко выраженной текстообразующей функцией, но и экстралингвистическими причинами. В. Б. Евтюхин отмечает, что «языковые категории причины, следствия, условия, цели, уступительности и мотивации можно рассматривать как отражение детерминированности явлений действительности, их влияния друг на друга, упорядоченности по отношению друг к другу» [Евтюхин 1997: 5]. С лингвистической точки зрения причина, условие, цель, следствие и уступка, согласно исследованиям В. Б. Евтюхина, представляют собой биситуативные «макроструктуры», макроситуации, которым присущ особый, интегральный смысл, характеризующий их как единое целое и не выводимый из простой суммы смыслов составляющих их частей — микроситуаций. На достаточно тонкие различия внутренних логических связей причины, следствия, условия и уступки указывал еще Б. В. Лавров в своем труде «Услов-

ные и уступительные предложения в древнерусском языке» [Лавров 1941], отмечая при этом, что уступительные предложения, безусловно, свойственны лишь позднему, хорошо развитому языку, знающему многие типы логических связей в подчиненном предложении. В. Б. Евтюхин, в свою очередь, предпринял попытку представить отношения обусловленности в виде единого, целостного лингвистического объекта и интерпретировать их в качестве компонентов функционально-семантического поля обусловленности.

В связи с изучением специфики значений обусловленности возникает необходимость рассмотрения вопроса о способах ее выражения, которые подразделяются на *специализированные* и *неспециализированные*. При этом среди специализированных способов выражения уступительности основным является придаточное (точнее — сложноподчиненное предложение с формальными средствами маркировки — специализированными союзами): *Он не пришел, хотя его ждали*; а предложно-падежные формы существительного оказываются отнесенными к периферии: *Он не пришел вопреки ожиданиям*. Сложноподчиненные предложения с союзами *хоть, хотя, несмотря на то что* традиционно рассматриваются как уступительные конструкции в работах Б. В. Лаврова, А. Ф. Прияткиной, Р. П. Рогожниковой, Т. Г. Перфильевой, М. В. Ляпон, В. С. Храковского. При этом М. В. Ляпон определяет уступительность как «модификацию каузального значения, соединенного с противительным компонентом. Результат этого соединения — *нереализованная обусловленность*» [Ляпон 1986: 137]. В. С. Храковский отмечает, что с деривационной точки зрения «уступительные <...> конструкции, имплицитные *антиследствие*, являются семантически производными относительно своих коррелятов, т.е. причинных и условных конструкций, имплицитных *следствие*» [Храковский 2000: 8–9]. В. С. Храковский подчеркивает, что антиследствие с семантической точки зрения устроено более сложно, чем соотносительное следствие. В то же время В. Б. Евтюхин считает, что доминирующим признаком уступительных отношений является «*обратная обусловленность*» [Евтюхин 1996: 163].

Однако необходимо отметить, что уступительность в русском языке может быть выражена, помимо союзов, и целым рядом частиц, разнородных по своему происхождению и функциям. При этом, мы считаем, следует различать *уступительность, реализуемую в предложении с помощью союзов*, и *уступку, которая выражается частицами*, в ряде случаев являющимися грамматическими омонимами соответствующих союзов. Речь идет о грамматических омонимах —

союзах (1) и частицах (2) — *хоть, хотя, хотя бы, пусть и пускай*, напр.:

- (1) *Слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, **хоть** оно теперь выражало ужас и страх* (Л. Н. Толстой). *Лизавета Прокофьевна тоже ни о чем не захотела спрашивать, **хотя**, может быть, и она несколько беспокоилась* (Ф. М. Достоевский).
- (2) *60 раз только, в самом счастливом случае, я мог простоять в Великий Четверток со «свечечками» всюнощную: как же я мог **хоть** один четверг пропустить?! (В. В. Розанов). Мы не знаем даже, прочел ли Батюшков **хотя** одно стихотворение Пушкина* (В. Г. Белинский).

В связи с частицами имеет смысл говорить о маргинальных средствах выражения уступительного значения, имплицировании семантических микроситуаций, а, следовательно, и обуславливающей связи между ними. На наш взгляд, если рассматривать уступку, выражаемую частицами, в рамках макрополя обусловленности вообще и микрополя уступительности в частности, то ее можно представить как модификацию традиционно понимаемого уступительного значения, которое окажется на периферии функционально-семантического микрополя уступительности и всего пространства обусловленности в целом.

Если же обращаться непосредственно к анализу семантики уступительных частиц, то следует, прежде всего, отметить работу Г. М. Зельдовича «Семантическое взаимодействие модуса предложения и частицы “хоть”», в которой предложена следующая интерпретация уступки: «Смысл уступки видится так: в реальном или возможном мире существует ситуация Р.

а) Возможно нечто лучшее, чем Р. б) Возможно нечто худшее, чем Р. в) Можно было думать, что Р плохо или не очень хорошо, но, учитывая возможность худшего, говорящий оценивает Р положительно. г) С точки зрения говорящего, Р более вероятно, чем лучшие возможности» [Зельдович 1991: 112–113].

Однако уступку, выражаемую частицами *хоть, хотя, хотя бы, даже, пусть, пускай* целесообразнее определить с помощью «понятийного аппарата», предложенного в [Киселева, Пайар 1998]. В соответствии с предложенной в сборнике под ред. Киселевой и Пайара классификацией дискурсивных слов все вышеперечисленные языковые единицы, не рассмотренные авторами, могут быть отнесены к классу «слов, связанных с понятием установочной базы». Установочная база — это фрагмент высказывания *р*, который вводится в связи с некоторым положением вещей *q* и в той или иной степени детерминирует интерпретацию *q* [Киселева, Пайар 1998: 29]. В связи

с вышеизложенным семантический признак «уступка», на наш взгляд, означает: 1) между заданным *q* и вводимым *p* априори существует некоторое противоречие, определенная конфликтность/несовместимость; 2) в результате переосмысления *q* происходит разрешение конфликта и вынужденное согласие на не оценивавшееся первоначально положительно, не слишком желанное *p*.

Таким образом, в то время как уступительность в ее традиционном широком понимании — это «обратная обусловленность» [Евтухин 1996], имплицитное «антиследствие» (неожидаемое следствие) [Храковский 2000], реализация чего-либо «вопреки ожиданиям», «вопреки ожидаемому» [Ляпон 1986]; уступка, выражаемая частицами, может быть определена как *возможность минимальной/частичной реализации желаемого, согласие на компромисс*.

II. О происхождении *хоть, хотя, хотя бы, хоть бы*

Переходя к описанию семантики собственно-уступительных частиц *хоть, хотя, хотя бы, хоть бы*, являющихся по своей природе непервообразными, а также непервообразных частиц с периферийными уступительными значениями (прежде всего, *пусть* и *пускай*), необходимо, в первую очередь, обратиться к вопросу об их происхождении, поскольку своими семантическими корнями каждая из вышеперечисленных частиц глубинно связана с первоисточником. Частицы *хоть* и *хотя*, несомненно, произошли из соответствующих союзов.

Союз *хотя* встречается уже в древнейших памятниках русского языка, но широкого распространения в письменности достигает лишь во второй половине XVII в. До этого времени союз преимущественно употребляется в деловой речи и крайне редко в высоких литературных жанрах, напр., в летописи. С развитием же литературного языка *хотя* всецело берет на себя роль союза уступительных предложений. До начала XVIII в., отмечает Б. В. Лавров, в памятниках высоких литературных стилей — церковной проповеди, житийной литературе, летописях — в качестве уступительного союза использовался союз *аще*, церковнославянизм, широко распространенный в письменности в качестве условного союза и являвшийся почти единственным средством выражения условных и уступительных отношений в древнецерковнославянском языке [Лавров 1941: 52]. Несомненна генетическая связь союза *хотя* с глаголом *хотеть*. Исходным значением того слова, которое становится впоследствии уступительным союзом *хотя*, является значение *если хочешь, если хотите*. «Его конструктивная роль — роль сказуемого в бессоюзном

подчинении условных предложений, т.е. на известной стадии развития уступительное является только еще выделяющимся из условного предложения» [Лавров 1941: 118]. Следует отметить как общепризнанную и не вызывающую у нас никаких возражений точку зрения, согласно которой союз *хотя* — форма причастия (деепричастия) настоящего времени, аналогичная *несмотря* от *смотреть*. Этой точки зрения придерживаются Л. А. Булаховский («*хотя*, по происхождению причастие ед. ч. муж. род. (деепричастие) от *хотеть*») [Булаховский 1950: 328], Д. Н. Овсянко-Куликовский, Б. В. Лавров, М. Фасмер. Исконная семантическая связь между *хотя* и *хотеть* была рано разрушена, поэтому оказывается возможным употребление их в предложении в соседних позициях. Б. В. Лавров отмечает, что «путь конструктивного и семантического изменения глагола *хочешь* — *хотя* <...> есть, прежде всего, переход глагола на положение формального показателя желательного наклонения. Это могло осуществляться и постановкой *бы* при *хотя*» [Лавров 1941: 126]. О полном забвении внутренней формы свидетельствуют подобного рода примеры: *И Аннушка, хотя с великою неволею, не хотя преслушать воли отца своего, поехала к Москве* («История о российском дворянине Фроле Скобееве»).

Что касается союза, а следовательно, и частицы *хоть*, то, по всей вероятности, по происхождению это императивная форма 2-го л. ед. ч., близкая широко распространенной в древнерусском языке форме *хоти*, которую Л. А. Булаховский считает формой 2-го л. ед. ч. повел. накл. «Скорее всего, именно к нему восходит современное *хоть* (ср. *будь* из *буди*, *пусть* из *пусти*)» [Булаховский 1950: 328]. Этой же точки зрения придерживается и Б. В. Лавров, отмечая, что форма *хоть* связана с диалектами. Иную позицию занимает М. Фасмер, утверждая (в рамках словарной статьи о *хотя*), что *хоть* образовано «путем сокращения» от причастной формы *хотя* [Фасмер 1987, 4: 271]. Форма *хоти* в словаре не зафиксирована, приводятся лишь диалектные формы *хоча*, *хоша*, *хошь* и *хочь*. Точка зрения М. Фасмера кажется нам неубедительной. Ниже мы вернемся к обсуждению данного вопроса в связи с происхождением и семантикой частиц *хотя бы* и *хоть бы* и приведем свои аргументы в пользу первой гипотезы. В то же время современный исследователь Т. М. Николаева предлагает различные гипотезы в связи с генезисом союза *хоть*:

1) «Это форма повелительного наклонения, имеющая функционирование в диалектах, подобно *положься*, *глянь*, *становь* и под., и

перешедшая в современный язык после вытеснения *хоти*» [Николаева 1999: 327];

2) *хоть* является «фонетическим вариантом» либо *хотя*, либо *хоти* [Там же].

На наш взгляд, *хоть* может являться лишь фонетическим вариантом *хоти*, что подтверждается, прежде всего, значительными семантическими различиями частиц *хоть* и *хотя*.

В состав частиц *хотя бы* и *хоть бы* входит частица *бы*, по происхождению форма аориста 2–3 л. ед. ч. глагола *быть*. Частица образует форму сослагательного наклонения, категориальное значение которого может варьироваться в зависимости от синтаксических условий и контекста и «представать как значение желания, побуждения или возможного обуславливающего действия» [РГ 1980, 1: 626]. Отметим, что частица и вне формы сослагательного наклонения четко выражает ирреальность совершения действия. При этом в [Нелисов 1988: 51] подчеркивается, что «значение ирреальности, вносимое компонентом *бы*, может практически сойти на нет, если последний функционирует как одно целое в составе <...> усилительно-выделительных (*хотя бы, хоть бы*) частиц». Тем не менее, каждый элемент, входящий в состав частицы, небезразличен для ее плана содержания и определенным образом изменяет ее семантику. Очевидно, что семантические различия между частицами *хотя бы* и *хоть бы* (а именно: разнородность семантических ядер) можно объяснить лишь различиями между теми глагольными формами, к которым генетически восходят служебные слова *хоть* и *хотя*. Ярко выраженная оптативная семантика частицы *хоть бы*, как нам кажется, доказывает правомерность точки зрения Л. А. Булаховского и Б. В. Лаврова. По всей видимости, *хоть* — действительно императивная форма 2-го л. ед. ч., которую характеризуют специфические оттенки значения. Нередко с побуждением ее объединяет лишь значение ирреальности (возможности, желательности действия). Именно это значение желательности формы 2-го л. ед. ч. повелительного наклонения глагола «хотеть» сохраняется в семантике *хоть бы*, усиленное частицей *бы*. Этим, по всей вероятности, и объясняется столь отчетливая и устойчивая оптативная семантика данной частицы. Напротив, *хотя бы* имеет ярко выраженную собственно-уступительную семантику. Таким образом, гипотеза, предложенная в [Фасмер 1987], согласно которой *хоть* произошло «путем сокращения» от причастной формы *хотя*, оказывается необудительной.

Возвращаясь к происхождению частицы *хоть*, отметим, что Лавров на вопрос: «Почему форма повелительного наклонения могла

быть перестроена в союз уступительных предложений?» отвечает: «Связь повелительного наклонения с выражением условности идет, по-видимому, с очень ранней поры» [Лавров 1941: 120]. Следовательно, и с выражением уступительности, которую Б. В. Лавров генетически связывает с условностью. В. Б. Евтюхин указывает на пересечение полей условности, модальности и времени. Один из аспектов «взаимодействия модальности и обусловленности по линии смысловой отмеченности связан с формами императива глагола» [Евтюхин 1997: 77]. Императив в содержательном плане отчетливо сопрягается с семантикой обусловленности. Таким образом, предельно выраженная уступительная семантика частицы *хоть* объясняется, по-видимому, ее происхождением от императивной формы 2-го л. ед. ч. модального глагола, которая не только является первичной, но и центральной в императивной парадигме и наиболее четко выражает императивное значение. Наличие собственно-уступительного значения у частиц *хотя*, *хотя бы* и *хоть бы* также объясняется их происхождением от модального глагола *хотеть*. Следует отметить, что в [Фасмер 1987, 4: 271] и в этимологическом словаре славянских языков под ред. О. Н. Трубачева зафиксировано существительное *хоть*, означающее «желание, страсть», кроме того — «супруга, жену» [Трубачев 1981, 8: 85]. Однако, на наш взгляд, маловероятно происхождение перечисленных выше частиц от существительного. Более убедительна гипотеза их происхождения от соответствующих союзов, которые, в свою очередь, являются отглагольными образованиями.

Что касается стилистических вариантов *пусть* и *пускай*, то они, подобно частицам группы *хоть*, представляют собой грамматические омонимы соответствующих союзов, которые так же, как союз *хоть*, являются по происхождению императивными формами глагола 2-го л. ед. ч. (вероятно, *пусть* — редуцированный, усеченный вариант императивной формы *пусти*). Л. А. Булаховский отмечает: «Историческое истолкование таких уступительных союзов нового происхождения <...> не представляет никаких трудностей: это форма повел. накл. от *пустить*, *пускать*» [Булаховский 1950: 329]. При этом форма *пускай* имеет более позднее происхождение, т.к. глагол «*пускать* (с корнем пуск- вм. пуш.-) — новообразование на почве вост.-славянских языков, возникшее вследствие неправильного подражания к таким случаям чередования, как *трещать*: *треск*, *трескать*(ся)» [Черных 1993, 2: 84].

Итак, уступительность данных частиц, в первую очередь собственно-уступительных, восходит к их этимологическим корням. Пре-

дельно выраженная уступительная семантика частицы *хоть*, а также собственно-уступительная семантика *хотя*, *хотя бы*, *хоть бы*, *пусть* и *пускай* объясняется пересечением и взаимодействием полей обусловленности и модальности, а именно: исходной императивной формой модального глагола или же какой-либо его индикативной формой.

ЛИТЕРАТУРА

- Булаховский Л. А. 1950 — *Исторический комментарий к русскому литературному языку*. Киев.
- Евтюхин В. Б. 1996 — Группировка полей обусловленности: причина, условие, цель, следствие, уступка. *Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность*. СПб. 138–175.
- Евтюхин В. Б. 1997 — *Категория обусловленности в современном русском языке и вопросы теории синтаксических категорий*. СПб.
- Зельдович Г. М. 1991 — Семантическое взаимодействие модуса предложения и частицы «хоть». *Науч. докл. высш. шк. Филол. науки*. № 1. 112–117.
- Киселева К. Л., Пайар Д. 1998 — *Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания*. М.
- Лавров Б. В. 1941 — *Условные и уступительные предложения в древнерусском языке*. М.; Л.
- Ляпон М. В. 1986 — *Смысловая структура сложного предложения и текст: К типологии внутритекстовых отношений*. М.
- Нелисов Е. А. 1988 — Функционирование «бы» в простом предложении русского языка. *Учен. зап. Тартуского университета*. Вып. 825. 38–52.
- Николаева Т. М. 1999 — *Хотя и хоть в исторической перспективе. Славянские этюды*. М. 308–330.
- РГ 1980 — *Русская грамматика*. М. Т. 1.
- Трубачев О. Н. 1981 — *Этимологический словарь славянских языков*. Вып. 8. М.
- Фасмер М. 1987 — *Этимологический словарь русского языка*. М. Т. 4.
- Храковский В. С. 2000 — Материалы к анкете для описания уступительных конструкций. Общие проблемы. *Функции и взаимодействие языковых единиц в тексте*. Таллинн. 5.
- Черных П. Я. 1993 — *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. М. Т. 2.

СКОЛЬКО ЖЕ УСТУПИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ? К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Катрин Кару
(Тарту)

Ответ на вопрос, вынесенный в заглавие статьи, не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. Как известно, союз — это «класс служебных слов, оформляющий синтаксические связи предложений и синтаксические связи слов. Связующая функция является для союза основной. Однако, указывая на наличие связи, союз одновременно выполняет и **квалифицирующую функцию: обозначает содержательные отношения между связываемыми единицами** <выделено мною. — К. К.>» [ЛЭС 1990: 484]. Из сказанного явствует, что уступительный союз должен квалифицировать отношения между связываемыми единицами — частями предложения — как ‘противоречащие ожиданиям’, ‘обратно обусловленные’, т.е. в предложении с уступительным союзом утверждается несовместимость двух ситуаций и в то же время их сосуществование.

Уступительные отношения нельзя причислить к сфере неисследованных в эстонской грамматике, и основные языковые средства, организующие их, можно считать выявленными, см. напр.: [Rannut 1981; Palmeos 1985; Ereht 1986]. Кроме отдельных статей, рассматривающих уступительные отношения [Rannut 1978; Karelson 1978], им посвящены разделы во всех грамматиках эстонского языка. Таким образом, можно было бы предположить, что сфера уступительности в эстонском языке достаточно хорошо изучена. Однако это не так. Мы постараемся проиллюстрировать этот тезис на примере такого формального средства маркировки уступительных отношений как союз.

Выбор уступительных союзов в качестве объекта исследования был обусловлен главным образом двумя причинами.

Во-первых, при анализе эстонских грамматик оказалось, что списки уступительных союзов, предлагаемые разными авторами, не совпадают. Так, в частности, в книге [Palmeos 1985: 23], посвященной эстонским союзам и междометиям, выделяется 13 уступительных союзов, среди которых есть как формально простые, так и со-

ставные: *kui ka*¹, *nii ... kui ... ka*, *kuigi, ehkki, ehk küll, ilma et, olgugi et, olgugi, ehk olgu siis, või olgu siis, selle asemel et, sellest hoolimata et, sellele vaatamata et*. Список, предлагаемый в статье [Rannut 1978], насчитывает 16 единиц: *kuigi, ehkki, ehk kuigi, olgugi et, olgu küll et, ehk küll, ehk ka* (-gi/-ki), *küll, kui, kui ka, nii ... kui, nii palju* (nõndapalju) *kui, nii kaua kui, vaatamata sellele et, hoolimata sellest et, sellegipoolest* (sellegipärast) *et*. Как видно из приведенных списков, они не совпадают не только количественно, но и качественно: в первом, более коротком, списке содержатся союзы, не вошедшие во второй, более длинный. Есть, разумеется, «ядерная» зона — уступительные союзы, выделяемые всеми исследователями, однако периферия организации уступительных отношений в разных интерпретациях различается².

С другой стороны, выяснилось, что перевод большинства эстонских уступительных союзов на русский язык давал в качестве эквивалента союз *хотя*, иногда кроме *хотя* допустимым оказывался перевод также на *пусть*, *пускай* или *хотя ... но*, *хотя и*, однако строгой последовательности выявить не удалось, и лишь такие прототипические уступительные союзы как *несмотря на то что* и *независимо от того что* четко соотносились с двумя эквивалентами *vaatamata sellele et, hoolimata sellest et*.

Во-вторых, при анализе русских уступительных предложений, оформленных при помощи союза *хотя* и близких к нему сочетаний *хотя и*, *хотя ... но*³, выяснилось, что на эстонский язык они могут переводиться самыми разными способами, которые в свою очередь

¹ Жирным шрифтом выделены совпадающие фрагменты списков.

² При этом следует отметить, что здесь речь идет лишь о СПП уступительных предложениях, образующих смысловый центр организации уступительных отношений. Значительно сложнее обстоит дело в случае с простыми и осложненными простыми предложениями.

³ Безусловно, существуют различия между союзами *хотя*, *хотя и*, *хотя ... но*. Различия эти можно охарактеризовать, главным образом, как коммуникативные. Однако для данного исследования они не являлись принципиально важными, т.к. во всех названных сочетаниях присутствует организующий элемент *хотя*, в то время, как эстонские уступительные союзы имеют принципиально иную структуру. Наиболее частотным эквивалентом эстонским уступительным союзам оказался союз *хотя* именно в силу его максимальной обобщенности. Зависимая часть предложения с союзом *хотя* относится к пресуппозиции вообще, чем и объясняется широта его употребления. Об эстонских эквивалентах союзам *хотя* и *хотя ... но* см. [Кару 2000б].

трудно поддаются классификации и интерпретации. Между разными вариантами перевода чрезвычайно трудно провести более или менее четкую грань, большинство из них взаимозаменяемы. Можно говорить лишь об очень слабых тенденциях, но никаких закономерностей в выборе того или иного союза выявить не удалось.

Чем вызвано такое несовпадение? Постараемся ответить на этот вопрос, проанализировав языковой материал. Для этого воспользуемся имеющимися грамматиками и толковым словарем эстонского языка «Eesti kirjakeele seletussõnaraamat».

Грамматики эстонского языка выделяют разное количество уступительных союзов. Так, в частности, в грамматике 1970 г. перечислены лишь 4 союза, причем в их число не входят такие традиционные средства маркировки уступительных отношений как *sellest hoolimata et* и *sellele vaatamata et* [Valgma, Remmel 1970: 227]. В грамматике 1979 г. выделяется три группы союзных средств, употребляющихся в уступительных предложениях [Mihkla, Valmis 1979: 177–178]. Это 1) простые союзы *ehkki, kuigi*; 2) составные союзы *ehk küll, olgugi et, selle asemel et, sellele vaatamata et, sellest hoolimata et*; 3) союзно-наречные и союзно-местоименные сочетания: *kas ka, kui palju ka, kus ka, millal ka, mis ka* и др. Напр., *Millal ta ka oma kadunud emale mõtles, ikka läksid tal silmad märjaks*. Когда он(а) <только> ни думал о своей умершей матери, на глаза ему(ей) навертывались слезы. Последнюю группу образуют средства, оформляющие генерализованные уступительные конструкции, у которых в русском языке есть специальные средства оформления — относительное местоимение в сочетании с частицей *ни* (какой *ни*, когда *ни*, где *ни*, сколько *ни*, что *ни* и т.д.). Генерализованные уступительные конструкции образуют компактное закрытое микрополе с собственными средствами оформления отношений между частями предложения, в которое не вторгаются средства маркировки других микрополей уступительности: собственно-уступительного и условно-уступительного. Эта замкнутость характерна как для русского, так и для эстонского языка (для последнего в несколько меньшей степени), поэтому средства маркировки генерализованных уступительных отношений из материала данной статьи исключены.

В грамматике 1980 г. [Tauli 1980: 236–237] кроме перечисленных выше, выделяется еще один составной уступительный союз (*või/ehk*) *olgu siis et*. В моем распоряжении был лишь один пример с данным союзом, как кажется, на русский язык его опять-таки можно перевести при помощи *хотя*, возможно, также *нужай* (*нужь*). Ср.: *Mari oli kogu Vargamäele võhivõõras, ehk olgu siis, et tal oli siin tegemist*

olnud Jussiga (А. Н. Tammsaare). *Мари* была чуждой для всего *Варгмаэ*, хотя уже раньше была знакома с *Юссем*. Представляется, что данный уступительный союз можно считать «нетрадиционным», «авторским», но, как мы постараемся показать, образован он по общей схеме и выделение его одним из авторов грамматик эстонского языка является показательным и поэтому существенным.

И, наконец, Грамматика 1993 г. рассматривает уступительные предложения наиболее подробно. Однако классификация, приводимая в ней, недостаточно последовательна и никаких новых союзных средств по сравнению с теми, что уже перечислены, там нет, поэтому нет необходимости останавливаться на ней более подробно⁴.

Несколько слов следует сказать для характеристики подвергнувшегося анализу материала.

П. Пальмеос в книге, посвященной эстонским союзам и междометиям [Palmeos 1985], не дает ни толкования, ни семантической классификации уступительных союзов, приводя лишь их список и примеры, иллюстрирующие употребление каждого из них. Л. Раннут [Rannut 1978] характеризует выделяемые ею уступительные союзы с точки зрения частотности их употребления, а также линейного расположения частей сложного предложения, оформляемого тем или иным союзом, однако этот анализ проводится недостаточно последовательно. По отношению к некоторым союзам говорится, **что они чаще подкрепляются дополнительными лексическими показателями уступительности** <выделено мною. — К. К.>, однако это утверждение применимо практически ко всем уступительным союзам. «Лексическая поддержка» уступительности, обычно при помощи частиц, вообще очень характерна как для русского, так и для эстонского языка. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что поскольку уступительные отношения выражают некоторое «отклонение от нормы», противоречие ожиданиям, парадокс, то они более чем какие бы то ни было другие отношения обусловленности, будь то причинные, условные или др., нуждаются в лексическом оформлении. Ведь любое отклонение от нормы требует объяснения, в то время как соответствие ей воспринимается и говорящим и слушающим как нечто естественное. Неслучайно ни в русском, ни в эстонском языке нет бессоюзных уступительных предложений, в то время как, например, и причинные, и условные бессоюзные предложения достаточно распространены. Именно поэтому говорящий, произнося

⁴ Краткий анализ классификации уступительных конструкций, предлагаемый ЭГ, дан в статье [Кару 2000a].

уступительное предложение, очень часто не ограничивается употреблением уступительного союза, а включает в него «дополнительные» лексические показатели, подкрепляющие значение 'противоречия ожиданиям'. Такое подчеркивание уступительности, с одной стороны, должно исключить коммуникативную неудачу, неправильное понимание сказанного, с другой, — естественно, должно быть более характерным для предложений, в которых употребляются более редкие или многозначные уступительные союзы, о чем и пишет Л. Раннут. Хотя, как показывает языковой материал, и достаточно частотные уступительные союзы нередко сопровождаются «подкрепляющими» лексическими элементами, содержащимися в главной части предложения.

В ходе работы были подробно рассмотрены все имеющиеся списки эстонских уступительных союзов. Приведем небольшой фрагмент для иллюстрации методики анализа.

KUIGI. Толковый словарь дает для этого уступительного союза три интересующих нас значения.

1. *Kuigi* начинает придаточное уступительное предложение, в котором приводится обстоятельство, вне зависимости от которого деятельность или обстоятельство, выраженные в главной части, все-таки происходят. Синонимы *olgugi et, ehkki, ehk küll* [EKSS 1992, II, 3: 548]. Русские эквиваленты: ХОТЯ, ХОТЬ (И). Напр.: *Isa paistis olevat väga rahulik, kuigi oli näost kahvatu. Отец казался совершенно спокойным, хотя был бледен.*

2. *Kuigi* начинает ограничивающее утверждение, оговорку, придаточное уступительное предложение (может быть в интерпозиции) или часть предложения с соответствующим значением. Синонимы *ehkki, olgugi et, ehk küll* [Там же]. Русский эквивалент ХОТЯ / ХОТЬ (И). Напр.: *Räägiti (kuigi seda liialt ei usutud), et õnnistatud vesi pidi rohkem kuulide vastu kaitsma kui hõberistid ja ikoonid...* (A. Hint). *Поговаривали (хотя этому и не очень верили), что святая вода лучше защищает от пуль, чем серебряные кресты и иконы. Та tuli, kuigi hilinemisega. Он пришел, хоть и с опозданием.*

3. Редкое значение союза *kuigi*: 'kui ka' (о союзе *kui ka* см. ниже) начинает придаточное условное предложение с уступительным оттенком [Там же]. Русский эквивалент ДАЖЕ ЕСЛИ (И). *Või kuigi ta ise seda poleks tahtnud, siis sundisid teda teised, sundisid olud, sundis Kõrboja* (A. H. Tammsaare). *Да если даже сама она этого и не хотела бы, то заставляли другие, заставляли обстоятельства, заставлял Кырбоа.*

ЕНККИ. Толковый словарь дает два значения, полностью совпадающие со значениями союза *kuigi*. В качестве синонимов перечислены союзы *olgugi et, kuigi, ehk küll* [EKSS 1991, I, 2: 251]. Русские эквиваленты те же, что и в предыдущем случае. Напр.: *Ta ei lähe mööda, ehkki me pole teab mis suured tuttavad, ja istub mi kõrval* (L. Promet). *Он не проходит мимо, хотя мы и не*

очень хорошо знакомы, и садится рядом со мной. *Mehed jätkasid tööd, ehkki hakkas sadama. Мужчины продолжали работу, хотя начался дождь.*

ЕНК KÜLL. В толковом словаре приводится два значения этого союза, совпадающие со значениями союза *ehkki*. В качестве синонимов приводятся *kuigi, ehkki, olgugi et*. Отмечается, что части союза могут быть расположены дистантно. Русские эквиваленты ХОТЯ, ХОТЬ (И). Напр.: *Ehk ta küll oma vettinud riietes külma pärast lõdises, uinus ta siiski varsti magama* (E. Vilde). *Хотя он и дрожал от холода в своей промокшей одежде, он все-таки быстро заснул.* Как показывает языковой материал, в случае второго значения (см. второе значение союза KUIGI) невозможно дистантное расположение частей. Эквивалент ХОТЯ И. *Niisugust asja juhtub, ehk küll mitte sageli. Такое случается, хотя и нечасто. Та он hea inimene, ehk küll pisut äge. Он хороший человек, хотя и немного вспыльчивый.*

KUI KA. Уступительный союз (во втором значении). Части союза могут иногда располагаться дистантно [EKSS 1992, II, 3: 545]. Русский эквивалент ДАЖЕ ЕСЛИ.

Тут в толковании значений союзов прослеживается противоречие. Если союз *kuigi* в значении *kui ka* (см. выше) толковался как стоящий в начале условного придаточного предложения с уступительным оттенком, то сам союз *kui ka* толкуется как уступительный и входит в оба анализируемых нами списка уступительных союзов. Русский эквивалент — *даже если* — также позволяет причислить данный союз к уступительным, оформляющим условно-уступительные отношения. Напр.: *Kui ka töö eest raha ei maksa, kuluvad tööga omandatud oskused ometi marjaks ära. Даже если за работу не платят, приобретенные умения никогда не будут лишними.*

После того, как были рассмотрены уступительные союзы и их аналогии, выделяемые разными эстонскими исследователями, выяснилось, что данные толкового словаря позволяют выделить еще несколько уступительных союзов, а именно: *olgu et, ehk, kuidas*.

OLGU ET уступительный союз со значением '*olgugi et*' [EKSS 1991, I, 2: 325]. В толковом словаре приводится лишь один пример на данный союз и более подробное его толкование отсутствует. Можно предположить, что союзы *olgu et* и *olgugi et* трактуются как синонимичные, однако, как уже было показано, большинство рассмотренных нами уступительных союзов толкуются друг через друга, т.е. как синонимы. Поэтому мы будем рассматривать союз *olgu et* как еще один уступительный союз. Русским соответствием может быть ПУСТЬ, ХОТЯ (И). Пример: *Lõpuks on inspektorgi ainult inimene, olgu et ta kuljustega saanis linnast kohale sõidab ja võõrast keelt räägib* (M. Traat). *В конце концов и инспектор лишь человек, пусть (хотя и) приезжает он из города в санях с бубенцами и говорит на чужом языке.*

ЕНК союз, синонимичный *ehkki, kuigi, olgugi et*, уступительное значение этого союза трактуется как устаревшее [EKSS 1991, I, 2: 251]. Русское соответствие — ХОТЯ. Пример: *Särgava rahva meeleolu ei näinud olevat just mitte kõige lõbusam, ehk selles ei heinakoristamise töö ega ka ilm ei võinud olla süü-*

di (E. Särgava). *Настроение народа Сяргавя было не самым веселым, хотя в этом нельзя было винить ни сенокос, ни погоду.*

KUIDAS в пятом значении, которое фиксирует толковый словарь, рассматриваемое наречие является уступительным и выполняет союзную функцию. Оно стоит в начале придаточного уступительного предложения и имеет значение «все равно как, как ни» [EKSS 1992, II, 3: 548]. Однако тут данные словаря не совсем точны, т.е. изолированно наречие *kuidas* уступительное значение не выражает. Как показывают примеры, значение уступительности возникает из сочетания *kuidas* + частица *ka* или *-gi/-ki*. Русским соответствием является уступительное предложение, оформленное относительным местоимением *как* и частицей *ни*. *Kuidas ta ka püüdis, töö jäi ikka lõpetamata.* *Как он ни старался, работу кончить не удалось.* *Kuidas ka ei rahmeldaks, kõike ei jõua ikka ära teha.* *Как ни крутись, всего не переделаешь.* *Kuidas Eedi poleks tahtnudki vaikida, pidi ta nüüd ometi vastama* (E. Krusten). *Как ни хотелось Ээди промолчать, пришлось ответить.*

Аналогично наречию *kuidas* в генерализованных уступительных конструкциях могут функционировать также наречия *kes, mis, millal, kus* и др. В сочетании с частицами *ka* или *-gi/-ki*, см. об этом также: [EKG 1993, II: 309].

Однако и этот список эстонских уступительных союзов не является исчерпывающим. К такому выводу можно прийти, анализируя 1) эстонские текстовые примеры и 2) переводы русских уступительных предложений, в частности, с союзом *хотя*, на эстонский язык. Т.е. тут для более полного осмысления материала приходится менять исследовательскую оптику: исходным языком становится русский.

Обратимся еще к двум уступительным союзам. Первый был найден в эстонском тексте, второй выявлен при анализе перевода русских уступительных конструкций с союзом *хотя ... но* на эстонский язык.

KUI ... KÜLL. Предложение с этим союзом было найдено в Эстонской грамматике в разделе, посвященном словообразованию. *Kui liide küll annab tuletatud tüvele sõna väärtuse, ei tarvitse see alati tähendada seost kindla sõnalii-giga*⁵. *Хотя присоединение суффикса и придает деривату статус (нового) слова, это не всегда означает связь с определенной частью речи.*

Этот нетрадиционный союз, который не выделяется ни одним из известных нам источников, свидетельствует о том, что образование уступительного союза носит в эстонском языке относительно «сво-

⁵ Вероятно, это предложение можно считать не самым удачным или даже не совсем правильным, однако это ни в коей мере не противоречит тезису об относительной свободе комбинирования «уступительных» языковых средств эстонского языка, а, напротив, поддерживает и наглядно иллюстрирует его. Об этом см. следующий абзац.

бодный» характер. Иначе говоря, в эстонском языке существует определенный набор служебных средств, потенциально имеющих уступительное значение и могущих вступать в различные комбинации друг с другом. Эти комбинации и порождают новые уступительные союзы. В пользу высказанного предположения свидетельствуют различные наборы уступительных союзов, выделяемые разными авторами, анализ которых был проведен и которые состоят из сходных элементов. Думается, что определенные языковые средства (чаще всего это союзы и частицы, а также часть наречий в силу их лексического значения) воспринимаются носителями языка именно как (потенциально) уступительные. А поскольку язык допускает их различные комбинации, то последний пример является свидетельством именно такой, нетрадиционной, «авторской» комбинации двух служебных единиц: полисемантического союза *kui* и усилительно-уступительной частицы *küll*, которые образуют «новый» уступительный союз, синонимичный традиционным *kuigi, ehkki, olgugi et*, приводящимся во всех эстонских словарях и грамматиках.

И, наконец, можно выделить союз KÜLL ... KUID, (AGA, ENT), которому в русском языке соответствует ХОТЯ (И) ... НО.

Примеры: *Seda on küll raske, kuid see-eest meeldiv uskuda* (E. Tennov). *В это хоть и трудно, но зато приятно верить. Sul on küll õigus, kuid selle-gipoolest peaksid tema ees vabandama. Хоть ты и прав, но извиниться перед ним все-таки должен.* Союз *küll ... kuid (aga, ent)* в качестве уступительного союза ни одним из известных нам источников не выделяется, однако при переводе русских текстов достаточно часто используется в качестве эквивалента русскому *хоть (и) ... но*. Напр.: *Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро* (А. Платонов). *Naine oli neid küll sünnitanud kuusteist, aga elus oli seitse. Обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен* (М. Булгаков). *Tema kahe külastaja lõuna on küll hõrgutav ja külluslik, kuid kestab väga lühikest aega.*

Примеры подобного рода отнюдь не единичны. Кроме того, подтверждения возможности такого перевода можно обнаружить в толковом словаре эстонского языка, где о частице *küll* говорится как о возможном маркере уступительных отношений. Вторая часть рассматриваемого соединения представляет собой противительный союз, появление которого в уступительном предложении вполне естественно.

Итак, проделанный анализ и выдвинутый тезис о комбинаторике различных «уступительных» служебных средств эстонского языка, позволяют дать их полное исчисление и проследить возможности

комбинирования и ограничения, накладываемые на него. Но это уже тема другой статьи.

ЛИТЕРАТУРА

- Кару К. 2000а — О возможностях семантической классификации уступительных конструкций (на материале русского и эстонского языков). *Русская филология* 11. Тарту. 172–181.
- Кару К. 2000б — Уступительные конструкции, оформленные союзами «хотя» и «хотя ... но» и их эстонские эквиваленты. *Язык и культура*. Вып. 2. Т. II. Киев. 104–112.
- ЛЭС — *Лингвистический энциклопедический словарь*. М., 1990.
- EKG — *Eesti keele grammatika*. Tallinn, 1993.
- EKSS — *Eesti kirjakeele seletussõnaraamat*. Tallinn, 1988.
- Erelt, M. 1986 — *Liitlause eesti keeles*. Tallinn.
- Karclson, R. 1978 — Lisandusi eesti sidesõnade liigitusele. *ESA* 24. Tallinn. 41–49.
- Mihkla, K., Valmis, A. 1979 — *Eesti keele süntaks kõrgkoolidele*. Tallinn.
- Palmeos, P. 1985 — *Eesti keele grammatika II. Sidesõna ja hüüdsõna*. Tartu.
- Rannut, L. 1978 — Eesti keele mõõndlausest. *ETA toimetised*, 27 *Ühiskonnateadused*. Nr. 1. Tallinn. 47–53.
- Rannut, L. 1981 — *Põimlause eesti keeles*. Tallinn.
- Tauli, V. 1980 — *Eesti grammatika II*. Uppsala.
- Valgma, J., Rimmel, N. 1970 — *Eesti keele grammatika*. Tallinn.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВВОДНЫХ СЛОВ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ ЭСТОНИИ

Кади Ильвес
(Тарту)

Рассматривая особенности использования вводных слов в современной русскоязычной прессе Эстонии, необходимо уточнить, что в данной статье речь пойдет только о тех вводных словах, которые придают высказыванию модальную оценку, таких как *конечно, безусловно, наверное, видимо*. Иначе их называют вводно-модальными словами. Как известно, вводные слова не являются членами предложения, их функция состоит в том, что они «позволяют говорящему не только передать с помощью предложения определенную информацию, но и выразить отношение к ней, воздействовать на адресата» [Краткий справочник 1995: 274], см. также [Пешковский 1956: 409]. Эта функция очень важна с точки зрения прагматики, т.к. при анализе вводно-модальных слов можно проследить некоторые тенденции развития газетного языка, одной из функций которого является именно воздействие на читателя.

Материалом для исследования послужили данные, представленные в дипломной работе 1987 г. студентки Тартуского университета Светланы Клименковой «Использование модальных слов в газетном тексте», где рассматривается функционирование модальных слов в газетах «Советская Эстония», «Молодежь Эстонии» и «Вечерний Таллинн» за период с 1 июня 1985 г. по 1 июня 1986 г., и где в результате анализа 5 номеров каждой газеты, были выявлены наиболее употребительные на тот период вводные слова. Данные работы С. Клименковой мы сравнили с собранным нами материалом из газеты «День за днем»¹ за октябрь 1996 г. (4 номера). Прежде чем перейти к конкретному описанию особенностей функционирования вводных слов в русскоязычной прессе Эстонии, следует отметить, что это будет не совсем строгое сравнение, и нельзя говорить о полной его

¹ Далее «Советская Эстония» — С.Э., «Молодежь Эстонии» — М.Э., «Вечерний Таллинн» — В.Т., «День за днем» — Д.Д.

корректности, поскольку газеты различаются как по своему объему, так и по характеру представленной в них информации. С.Э. (теперь «Эстония») выходит с 1940 года, М.Э. выходила с 1950 года и В.Т. с 1974 года, т.е. к 1986 году газеты приобрели определенную традицию, определенный стиль, профессиональный уровень, тогда как Д.Д. возникла сравнительно недавно. Таким образом, если в газетах С.Э., М.Э. и В.Т. журналист выражает «официально санкционированное мнение» [Клименкова 1987: 67], то Д.Д. имеет оттенок «желтой прессы». Тем не менее, основываясь на данных четырех газет, мы можем увидеть некоторые тенденции.

При анализе двух групп газет, необходимо учитывать разные политические ситуации, в которых газеты выходили.

Если смотреть на 1985–86 гг. как на начало перестройки, то здесь все еще нельзя говорить о каких-либо существенных изменениях газетного языка по сравнению с советским периодом. Цензура и официальное мнение продолжают диктовать свои условия, что часто не позволяет журналисту выражать свою субъективную точку зрения на описываемое событие.

К 1996 г. прошло уже пять лет, как Эстония стала независимой республикой, и стали выходить газеты самых разных типов. Свою работу продолжают газеты, издававшиеся еще в советское время и отличающиеся своими традициями и профессионализмом. Но в то же время появляются газеты с низким профессиональным уровнем, что обусловлено резким увеличением количества газет, тогда как число русских журналистов осталось примерно таким же, как и в предыдущий период.

Итак, сравнив две группы газет, мы можем говорить о четырех особенностях использования вводно-модальных слов в исследуемых текстах.

Первое, что бросается в глаза, это то, что наиболее частотные вводные слова сохранили свои позиции, т.е. состав вводных слов со значением уверенности/подтверждения в обеих сравниваемых группах идентичен (*конечно, правда, разумеется*). Это можно объяснить тем, что, очевидно, в языке в целом значение уверенности/подтверждения в меньшей степени подвержено колебаниям. Если какой-нибудь факт имеет место в реальности, а автору необходимо только подчеркнуть его, то различного рода субъективные оценки здесь менее уместны. Эту особенность можно увидеть, обратившись к таблице.

Значение уверенности, подтверждения	Вводные слова	Количество в С.Э., М.Э., В.Т. 1985–1986 гг.	Вводные слова	Количество в Д.Д. 1996 г.
	конечно правда разумеется безусловно действительно бесспорно естественно	37 20 20 7 5 1 1	конечно (же) правда разумеется естественно действительно несомненно без сомнения безусловно понятное дело право же	60 (+14) 28 14 10 7 4 2 2 1 1
		91 (56%)		143 (56%)
Значение неуверенности, предположения	может быть пожалуй возможно может наверное казалось бы видимо вероятно кажется очевидно по-видимому казалось	17 11 7 7 7 5 4 3 3 3 3 1	наверное кажется однако пожалуй возможно видимо очевидно вероятно похоже может быть скорее всего казалось бы мне кажется может по-видимому а скорее вероятнее всего видно вполне возможно мне так кажется якобы	22 12 11 10 9 8 8 6 6 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
		71 (44%)		113 (56%)
Всего		160		255

Приведенные в таблице вводные слова регулярно используются в газетных текстах, напр.:

Сегодня уже не фантазией, а реальной технической возможностью является безбумажная технология управления (речь идет, **конечно**, пока лишь о частичном исключении бумаг) (М.Э., 7.01.1986).

Мы, **конечно**, тоже опросами и подсчетами занимаемся, чем дальше, тем больше, но нам до американцев все-таки еще очень далеко (Д.Д., 18.10.1996).

Правда, должен сказать, что новый директор сразу же обратил внимание на дороги (В.Т., 19.05.1986).

Правда, в Эстонии все еще производят молоко и масло, но число коров неуклонно снижается (Д.Д., 18.10.1996).

Разумеется, ворота и решетки, занимающие свои места на улицах Линнузе, Суур-Карья, Руту и Тоомкооли, в Пиритаском монастыре и Нигулисте, представлены эскизами и фотоснимками (В.Т., 5.06.1985).

Но отсутствие исторической индивидуальности, **разумеется**, исторически куда более индивидуально, нежели ее наличие (Д.Д., 18.10.1996).

Но, **может быть**, американская полиция проявит не меньшее рвение, преследуя настоящих преступников? (М.Э., 7.05.1986).

Многие, **наверное**, никогда раньше не видели карт такого масштаба и такой точности (Д.Д., 11.10.1996).

Вторая особенность также вытекает из приведенной таблицы. Группы вводных слов со значением неуверенности/предположения в разные временные периоды различны. Если в первой группе (1985–86 гг.) на первом месте по частотности использования стоит вводное слово *может быть*, то во второй (1996 г.) оно отодвинулось на 10 место, а вводное слово *наверное*, стоявшее на 5 месте, занимает во второй группе лидирующее место. Такое употребление можно объяснить самим характером вводно-модальных слов со значением неуверенности. Изменения в этой группе вводных слов, очевидно, связаны с тем, что значение неуверенности/предположения дает больше возможностей для субъективной трактовки реальностного статуса содержания высказывания. Автор может с разной степенью уверенности знать о существовании чего-либо в реальности, может догадываться, ссылаться на чьи-либо слова и т.д. Соответственно, эта зона модальности более подвижна, и именно она оказалась наиболее затронутой изменениями, произошедшими в газетном языке за десятилетие. В целом газетный язык изменился в сторону движения от официального единого мнения к множеству различных мнений, и в сфере модально-вводных слов в наибольшей степени изменилось употребление слов, наиболее субъективно окрашенных.

Третья особенность заключается в следующем. Несмотря на то, что нами было рассмотрено лишь четыре номера газеты Д.Д., общее количество вводных слов (255 вводных слов) в 1,6 раза превышает

количество вводных слов (160 вводных слов), анализируемых в дипломной работе С. Клименковой, которая представляет материал 15 номеров газет С.Э., М.Э. и В.Т. Обилие вводных слов в газете Д.Д. можно объяснить характером печатаемого в ней материала, о чем говорилось выше, а также политической ситуацией в данный период, когда автору было дано право свободно выражать свое личное мнение.

И, наконец, в-четвертых, мы сравнили употребление вводных слов в разных жанрах и выявили некоторые жанровые различия, представленные в следующей таблице.

Газеты С.Э., М.Э., В.Т. 1985–86 гг.			Газета Д.Д. 1996	
Жанр	Кол-во вводных слов	%	Кол-во вводных слов	%
Очерк	69	43	98	38
Статья	30	19	86	34
Репортаж	25	16	20	8
Интервью	36	22	51	20
Всего	160	100	255	100

В дипломной работе С. Клименковой были рассмотрены жанры очерка, статьи, репортажа и интервью. В газете Д.Д. были выявлены почти те же жанры, кроме репортажа, не являющимся характерным для данной газеты. Вместо репортажа мы сравнили его с заметкой, которая наиболее близка к нему и которая довольно часто встречается на страницах газеты Д.Д. Общая тенденция показывает снижение употребления вводных слов — в интервью в 1985–86 гг. 22%, в 1996 г. 20%, в очерке соответственно 43% и 38%, в репортаже 16%, а в заметке 8%. Явно возросла частотность употребления вводных слов в статье в 1985–86 гг. — 19%, а в 1996 г. 34%, что позволяет говорить об увеличении в статье числа субъективно окрашенных элементов. Приведем примеры употребления вводных слов в текстах разных жанров:

Да, профком осведомлен о значительном перевыполнении, но не в таких, конечно, масштабах... (С.Э., 26.03.1986).

Для нас, дилетантов, Пикассо — автор трогательной «Девочки на шаре» и трагической «Герники» и, конечно же, человек, создавший и пустивший в бессмертный полет своего «Голубя мира» (Д.Д., 25.10.1996).

О новых правилах, недавно введенных, уже говорилось. Казалось бы, что в таких условиях руководители предприятий должны принять действенные меры для повышения технического уровня производства, увеличения выпуска высококачественной продукции (С.Э., 10.04.1986).

В кругах НАТО решено, что первыми вступят Польша, Чехия и Венгрия, возможно, и Словения (Д.Д., 11.10.1996).

Итак, в настоящей статье были указаны лишь некоторые основные изменения в характере функционирования вводно-модальных слов в русскоязычной прессе Эстонии. В итоге можно сказать, что эти изменения касаются как отдельных групп вводных слов, так и отдельных газетных жанров. Конечно, для более полного описания и анализа данной сферы требуется дальнейший сбор материала, более детальное его описание и более глубокий анализ. Нами же была предпринята попытка дать лишь общую характеристику.

ЛИТЕРАТУРА

- Клименкова С. 1987 — *Использование модальных слов в газетном тексте*. Тарту.
- Краткий справочник 1995 — *Краткий справочник по современному русскому языку*. М.
- Пешковский А. М. 1956 — Слова и словосочетания, не образующие ни предложений, ни их частей. *Русский синтаксис в научном освещении*. М. 404–411.

О ПОРЯДКЕ СЛОВ В РУССКОМ АТРИБУТИВНОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ (по данным анализа разговорной речи)

Сергей Сай
(С.-Петербург)

1. Объект, задачи и общеметодологические принципы исследования

Настоящая работа представляет собой часть более широкого исследования, посвященного изучению некоторых особенностей структуры и функционирования именной группы (ИГ) в русском языке, при этом целью является не формальное выявление этих особенностей, а анализ стоящих за ними механизмов речевой деятельности. В данной работе рассматривается лишь один аспект изучаемого феномена, а именно порядок слов в атрибутивном словосочетании¹; будет сделана попытка вскрыть факторы, влияющие на взаимное расположение элементов ИГ.

2. М а т е р и а л и с с л е д о в а н и я

Материалом для исследования явились записи разговорной речи, сделанные в 1998–1999 гг.² Полученные записи транскрибировались с помощью системы CHILDES в формате CHAT³.

Важно отметить, что система CHAT позволяет фиксировать в транскрипции такие явления, как паузы, интонационные перепады, (само)перебивы, повторы (с или без исправлений) и т.д.

¹ Для упрощения поставленной задачи за рамки исследования были выведены ИГ, выступающие в предикативной функции (являющиеся именной частью составного именного сказуемого), а также содержащие несогласованные определения.

² Записи были сделаны в рамках проекта В-4 (руководитель Б. Вимер) группы SFB 471 университета Констанца. Проведение и расшифровка записей частично финансировались из гранта AFF «Projekt FP 034/98».

³ Во всех дальнейших примерах сохранена запись в формате CHAT (с пунктуацией, существенно отличающейся от нормативной), однако запись несколько упрощена по сравнению с компьютерной версией транскрипций, в частности, все приводимые высказывания записаны кириллицей.

Общая длительность звучания обработанных кассет составляет около 10 часов. Затранскрибировано около 100000 слов. Часть полученных данных была обработана статистически (для этой цели была создана репрезентативная выборка из 2000 ИГ рассматриваемого типа).

В работе анализировались спонтанные устные тексты, т. к. именно они в наибольшей мере позволяют вскрыть реальные механизмы речепорождения. Существуют многочисленные данные о том, что синтаксис разговорной речи существенно отличается от синтаксиса письменной речи; см., напр.: [Земская 1981; Акимова 1990], в частности, в области порядка слов [Сиротинина 1962; Лаптева 1976].

Важно отметить, что в данной работе спонтанные высказывания рассматривались независимо от того, являлись ли они нормативными с точки зрения грамматики, основанной на закономерностях письменной речи, или нет. Отчасти это связано с тем, что отступления от нормы, наблюдаемые в спонтанных текстах, являются диагностическими при изучении реальных процессов речепорождения. Кроме этого, можно отметить, что противопоставление нормативных и ненормативных высказываний в области синтаксиса носит во многом нестрогий, континуальный характер, поэтому выведение за рамки рассмотрения ненормативных высказываний неизбежно привело бы к спорным решениям; ср. наблюдения А. Поливановой о размытости понятия нормы в области синтаксиса [Поливанова 1999].

3. Основные результаты исследования

3.1. Традиционно порядок слов в русской именной группе описывается как свободный⁴ с абсолютным преобладанием (и, следовательно, немаркированностью) препозиции атрибутивного согласованного определения (при этом постпозиция согласованного определения обычно связывается со стилистической маркированностью высказывания). Однако в корпусе ИГ, рассматриваемом в данной работе, доля постпозитивных согласованных определений оказалась выше, чем это обычно считается; ср. 12.5%, полученные в данном исследовании, с 6–8%, полученными при анализе разговорной речи в [Сиротинина 1965]. При дальнейшем рассмотрении основное внимание

⁴ В литературе, впрочем, иногда говорится о невозможности некоторых порядков следования элементов в составе ИГ; ср., напр.: [Siewierska, Uhlířová 1998]. Однако такого рода «запреты» не подтверждаются анализом материала разговорной речи — можно найти примеры, идущие вразрез с такого рода ограничениями.

будет уделяться случаям постпозиции определений и будет сделана попытка дать объяснение этому явлению.

В литературе часто говорится об экспрессивной или стилистической функции постпозиции определения; ср. подобные утверждения в [Siewierska, Uhlířová 1998; Крылова, Хавроница 1984: 162]. Такого рода выводы, впрочем, опираются в основном на данные письменных текстов; в разговорной же речи говорить об особой экспрессивности ИГ с постпозитивным положением определений сложно. В настоящей работе предпринята попытка выделить две группы тесно связанных факторов, влияющих на расположение согласованного определения.

3.2. Фактор 1. *Коммуникативно менее значимое слово ИГ имеет тенденцию располагаться правее (прагматический фактор).*

Следует учитывать, что этот фактор действует на фоне более сильной тенденции к препозиции определения, поэтому само по себе препозитивное расположение определения не может считаться проявлением его большего по сравнению с определяемым коммуникативного веса. Однако если рассмотреть те ситуации, когда определение явно доминирует в коммуникативной значимости ИГ, можно обнаружить, что оно в таких случаях *всегда* (по крайней мере, на вовлеченном в данное исследование материале) оказывается препозитивным (ср. 12.5% случаев постпозиции определения в целом по выборке). См. примеры (1), (2) и (3):

- (1) *SP1: *когда эт [/] этот дяденька вернулся он увидел, что # вор стоит с поднятыми руками.*
- (2) *SP1: *люблю дарить с [/] свои [///] ну подарки в основном делаю своими руками.*
- (3) *SP1: *ну: знаете в гуманитарных науках вообще # кто скажет где шарлатанство а где нет.*

Действительно, опущение делает данные высказывания бессмысленными (пример (1), ср. **вор стоит с руками*) или принципиально изменяет их смысл (в примере (2) говорящему прежде всего важно указать на то, что он делает подарки сам, а в примере (3) содержится скрытое противопоставление гуманитарных наук всем остальным). Итак, подобные коммуникативно более весомые определения всегда оказываются в препозиции.

Ситуации, когда можно однозначно говорить о том, что коммуникативно определение менее значимо, чем определяемое, относительно редки. Однако именно для таких ситуаций характерна пост-

позиция определения, что может быть проиллюстрировано примерами (4), (5) и (6):

- (4) *SP1: *ах # ну фигура у нее такая [-] она там ходит там на шейпинг какой-то # на аэробику так что она такая довольно приличная.*
 (5) *SP1: *ну хорошо ну а # получается что так сказать ну а время-то свободное еще есть на что-то?*
 (6) *SP2: *и потом только # на второй день бабушка моя и говорит +"/.*

В примерах (4) и (5) постпозитивные определения практически не меняют смысл высказывания (для слов *какой-то* и *один* (в том же значении) постпозиция вообще крайне характерна). В примере (6) роль определения также, вероятно, не велика, т.к. оно лишь уточняет смысл высказывания, в целом понятный слушающему и без определения.

Итак, выше были последовательно рассмотрены ситуации, когда с точки зрения прагматики высказывания в структуре ИГ явно доминируют определения и определяемые. При этом было обнаружено, что в первом случае тенденция к препозиции достигает своего максимального выражения; для второго же случая, напротив, достаточно характерна постпозиция определения, в целом нетипичная для русского языка. При этом, разумеется, в большинстве ИГ сложно а priori выделить элемент, явно преобладающий в коммуникативном весе⁵.

Предлагаемый в настоящей работе фактор коммуникативного веса, влияющий на порядок слов в ИГ, требует определенного типологического комментария. Действительно, роль актуального членения (независимо от терминов: тема — рема, данное — новое, топик — фокус) при определении базового порядка слов в простом предложении в целом ряде языков часто обсуждается со времен классических работ [Li, Thompson 1976; Thompson 1978]. Этот фактор часто считается ключевым для определения порядка слов на уровне простого предложения (но не словосочетания) в языках с порядком слов, обладающим определенной свободой в терминах синтаксических отношений, в частности, славянских; ср. данные для русского языка в [Ковтунова 1976; Золотова 1998].

⁵ В принципе представляется возможным частичное использование порядка слов как диагностического средства для определения взаимного веса определяемого и определения подобно тому, как это делается в [Плунгян 1983] для латинских ИГ.

Однако роль прагматических факторов часто считается нерелевантной для порядка слов внутри именной группы; ср. эксплицитную формулировку этого тезиса в [Rijkhoff 1990]. Тем не менее, в [Плунгян 1983] на материале латинского языка была показана роль распределения коммуникативного веса элементов ИГ при определении в ней порядка слов. Сходный принцип (более важное — в начале) на уровне ИГ может быть, видимо, *mutatis mutandis* применен к русскому языку, ср.: [Лаптева 1976: 208 и далее], хотя его роль в РЯ, очевидно, меньше, чем в латыни, где порядок слов обладает еще большей свободой.

Следует отметить, что на уровне предложения принцип линейного снижения коммуникативного веса очень часто обсуждается в литературе, ср., напр.: [Mithun 1992; Hale 1992; Payne 1992b; Tomlin, Pu 1991]. В то же время в ряде работ, прежде всего, выполненных исследователями пражской школы на материале славянских языков в рамках Functional Sentence Approach, выдвигается во многом противоположный принцип: *старая информация располагается левее*; см., напр., [Firbas 1964; 1992], а также когнитивное обоснование этого принципа в [Gernsbacher, Hargreaves 1992]. Взаимодействие этих принципов в рамках более общего представления об иконичности синтаксиса блистательно разобрано в [Haiman 1985].

3.3. Фактор 2. Слово, ранее извлеченное из лексикона, располагается в ИГ левее.

Собранный материал позволяет сделать вывод о том, что порядок слов в ИГ во многом определяется планированием высказывания, поиском слов и т.п., грубо говоря, левее в высказывании появляется то слово, которое оказалось раньше извлечено из лексикона. Определение в таких случаях может оказаться в нехарактерной для него в целом постпозиции, в том числе, в дистантной; оно приобретает статус комментария, ср. [Земская 1973: 387], дополнения к уже сказанному («afterthought»). Косвенным свидетельством этому могут быть паузы, интонационное оформление ИГ, а также интроспективные отчеты говорящих.

(7) *SP1: *воспитание* *детишек* ### *словесное* ## [% смеется] *вот и ручное*.

(8) *SP1: *вот значит* # с [/] *студенты* # *аспиранты* # *журналистика* *одна у нас есть молоденькая*.

(9) *SP1: *так вообще* # *уровень* *упал* # *культурный*.

Считается, что этот фактор, называемый Д. Пэйн «когнитивным», наряду с чисто синтаксическими и прагматическими, может влиять

на порядок слов, см., напр.: [Paune 1992a]; однако этого рода явления недостаточно изучаются лингвистами, отчасти из-за сложности интерпретации языкового материала в этом отношении, отчасти из-за низкой роли этих факторов в нормативных высказываниях, особенно в письменной речи.

Особенно хотелось бы обратить внимание на случаи повторного употребления предлогов; подробно они разбираются в [Никольский 1964: 10–28]. В подавляющем большинстве таких высказываний определение находится в постпозиции:

(10) *SP1: *и они у тебя в Пскове в самом живут?*

(11) *SP1: *по-другому как бы в школе невозможно жить в этой?*

(12) *SP1: *были еще и [/] из института # [/] по-моему из технологического.*

В этих высказываниях наблюдаются разрывные конструкции, ср. замечания о непроективности разговорной речи в [Земская 1973: 384 и далее]. По справедливому замечанию Я. Рийкхоффа (в его терминологии здесь нарушается Principle of Domain Integrity⁶), это свидетельствует о распаде единства ИГ [Rijkhoff 1990; 1992]. Иными словами, в действительности в таких ситуациях мы имеем дело не с целостной ИГ, а с цепочкой имен, обладающих определенной самостоятельностью и в какой-то степени независимо друг от друга выполняющих свою синтаксическую роль в предложении.

4. В ы в о д ы

Два предложенных выше фактора, определяющих порядок слов в ИГ, нуждаются в дальнейшем изучении и уточнении. Несомненным представляется и то, что могут быть обнаружены другие факторы, которые влияют на взаимное расположение определений и определяемого, в частности, вызывают нехарактерную для русского языка постпозицию определения⁷. Важным, однако, представляется тот факт, что частеречная принадлежность элементов ИГ не является единственным фактором, задающим порядок слов в ней. В какой-то степени порядок слов в ИГ может быть связан не только с синтаксическими отношениями в ИГ, но и с коммуникативной структурой высказывания, более того, в спонтанной речи сами эти отношения могут отчасти размываться, определение — приобретать определенную самостоятельность, а внутреннее единство ИГ разрушаться.

⁶ См. также обобщение подобных принципов в [Haiman 1985].

⁷ Так, напр., в работе [Лаптева 1976] обсуждается роль ритмических факторов при определении порядка слов в ИГ.

ЛИТЕРАТУРА

- Акимов Н. Г. 1990 — *Новое в синтаксисе русского языка*. М.
- Земская Е. А. (ред.) 1973 — *Русская разговорная речь*. М.
- Земская и др. 1981 — Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. *Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис*. М.
- Золотова и др. 1998 — Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. *Коммуникативная грамматика русского языка*. М.
- Ковтунова И. И. 1976 — *Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения*. М.
- Крылова О. А., Хавронина С. А. 1984 — *Порядок слов в русском языке*. М.
- Лаптева О. А. 1976 — *Русский разговорный синтаксис*. М.
- Никольский А. А. 1964 — *Очерки по синтаксису русской разговорной речи*. Душанбе.
- Плунгян В. А. 1983 — *Коммуникативная информация и порядок слов. Предсуппозиции в образовании прилагательных*. [Ин-т РЯ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 149]
- Поливанова А. К. 1999 — Что такое синтаксис? *Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика*. М. 99–105.
- Сиротинина О. Б. 1962 — Порядок частей в составном глагольном сказуемом. *Вопросы стилистики*. Вып. 1. Саратов.
- Сиротинина О. Б. 1965 — *Порядок слов в русском языке*. Саратов.
- Firbas J. 1964 — On defining the Theme in Functional Sentence Analyses. *Travaux Linguistiques de Prague*, 1. 267–280.
- Firbas J. 1992 — *Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication*. Cambridge.
- Gernsbacher M., Hargreaves D. 1992 — The privilege of primacy: experimental data and cognitive explanations. [Payne (ed.) 1992]. P. 83–116.
- Haiman J. 1985 — *Natural Syntax. Iconicity and Erosion*. Cambridge.
- Hale K. 1992 — Basic word order in two «free word order» languages. [Payne (ed.) 1992]. 63–82.
- Li Ch. N., Thompson S. A. 1998 — Subject and Topic: A New Typology of Language. *Subject, Topic*. New York. 457–489.
- Mithun M. 1992 — Is basic word order universal? 15–61.
- Payne D. L. (ed.) 1992 — *Pragmatics of word order flexibility*. [Typological Studies in language, Vol. 22]. Amsterdam, Philadelphia.
- Payne D. L. 1992a — Introduction to [Payne (ed.), 1992]. 1–13.
- Payne D. L. 1992b — Pragmatic order rules in 'O'dham. 137–166.
- Rijkhoff J. 1990 — Explaining word order in the noun phrase. *Linguistics*. Vol. 28. N 1 (305). 5–42.
- Rijkhoff J. 1992 — *The noun phrase: the typological study of its form and structure*. Dissertation, University of Amsterdam.

- Siewerska A., Uhlířová L. 1998 — An overview of word order in Slavic Languages. *Constituent order in the languages of Europe*. Berlin, New York. 105–150.
- Thompson S. 1978 — Modern English from a typological point view: Some Implications for the function of word order. *Linguistische Berichte*, Band 54. 19–35.
- Tomlin R., Pu M. M. 1991 — The management of reference in Mandarin discourse. *Cognitive linguistics*, 2. 65–95.

ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ. ОДНА КАТЕГОРИЯ ИЛИ ДВЕ?

Денис Иванов
(Москва)

Существует две взаимоисключающие точки зрения на соотношение эвиденциальности и эпистемической модальности:

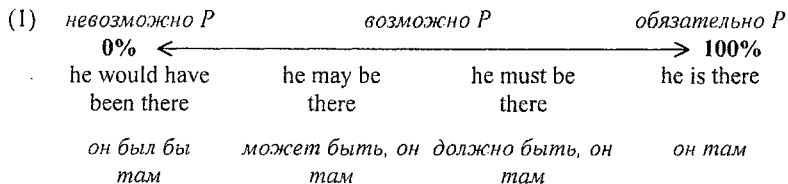
а) эвиденциальность и эпистемическая модальность — две разные категории [Anderson 1986: 282; de Naan 1997; Козинцева 1994: 97] и др.;

б) эвиденциальность входит в категорию эпистемической модальности [Bybee 1994: 180; Frajzyngier 1985: 250; Palmer 1986: 51; Willett 1988: 52; van der Auwera, Plungian 1998 — зд. обсуждаются различные точки зрения на эту проблему].

Приведем несколько определений.

Эпистемическая модальность — это категория, выражающая оценку возможности существования описываемой ситуации в актуальном мире. [Bybee 1994: 180]

Для описания значений эпистемической модальности представляется удобным ввести *эпистемическую шкалу*, т.е. шкалу вероятности, которую говорящий приписывает описываемой ситуации. Ниже представлена такая шкала с примерами из английского и русского языков:



Таким образом, значениями категории эпистемической модальности служат точки на этой шкале. Мы будем считать, что любое предложение естественного языка так или иначе охарактеризовано по эпистемической модальности, и тем самым мы включаем все разновидности эпистемической оценки в рамки эпистемической модальности.

Эвиденциальность¹ — категория, содержащая указание на источник, из которого получена информация об описываемой ситуации.

В рамках эвиденциальности различают прямую засвидетельствованность² (говорящий сам присутствовал при описываемой ситуации и воспринимал ее своими органами чувств) и косвенную засвидетельствованность (говорящий сам не воспринимал описываемую ситуацию, его знания о ней чем-либо опосредованы).

Частные значения прямой засвидетельствованности различаются тем, какими органами чувств говорящий воспринял ситуацию: например, *Visual* — говорящий видел ситуацию. Часто используется термин *Non-Visual* — восприятие говорящим ситуации при помощи любых других органов чувств, кроме зрения.

В рамках косвенной засвидетельствованности различаются квотатив (Quotative — говорящему сообщили об описываемой ситуации) и инференциальность (Inferential — говорящий знает о существовании описываемой ситуации в актуальном мире благодаря некоторой интеллектуальной операции над фактами и знаниями).

Рассмотрим на примере из языка западный тарахумара³ [Burgess 1984: 104] то, как могут быть устроены эвиденциальность и эпистемическая модальность:

(2a) alué hu-rá.
он быть-QUOT
Говорят, это он.

(2b) rahá-ra-guru.
жечь-QUOT-TRUTH
Говорят, он сжег (это),
и, вероятно, это правда.

(2c) simí-le-ga-ra-e.
идти-PAST-STAT-QUOT-DUB
Кто-то говорит, что он пошел, но это не так.

Попробуем описать примеры 2a–2c с «сепаратистской» точки зрения. Очевидно, что категория эвиденциальности в этом языке содержит как минимум показатель квотатива (2a) и чего-то еще (иначе не было бы оснований выделять квотатив!), а эпистемическая модальность — показатели высокой (TRUTH), низкой (DUB) и нейтраль-

¹ Самая подробная классификация представлена в [Willett 1988].

² В некоторых русскоязычных работах термин «засвидетельствованность» употребляется как перевод термина «evidentiality», см. перевод [Якобсон 1972]. Здесь мы будем использовать его для перевода названий значений (граммем) эвиденциальности.

³ Западный тарахумара (Western Tarahumara) — язык из юто-ацтекской семьи, Северная Америка; цит. по: [de Haan 1997].

ной (без показателя) эпистемической оценки. Примеры 2а–2с представляют собой сочетания квотатива со всеми тремя значениями эпистемической модальности.

Но попробуем предположить, что эвиденциальность и эпистемическая модальность составляют одну «макрокатегорию», и тогда нам приходится признать, что в языке тарахумара эту категорию образуют, в частности, показатели *-ra*, *-raguri* и *-rae* со значениями «нейтрального квотатива», «уверенного квотатива» и «недоверчивого квотатива».

Эту категорию нельзя считать разновидностью эвиденциальности, т.к. с точки зрения источника информации рассматриваемые примеры равноценны.

Остается предположить, что это эпистемическая категория. Тогда следует ожидать, что за ее показателями должны быть закреплены определенные эпистемические статусы. Таким образом, и за квотативом в целом в тарахумаре закреплен некий набор эпистемических статусов.

К очень похожим выводам можно прийти, рассмотрев примеры 3а–3д из языка винту⁴ [Schlichter 1986: 49]:

- (3a) minel kir-ke:-m
умирать COMPLETIVE-QUOT-DUB
Говорят//мне сказали, что он умер.
- (3b) соу:la-ke: ni
пьяный-QUOT я
Я пьян//они говорят мне, что я пьян.
- (3c) heket wira waca:-bi-nthe:-m
кто-то идти.сюда плакать-IMMED-NON.VIS-DUB
Кто-то идет сюда плача (я это слышу).
- (3d) серкал ne:lba:-bi-nthe:-da
плохой мы есть-IMMED-NON.VIS-мы
Мы ели (что-то) плохое (я это чувствую)

Здесь мы видим, что и квотатив, и *Non-Visual* встречаются и отдельно, и вместе с показателем дубитатива (DUB), который, по-видимому, является эпистемическим маркером. Рассуждая так же, как это было сделано выше, мы приходим к выводу, что не только квотатив, но и *Non-Visual* имеют фиксированный набор эпистемических статусов.

Таким образом, для того, чтобы получить непротиворечивое описание некоторых языков, приходится утверждать, что диапазон эпи-

⁴ Винту (Wintu) — язык из семьи пенути, Северная Америка [Willett 1988].

стемических статусов, соотнесенных с каждым из эвиденциальных значений, фиксирован.

Обратимся теперь к одной типологической универсалии, предложенной Фердинандом де Хааном, который показал, что, во-первых, если в языке существует показатель некоторого эвиденциального значения, то обязательно существуют показатели и более низких по эвиденциальной иерархии (см. пример 4) значений (в то время как более высокие могут не иметь показателей), и, во-вторых, если употреблен некоторый показатель, то в данной ситуации невозможно употребить показатель более высокого по иерархии значения [de Haan 1996]:

- (4) VISUAL }
 NON-VISUAL } Прямая засвидетельствованность
 INFER }
 QUOT } Косвенная засвидетельствованность

Здесь важна вторая часть этой универсалии. Из нее следует, что, если информация получена из двух типов источников, то обязательно выбирается показатель эвиденциальности, соответствующий самому высокому по иерархии значению. Следовательно, в любой ситуации эвиденциальный показатель определяется однозначно.

Как мы уже выяснили, для того, чтобы объединить эвиденциальность и эпистемическую модальность, необходимо признать, что есть языки, в которых за различными эвиденциальными значениями закреплены определенные эпистемические статусы.

А если это так, то в таком языке некий эпистемический статус может быть приписан только одному эвиденциальному показателю (т.к., если бы были возможны несколько показателей для одного эпистемического статуса, то, по универсалии де Хаана, выбирался бы только один из них).

Таким образом, эвиденциальные показатели разбивают эпистемическую шкалу на непересекающиеся отрезки. Что касается такого значения эпистемической модальности, как абсолютная уверенность в том, что ситуация имела место, то этот эпистемический статус, по нашим рассуждениям, соответствует ровно одному эвиденциальному показателю.

В таком случае мы должны признать, что в данном языке стопроцентную уверенность можно выразить только при одном типе источника информации. Это выглядит очень странно, т.к. означает, что говорящий не может быть одинаково уверен в том, что он, например,

увидел, и в том, что он почувствовал, или о чем он сделал логический вывод.

Поэтому, по-видимому, приходится признать, что предположение о единстве эвиденциальности и эпистемической модальности ложно.

СОКРАЩЕНИЯ

Эвиденциальные значения:

QUOT — квотатив; INFER — инференциальность; NON.VIS — *Non-Visual*.

Эпистемические значения:

TRUTH — говорящий полагает, что ситуация действительно имела место; FALSE — говорящий считает, что ситуация не имела место; DUB — говорящий сомневается, имела ли место ситуация.

Глоссы STAT, PAST, IMMED(iate) и COMPLETIVE обозначают аспектуально-временные показатели.

ЛИТЕРАТУРА

- Козинцева Н. А. 1994 — Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа). *Вопросы языкознания*, № 3. 92–104.
- Якобсон Р. О. 1972 — Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. *Принципы типологического анализа языков различного строя*. М.
- Burgess D. 1984 — Western Tarahumara. *Studies in Uto-Aztecan Grammar*, vol. 4. 1–150.
- Bybee 1994 — J. Bybee, W. Pagliuca, R. Perkins. *The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the languages of the world*. Chicago; London.
- Frajzyngier Z. 1985 — Truth and the Indicative Sentence. *Studies in Language*, vol. 9. 243–54.
- de Haan F. 1996 — *The Category of Evidentiality*. Unpublished manuscript.
- de Haan F. 1997 — Evidentiality and Epistemic Modality. Paper presented at the 2nd ALT meeting, Eugene.
- Palmer F. R. 1986 — *Mood and modality*. Cambridge.
- Schlichter A. 1986 — The origins and deictic nature of Wintu evidentials. *W. Chafe and J. Nichols (eds.). Evidentiality: the Linguistic Coding of Epistemology*. Norwood. 46–59.
- van der Auwera J., Plungian V. A. 1998 — Modality's semantic map. *Linguistic typology*, vol. 2, N 1. 79–124.
- Willett T. 1988 — A cross-linguistic survey of the grammaticization of evidentiality. *Studies in Language*, vol. 12, N 1. 57–91.

О ПРОДУКТИВНОСТИ ПРОТЕЗЫ S- В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Александр Скобелкин
(Москва)

Протеза (гр. *πρόσθεσις*) — прибавление звука в начале слова. Ср.: гр. *σταφίς* = *ἄσταφίς* ‘изюм’, рус. диал. *аржаной* < *ржаной*, рус. *яблоко* < ст.-сл. *лѣблоко*.

В славянских языках обычно перед гласным появляется согласный, и наоборот (примеры см. выше).

Однако во многих и.-е. языках протеза s- встречается в основном как раз перед согласной. Напр., это происходит в испанском и итальянском языках перед звонкими согласными.

В итальянском условия и регулярность протезы зависят от диалектов, ср.: тоск. *sbrondeli* = литерат. *brandelli* ‘лохмотья’.

В испанском протеза нерегулярна и утратила продуктивность, ср.: *esbella* ‘красивая’ < лат. *bella*, но *billeta* ‘билет’.

В славянских языках в историческое время протезы s- нет.

Гораздо более запутанную картину дает нам древнегреческий язык, который представляет собой чрезвычайно благоприятный объект для исследования. Прежде всего, он обильно документирован, причем письменная традиция почти за три тысячи лет ни разу не прерывалась. Далее, сохранились тексты, написанные на разных диалектах (в отличие, например, от латыни). Наконец, история изучения греческого языка насчитывает уже более 2 тысяч лет, причем начинали ее «носители» языка. Многое из того, что не вошло в художественные памятники, сохранилось в словарях Гесихия, Свида (Суды), глоссах.

Кроме того, есть электронная версия всех текстов на древнегреческом языке [Thesaurus Linguae Graecae 1992].

Из всего вышесказанного становится понятно, почему на греческом материале удастся решить многие проблемы, к которым почти невозможно подступиться в языках менее изученных и с меньшей письменной традицией.

К подобным проблемам относится и s-mobile.

S-mobile — звук, обычно равный [s], появляющийся в анлауте некоторых корней при невыясненных условиях. Явление s-mobile приуще большинству и.-е. языков.

- (1) Рус. **колоть** // о-сколок, скала, щель; лит. *kalti* 'ковать' // *skala* 'щепа'; др.-инд. *kala* 'малая часть'; др.-исл. *skilja* 'разделять'; лат. *per-cello* 'опрокинуть, толкнуть'; гр. *κέλεῖς* 'топор' // *σκάλλω* 'раскалывать'; алб. *halë* 'чешуя, осколок'; ирл. *skailim* 'рассеиваю, расстилаю'; арм. *celum* < *sk- 'раскалываю'.
- (2) Рус. **стенать**; др.-инд. *tanyati* 'шумит' // *stanati* 'гремит'; лат. *tono* 'звучать'; англосакс. *runian* 'гремять'; гр. эол. *τέννει* 'стонать' // гр. атт. *στέννει* 'звучать'.
- (3) Рус. **стог**; лит. *stogas* 'кровля'; др.-инд. *stthagati* 'окутывает, прячет'; др.-исл. *rak* 'крыша', д.-в.-н. *dah* 'крыша' // др.-сканд. *staka* 'мех'; лат. *tego* 'покрывать'; гр. *στέγω* 'покрываю', (*σ*)τέγη, τέγος 'крыша', στέγος 'урна для праха', позднее 'крыша'.

Благодаря этому явлению, мы можем наблюдать некоторые нетривиальные чередования, напр., «закон Зибса»: *sb-, *sd-, *sg- > sp-, st-, sk-; возм., в славянских языках *sg > x.

- (4) Рус. **стербнуть**; лит. *dirbti* 'работать'; др.-анг. *deorfan* 'работать' // др.-исл. *starfa* 'напрягаться, истощаться'; др.-инд. *drbhati* 'летать, нанизывать'; гр. τέρφος // στέρφος 'шкура, кожа'; др.-ирл. *srebann* 'кожа'; арм. *derbuk* 'грубый'.
- (5) Слав. *худъ 'худой'; латыш. *gaust* 'жаловаться' // *skaust* 'завидовать'; др.-сканд. *gauda* 'бранить'; и.-е. *ghoudh.

В греческом языке слов с таким чередованием необычайно много (более 100). Ниже мы попробуем доказать, что многие из этих «дублетов» образовались в период отдельного существования греческого языка.

Один из наиболее убедительных способов доказать продуктивность процесса — показать, что в него вовлекались заимствования. И действительно, существует ряд слов с подвижным s-, о которых точно известно, что они — заимствования.

- (6) *σμάραγδος* f (m) 'изумруд и вообще драгоценный камень зеленого цвета' (Hdt, Pl etc)¹; *ζμάραγδος*, *ιον* 'тж' (надписи, папирусы) // *μάραγδος* 'тж' (Men; Delos III в. до н. э.; etc) < др.-инд. *marak(a)tam* 'изумруд'.

¹ Сокращения имен авторов и названий произведений даны по: [Liddel. Scott, Johns. A Greek-English vocabulary. Oxford, 1958, Vol. I-II].

- (7) σκίνδαρος m ‘музыкальный инструмент с четырьмя струнами’, *тж* ‘какое-то растение’ // κίνδαρος (Timo), κίνδαροι κίθαριστηρία καὶ Ἰνδοί (Hsch).

Может быть, заимствование, как κίθαρα.

- (8) σμύρνη (Hdt, Arist); σμύρνα f (Hp, Arist, Thphr etc) ‘myrrhe’ // μύρρα.

Возможно, из сочетания μύρρα Σμυρναίαι (по названию местности), но это маловероятно. Слово μύρρα — заимствование из финикийского *murah*.

- (9) Σφίξ, ἰκός ‘чудовище с головой человека и телом льва’ (Choerob.; фесс. надпись V в. до н. э.) // Φίξ, ἰκός: Acc Φῖκα (Hes. Th. 326).

Форма Φίξ связана с названием горы Φίκιον в Беотии (возле Фив). Эта лексема обнаружена также у Плавта: Plaut. *Aul.* 701, *Picis divitiis qui aureos montis colunt ego solus supero* (‘лишь я превосхожу божественных Сфинксов, что живут в золотых горах’).

Φίξ является, возможно, заимствованием из древнеегипетского (см. далее значение ‘обезьяна из Эфиопии’).

Βίκας· Σφίγγας (Hsch) начал сближаться с σφίγγω (Emp; Aesch; Pr 58; com, etc) ‘сжимать, теснить’: φίγγας, σφίγγα (Pl. Kra. 414d) (причем в диалоге Платона указано, что первична форма φίγγα, а в σφίγγα ее изменили для «благозвучия»);

Форма Σφίγγ, ἰγγός (Hdt; A; E; etc) закрепились в классическом греческом и перешла в новогреческий.

Также σφίγγ может значить ‘обезьяна из Эфиопии’ (Agatharob); сюда же, вероятно, Μαγάρικαι σφίγγες πόρνοι ‘meretrices’ (Callias. Comm. 23).

Вероятно, независимо друг от друга образованы: σφίγγιον: 1) ‘обезьянник’ (Plin. IG XIV. 1302); 2) ‘цепочка с украшениями в форме сфинкса’ (Luc. Apol. 1).

Кроме того, достаточно показательно появление s- в словах с надежной и.-е. этимологией, не встречающихся с s- в других языках:

- (10) σμῦς· μῦς (Hsch, Herodianus) // гр. μῦς, лат. *mus*, рус. *мышь* etc.

Следует, однако, отметить, что эта форма у Гесихия не вполне надежна. Впрочем, регулярность рефлексов и.-е. *sm- для греческого достоверно не определяется.

Дело в том, что имеются немногочисленные этимологии примерно одинаковой степени достоверности, которые демонстрируют как *sm- > см-, так и *sm- > м-, в середине слова -мц.

- (11) σμῶρδονες ὑποκοριστικῶς ἀπὸ τῶν μορίων <олива. — А. С.>: ὡς πόσθονες (Гесихий) // ст.-сл. smgǫdēti, лит. smirdėti 'вонять', лат. merda.
 (12) σμῶ 'умазывать, чистить'; σμῆχω 'стирать, чистить' // д-в-н. smīzan 'мазать, мара́ть', лат. macula 'пятно'.

С другой стороны, есть такие соответствия:

- (13) μεῖδιᾶω 'улыбаться' // др.-инд. smāyate 'улыбаться', англ. to smile 'улыбаться', ст.-сл. smějati se 'смеяться', тох. B smi-mane 'улыбающийся';
 (14) μέτρομα 'получать свою долю'; эол. pf εἵμμορε < *σε-сморе, ἄμμορος 'лишенный ч-л' // хетт. mar-k 'делить добычу';
 (15) μῆν 'же, ведь' // др.-инд. smā- (утвердительная частица).

Наконец, одна из самых бесспорных форм:

- (16) μία 'одна' < *smia, нулевая ступень от *sem-, ср. лат. sem-el.

Подобные противоречивые данные не позволяют сделать окончательного вывода, однако можно считать бесспорным, что в *некоторых* случаях *sm- > м-. Очевидно, если мы хотим спасти принцип регулярности соответствий, надо найти какое-то объяснение этимологиям 11–12.

Мы предлагаем считать, что нормальным греческим рефлексом и.-е. *sm- является м-. Примеры на см- появились после присоединения подвижного s-. В тех нескольких словах, где дублет без s- не найден 11–12, мы предполагаем, что первоначальные формы просто не зафиксированы.

К тому же протеза s- появлялась не только перед m-.

Одним из наиболее убедительных доказательств того, что в древнегреческом протеза s- была продуктивной и проходила по собственным законам, служат отклонения от закона Зибса, о котором см. выше. Согласно ему начальные сочетания sb-, sd-, sg- невозможны. Действительно, их нет ни в латыни, ни в славянских языках. В греческом же есть контрпример: глагол σβέννυμι 'гасить'. Он имеет надежные внешние соответствия (в числе которых и рус. *гасить*), но ни в одном из них не появляется s-. Очевидно, эта протеза является собственно греческим новообразованием.

Добавим, что в дальнейшем этот процесс получил свое развитие. В новогреческом языке насчитывается определенное количество слов, пришедших из древнегреческого, но получивших протезу!

- (17) σβουνία ‘бычий помет’ // βουνία ‘помет крупного рогатого скота’ (от др.-гр. βοῦς ‘бык’);
- (18) σβῶλος ‘ком, глыба’ // др.-гр., нов.-гр. βῶλος ‘ком, глыба, шар’; (σ)βολιάζω ‘обрабатывать комья’;
- (19) σγόμπος = σγούμπος ‘горбун’ // γόμπος ‘горб, горбун’, др.-гр. γόμφος (ср. др.-инд. *jómbhas* ‘зуб’, рус. зуб etc.);
- (20) (σ)περβέρι ‘полог над кроватью новобрачных’;
- (21) (σ)πιθάμη ‘пядь (мера длины)’;
- (22) (σ)φαντάζω ‘бросаться в глаза, выделяться’, др.-гр. φαντάζω (от φαίνω) ‘становиться видимым, появляться (в т.ч. о сновидениях)’.

Мы привели здесь далеко не все новогреческие примеры, которых насчитывается больше сотни. Именно примеры на σβ-, σγ- убеждают, что мы имеем дело с собственно греческим явлением. Но каковы его корни?

По нашему мнению, целесообразно считать, что греческое подвижное s- является прямым наследником и.-е. s-mobile. Правда, статус и.-е. s-mobile не вполне ясен. Существуют аргументы в пользу того, что оно имело определенную морфонологическую нагрузку. Этому противоречит тот факт, что перед одними звуками (а именно p, t, k) s-mobile появляется значительно чаще, чем перед другими. Впрочем, как мы показали, это достаточно относительно. Как бы то ни было, в новогреческом языке s- не несет никакой смысловой нагрузки и является результатом чисто фонетического изменения.

Итак, мы рассмотрели вопрос о протезе s- в ряде и.-е. языков. Можно заметить, что этот кажущийся одинаковым процесс в каждом языке имеет свою природу. В испанском и итальянском это — фонетическое явление постлатинского периода, отсутствовавшее в латыни. В древнегреческом языке присутствуют как чередования, восходящие к и.-е. состоянию (см. примеры 1–3), так и результаты собственно греческих инноваций (примеры 6–10). Наконец, в славянских языках встречаются лишь отдельные случаи подобного чередования (пример 1) — реликты и.-е. процесса.

К ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА *МОЩИ*

Елена Антушева
(Гарту)

Слово *мощи* имеет в этимологических словарях всего одно традиционное объяснение, согласно которому *мощи* — церковнославянского происхождения и сопоставляется со словом *мочь* ‘сила, мощь, могущество’ [Ф II: 668; Пр I: 564; Ч I: 546]. П. Я. Черных объясняет историю семантического развития данной лексемы через цепочку: ‘силы’ — ‘сверхъестественные силы’ — ‘неистлевший труп (или часть его), способный творить чудеса’ [Ч I: 546].

Церковные словари определяют значение слова *мощи* в основном как ‘останки (тел) святых’. Иногда отмечается, что мощи «некоторых святых сохраняются нетленными» [Покр: 92], а также способны творить чудеса и источать миро [АХ: 158; ПЦСС: 318]. В Энциклопедическом Словаре «Христианство» под термином *мощи* понимаются только нетленные тела святых церкви [ХЭС II: 183], Г. Дьяченко же добавляет к этому значение ‘вообще кости, твердые части тела’ [ПЦСС: 318]. Такие разногласия при дефиниции происходят, видимо, в результате разного отношения к культу мощей: в некоторых источниках отмечается, что в русском православии возобладало представление о мощах как о нетленных телах, тогда как в католичестве и византийском православии под мощами понимались также и кости, издающие благоухание и источающие миро [ХЭС II: 292].

Как нам кажется, факты опровергают столь конкретное распределение. Так, при описании мощей русских православных святых встречаются выражения типа: «*большая часть ручной кости*», «*одна из позвоночных костей*», «*небольшая косточка*», «*один из перстов*», «*целая рука почти до самого плеча*» и т.п., см.: [Обозрение 1853: 151–159]. В исторических описаниях отмечается обычай русских цариц и княгинь носить на груди иконы, панагии и кресты, в которые заключались части мощей разных святых [Протопопов 1996: 79].

Таким образом, нетление не является обязательным и основным свойством русских православных мощей. Интересно, что на Афоне нетление служит, напротив, дурным знаком и говорит о плачевном состоянии души в загробном мире, а отнюдь не о святости [Там же: 37–38; АХ: 158]; также важно отметить комментарий П. Бартенева к

Собранию писем царя Алексея Михайловича и подтверждающую его цитату из Требника: «Словом мощи не всегда означаются прославленные чудесами и нетлением останки святых; оно означает иногда и вообще мертвое тело, бранные останки... *Скончавшуся кому отъ православныхъ, абие призываютъ сродницы его священника, иже пришедъ въ домъ, въ немъ же мощи усопшаго лежатъ и пр.*» [Бартенев 1856: 185].

Далее отметим, что по данным исторических словарей слово *мощи* имеет также значение 'остатки' (необязательно мертвых тел), см.: [СРЯ XI–XVII, 9: 286; Срезн II: 181; СсС: 333]. Интересно, что в Словаре русского языка XI–XVII в. значение 'остатки' дается как первичное, далее — 2) 'тело умершего, останки, прах', и лишь затем — 3) 'тело умершего, которому приписывается нетленность и чудесные свойства' и 4) 'частица священного предмета, которому приписываются чудодейственные свойства' [СРЯ XI–XVII, 9: 286].

Из ранее сказанного следует, что именно сема 'остатки, останки чего-л.' является для слова *мощи* доминантной и основной, значение же чудодейственного свойства выдвигается на первый план, видимо, в результате употребления этого термина в церковной сфере. Но даже в этом случае оно не является обязательным. Поэтому семантический переход, который предлагает П. Я. Черных, кажется нам не вполне соответствующим действительности и нуждается в пересмотре.

Сопоставляя слово *мощи* с *могу*, *мочь*, исследователи в качестве соответствий приводят гр. *δυνάμεις* 'силы' [Ф II: 668; Пр I: 564] и гот. *mahteis* 'тж' [Пр I: 564], хотя в др.-гр. и гот. словарях значение 'чудодейственные останки' не обнаруживается [см.: ДворГС: 427–429; Вейсм: 347; GEL: 452¹; Grimm DW: 1397–1405; Feist: 185; UhIEW: 100; Kluge: 293].

Следует отметить расхождения у М. Фасмера и А. Преображенского в ссылках на тексты Миклошича, которые они приводят как будто для подтверждения перехода 'сила' → 'останки святых' материалами греч. и гот. языков. В действительности такой семантической параллели не существует. В соответствующем месте, на которое ссылается А. Преображенский, сказано: «Сюда <к корню *mog-* —

¹ В «A Greek-English Lexicon» упоминается наиболее близкое этому значению греческого слова — 'магически сильный предмет или вещество' [GEL: 452], но это значение выражает идею враждебной христианству силы. Мощи же, прежде всего, являются реальностью христианского мира, и слово это никогда не обозначало магически маркированные предметы.

Е. А. > относится также ст.-сл. **мошти** мн. 'реликвии, собств. силы, чудесное воздействие': гр. *δυνάμεις*, гот. *mahteis* [MEW: 199], — т.е. Миклошич не утверждает, что гр. и гот. слова имели когда-нибудь значение 'реликвии, чудодейственные останки'. В другом словаре Миклошича [ML 1865: 382], к которому делает отсылку уже М. Фасмер [Ф II: 668], гр. и гот. слова даже не упоминаются.

Данный пример показывает, что априорное убеждение в истинности какой-либо этимологической версии способно в практике составления словарей вести к неправильному пониманию лексических параллелей и невольному порождению семантических артефактов.

Слово *мощи* в отличие от *мощь* 'сила' и *мошти* 'мочь' не имеет фонетических вариантов (ср. *мощь* / *мочь*; *мошти* / *мочь*; но *мощи* / \emptyset). Отсутствие в данном случае варианта со звуком *ч* дало основание исследователям утверждать, что слово *мощи* ц.-сл. происхождения, что подтверждается фактами схв. языка, где наряду с формой *мōшти* наличествует форма *мōћи*. Если в схв. языке наряду с заимствованной из ц.-сл. формой со *шт* имеется народный вариант слова, то рус. язык его, по-видимому, не знал.

На этом фоне бросается в глаза пестрота грамматического оформления слова в др.-р. рукописях: 1) *мощи* — форма мн. ч., ж. р., скл. на **ī* краткий (определяется по Род. мн. ч. — *мощѣи*); 2) *мощь* — ед. ч. от *мощи* [надпись на кресте Ефр. Пол. 1161 г.] — данный пример корректирует обычную для этимологических словарей [см. Ф II: 668; Пр I: 564; Ч I: 546] подачу этого слова как грамматически специализированного в форме множественного числа; 3) *моща* — мн. ч.: «...*моща* кумирслужения... да погублени *будуть*» [Ефр. Корм.: 381]. Форма сказуемого указывает на то, что слово *моща* — муж. рода, мн. ч. Возможно, что в данном источнике (XI–XII вв.) *-а* является признаком русизма и стоит на месте исконого *-а:* скл. на **ā* долгий мягкой разновидности; 4) в словарях отмечается также форма *мьща*, дв. ч. *мьщатѣ*. В качестве подтверждения приводится два примера — оба принадлежат к тексту Жития Симеона Столпника из «Пандектов Никона Черногорца» (др.-р. переводного памятника XII/XIII в.): *ставъшема мьщатема*; *поидосте мьщатѣ* [Срезн II: 215; СРЯ XI–XVII 9: 286]. Причем И. И. Срезневский употребление этой формы (*мьща* = *мьщ**а:* *мьщ**ата*) вместо *мощи* приводит под знаком вопроса и уточняет, что «дело идет как *будто* о мощах св. Симеона» <курсив наш.— Е. А.> [Срезн II: 215], а в Словаре русского языка XI–XVII в. эти сочетания уже без всякого сомнения приводятся в словарной статье *Мощи* для иллюстрации значения

‘тело умершего, которому приписывались нетленность и чудодейственные свойства’ [СРЯ XI–XVII 9: 286]. Но как в первом, так и во втором примере эти формы внешне совпадают с формами дв. ч. слова *мышь* ‘маленький, нерослый мул’ (ср. р., скл. на согл.), производного от др.-р. *мыскы* ‘мул’. Эти совпадения и неясность контекста говорят о необходимости уточнения семантических деталей².

Оба примера в словарях приведены из 9-го чуда Жития. Там же, чуть ниже, обнаруживается и само слово *мощи* в своей обычной форме: «у *мощій* *святаго Сумиона*» [ВМЧ: стлб. 19]. Из описания предыдущего 8-го чуда безусловно следует, что *мышатѣ* выполняли функцию перевозки тела св. Симеона: «Възложиха же раку епископи с носиломъ на *мышатѣ*, <...> и поидоша по пути въ Антиохію б поприщ; стасте же *мышатѣ* и не двигнашеся...» [ВМЧ: стлб. 18]. Ясно, что эта словоформа дв. ч. означает пару вьючных животных, а именно, маленьких, нерослых мулов (обычный мул — *мыскъ*). Таким образом, обсуждаемые формы, вопреки И. И. Срезневскому и составителям Словаря русского языка XI–XVII в. (которые, по-видимому, целиком опирались в этом случае на словарь последнего), не могут относиться к слову, обозначающему ‘останки святых’, ‘остатки’, и служить примером употребления лексемы *мощи*. Пользуемся случаем рассеять это недоразумение.

В целом широкая грамматическая вариативность исследуемого слова в русских источниках подтверждает мысль о том, что это чуждое живому др.-р. языку слово было заимствовано из ст.-сл. с непосредственной морфологической адаптацией, характерной для заимствований вообще.

В соответствии с единственной существующей в литературе этимологической версией, в ст.-сл. *шт* слова *мошти* отражается сочетание **gt* (*mogti*), но это не единственно возможное решение: в результате сравнительного анализа фонетических процессов, которые могли бы дать в ст.-сл. *шт*, и сопоставления их с отражением слова *мощи* в различных славянских языках (кроме западных, где обозначение нашей реалии заимствовано из лат. *reliquiae*) мы обнаружили, по крайней мере, еще две возможности объяснения звука *щ* (*щ* < **tj*; *щ* < **kt*). Это позволяет, в свою очередь, предположить и иные этимологические объяснения нашей лексемы: а) *мощи* < **mot-j-*: гнездо

² Т.к. Житие Симеона Столпника, не принадлежит к каноническому составу «Ландектов» [Срезневский 1875: 222] и не содержится ни в одном из изданий этого памятника, для уточнения контекста мы воспользовались ВМЧ, указанными И. И. Срезневским [Там же].

мотать/метать/мести; б) *мощи* < *mok-t-: корень тот же, что и в словах *мочить*, *мокнуть* (принимая во внимание мироточение, как одно из свойств мошей).

Остановимся подробнее на первой версии. Основное значение слов *мотать/мести* (в данных корнях имеет место древнее и.-е. чередование: *mot-/met-; некоторые исследователи выстраивают следующий словообразовательный ряд: *mesti → *motъ → *motati [ЭССЯ 20: 47]) и однокоренных им связано с семей 'мотать, наматывать пряжу' и под. Но стоит отметить и такое значение, как 'бросать, кидать', соответствующее ст.-сл. *мести*, *метж* 'бросить' [Ф II: 663], и схв. mōtati, mōtām 'бросать, кидать' [ЭССЯ 20: 45], а также диал. рус. *мотать* 'выбрасывать метелку' (об овсе) [Там же: 46]. В это же семантическое поле можно включить такие слова, как *мот* 'расточитель' [Ф II: 663], разг. *мотать* 'расточать, нерасчетливо тратить' [ЭССЯ 20: 46], блр. *матац* 'транжирить' [Там же: 47].

Наличие у слов гнезда *мотать/метать* семы 'бросать, кидать' дает возможность предположить следующий семантический переход: *мотать/метать* 'кидать, бросать' → сужение значения: 'бросать' как 'оставлять без попечения, без присмотра', вообще 'оставлять' → *мощи* как 'останки, остатки', т.е. 'что-то оставшееся от чего-л., напр., от человеческого тела'. Подтверждение возможности сужения значения 'кидать, бросать' → 'оставлять' у слова *мотать/метать* нам удалось обнаружить в Словаре русских народных говоров: *метать* 'оставлять без присмотра, без попечения; бросать', *метный* 'брошенный, оставленный' [СРНГ 18: 135], и такие диалектные образования от *метать/мотать*, как *метик* 'объедки соломы' [Там же: 138] и *мотик* 'несвежая, измятая скотом солома' [Там же: 297].

Для самого же факта деривации слов со значением 'мощи, останки' от глаголов поля 'бросать, кидать, оставлять' можно найти типологические параллели в гр. и лат. языках. Ср.: др.-гр. το λείψανον 'остаток', мн. 'останки умершего' [Вейсм: 755] от λείπω 'оставлять; покидать' [Там же]; лат. reliquiae, имеющее и такие значения среди прочих, как: 'остатки, оставшаяся часть; уцелевший остаток; останки, прах'; культ. 'реликвии, мощи', — от relinguo 'оставлять; предоставлять, разрешать; бросать; покидать; обходить молчанием' [ДворЛС: 660].

Выскажем в качестве предположения, что переводчики древних текстов при переводе данной лексемы на ст.-сл. воспользовались семантическими и словообразовательными отношениями языка ориги-

нала; в таком случае, слав. *мощи* является калькой др.-гр. или лат. слова и, на самом деле, имеет исходное значение 'остатки, оставшаяся от чего-л. часть', мотивированное глаголом *мотать* 'покидать, бросать, оставлять'.

ИСТОЧНИКИ

АХ — *Азбука христианства: слов.-справ.* М., 1997. **Вейсм** — Вейсман А. Д. *Греческо-русский словарь.* М., 1991. **ДворГС** — Дворецкий И. Х. *Древнегреческо-русский словарь.* М., 1958. **ДворЛС** — Дворецкий И. Х. *Латинско-русский словарь.* М., 1986. **ПЦСС** — *Полный церковно-славянский словарь.* Сост. Дьяченко Г. М., 1993. **Покр** — Покровский Д. *Словарь церковных терминов.* М., 1995. **Пр** — Преображенский А. Г. *Этимологический словарь русского Языка.* М., 1959. **Срезн** — Срезневский И. И. *Словарь древнерусского языка.* М., 1989. **СРНГ** — *Словарь русских народных говоров.* Л. **СРЯ XI–XVII** — *Словарь русского языка XI–XVII вв.* М., 1975. **СсС** — *Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.).* М., 1994. **Ф** — Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка.* М., 1986–1987. **ХЭС** — *Христианство: энцикл. словарь.* М., 1993. **Ч** — Черных П. Я. *Историко-этимологический словарь современного Русского языка.* М., 1993. **ЭССЯ** — *Этимологический словарь славянских языков.* Под ред. Трубачева. М. **Feist** — Feist S. *Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.* Halle a. S., 1909. **Grimm DW** — Grimm J., Grimm W. *Deutsches Wörterbuch.* Leipzig, 1885. Bd. 6. **Kluge** — Kluge F. *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.* Berlin und Leipzig, 1921. **GEL** — Liddel H.G., Scott R. *A Greek-English Lexicon.* Clarendon, 1968. **MEW** — Miklosich F. *Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen.* Wien, 1886. **ML** — Miklosich F. *Lexikon palatoslovenico-graeco-latinum.* Vindobonae, 1862–1865. **UhlEW** — Uhlenbeck C. *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.* Amsterdam, 1896.

ЛИТЕРАТУРА

Бартенева П. 1856 — Примечания ко II-му письму царя Алексея Михайловича к патриарху Никону. *Собрание писем царя Алексея Михайловича.* М. **ВМЧ** — *Великие минеи четии митрополита Макария.* СПб., 1898, сент., дни 1–13. **Обозрение 1853** — *Обозрение свящ. древностей, находящихся в Святотроицкой Александро-Невской лавре.* *Христианское чтение.* СПб. Ч. I. 151–159. **Протопопов Д. И.** 1996 — *О нетлении и почитании святых мощей.* М. **Срезневский И. И.** 1875 — *Пандекты Никона Черногорца (Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках).* *Сб. ОРЯС.* СПб. Т. 12. 217–291.

МЕТАТЕКСТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Мария Войтехович
(Гарту)

Художественный текст, отражающий сложные и противоречивые отношения реальной действительности, сам является многогранным, многоаспектным феноменом. Причем, несмотря на разнообразие направлений, исследующих «язык художественной литературы» (лингвистика текста, функциональная стилистика, прагматика языка и др.), возможности изучения текста отнюдь не исчерпаны. Цель данной работы заключается в попытке представить текст с точки зрения еще одного аспекта его существования — аспекта метатекстового.

В качестве объекта специального исследования метатекст, как известно, впервые был выделен А. Вежбицкой, где она показала, что высказывание о предмете может быть переплетено «нитем высказываний о самом высказывании» [Вежбицкая 1978: 421]. Такие «метатекстовые нити», эксплицитно или имплицитно присутствующие в тексте, позволяют соотносить мотивы, установки, цели и намерения говорящего с его речевым поведением, а также играют немаловажную роль в формировании отношения собеседника не только к мотивам, целям, но и к способам выражения отдельного высказывания или речевого акта.

Исследование произведений художественной литературы¹ позволило выяснить, что метатекстовые единицы присутствуют практически на всех уровнях текста (от лексического до композиционного) и при этом тесно взаимодействуют друг с другом. Иными словами, в одном предложении может быть представлено несколько различных средств выражения метатекста, как, напр., в следующей фразе:

Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция, мне же, собственно, хочется рассказать вам свой последний роман (Ариадна. Чехов).

¹ «Повести Белкина» А. С. Пушкина, «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя, а также рассказы А. П. Чехова: «Ариадна», «Злоумышленник», «Ничка», «Святая простота».

Приведем контекст, т.к. без него невозможно исследование метатекста. Персонаж (Шамохин) рассуждает о женщинах вообще. Его собеседником является т.н. первый или «вводящий» рассказчик. После того, как они выпили вина и их отношения стали более дружескими, доверительными, Шамохин начинает «рассказывать свой роман», говоря, что предыдущие рассуждения о женщинах были только «интродукцией».

Метатекстовые единицы:

<i>так и</i>	частица 1) выполняет функцию отсылки к предыдущему контексту и 2) сигнализирует о том, что за ней, вероятно, последует какое-то утверждение;
<i>то, что я до сих пор говорил</i>	отсылка как к предыдущему контексту (рассуждениям Шамохина о женщинах), так и к последующему;
<i>только, же</i>	в данном контексте частицы делят текст на две части, выступают как знак того, что 'все, что рассказчик говорил до этого момента, было вступлением, а сейчас начинается сама история';
<i>интродукция</i>	'введение', рассказчик сам комментирует свой текст;
<i>собственно</i>	вводное слово, может быть расшифровано как 'на самом деле, в действительности', т.е. также подчеркивает вступительный характер предыдущих рассуждений;
<i>хочется рассказать</i>	составное глагольное сказуемое, которое эксплицирует желание что-то рассказать и подразумевает, что сейчас рассказ последует.

Таким образом, можно утверждать, что метатекстовые единицы:

- должны исследоваться в контексте;
- характеризуются тесным взаимодействием друг с другом;
- могут выполнять несколько функций сразу;
- проявляются практически на всех уровнях текста;
- организуют текстовую семантику.

Итак, какие же средства выражения метатекста можно выделить в художественном тексте?

1) В первую очередь это собственно лексические средства, т.е. слова, лексическое значение которых прямо указывает на коммуникативный акт:

- глаголы «говорения» (*говорить, сообщать, утверждать*);

- ментальные глаголы, указывающие на мыслительную деятельность и внутреннее состояние человека (*думать, мечтать, знать, надеяться*);
- глаголы «интеллектуального воздействия» (*доказывать, объяснять, убеждать*);
- глаголы передачи / получения информации типа «писать», «читать» (*записывать, печатать, перечитывать*);
- перформативы (*обещать, благодарить, сетовать, просить*);
- глаголы, характеризующие фонетическую сторону говорения (*шептать, гнусавить, бормотать*).

Слуга вошел и **объявил**, что лошади готовы (Выстрел. Пушкин).

Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без любви! (Ариадна. Чехов).

Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди (Злоумышленник. Чехов).

Хорошо, — **подумал я сам в себе**, — я теперь узнаю все (Записки сумасшедшего. Гоголь).

Умоляю вас, съездите к ней, употребите все ваше влияние и втолкуйте ей, как она не права... (Ниночка. Чехов).

Каков, а? Видала? — **зашептал** он кухарке (Святая простота. Чехов).

2) Лексико-синтаксические средства — их посредством осуществляется модальная и эмоциональная оценка сообщения, они характеризуют речь персонажа, указывают на способ оформления мысли, а, кроме того, могут подчеркивать социальное положение говорящего:

- вводные слова, словосочетания и предложения;
- обращения.

Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда увидаться с казначеем и авось — либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед (Записки сумасшедшего. Гоголь).

Природа тут, **должен я вам сказать**, удивительная (Ниночка. Чехов).

Да нешто, **ваше благородие**, можно без грузила? (Злоумышленник. Чехов).

3) Собственно синтаксические конструкции:

- вставные конструкции;
- бессоюзные предложения;
- конструкции с прямой речью;
- изъяснительные предложения.

<...> граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский **(так думал Иван Петрович)**, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом (Барышня-крестьянка. Пушкин).

Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы (Записки сумасшедшего. Гоголь).

Вот врет-то! — подумал он (Святая простота. Чехов).

Я ей рассказываю, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви (Ниночка. Чехов).

4) Частицы и междометия отражают отношение высказывания или его автора к окружающему контексту, выраженному или подразумеваемому:

Я вспомнил, о той... Эх, канальство!... ничего, ничего... молчание (Записки сумасшедшего. Гоголь).

Прошло три дня, поручик был еще жив (Выстрел. Пушкин).

5) Цитация — художественное произведение, являясь текстом многослойным и внутренне неоднородным, способно вступать в сложные метатекстовые отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией, что и проявляется в тексте в виде следующих единиц:

- собственно цитаты;
- пословицы, поговорки, устойчивые словосочетания;
- иностранные слова и выражения.

*Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что, видно, **такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого на коне не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком** и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы мало что можем выдумать себе в оправдание* (Метель. Пушкин).

*Первый месяц, **the honey-moon**, провел я здесь, в этой деревне* (Выстрел. Пушкин).

6) Структурно-текстовые средства знаменуют собой качественно новый этап в описании художественного произведения, т.к. они обслуживают уровень организации, композиции текста, основным признаком которого является его внутренняя неоднородность. Сюда относятся:

- эпиграфы;
- сноски;
- датировка;

- включение одних текстов в другие;
- заголовок и подзаголовок.

Чи 34, сло Ми гдао... (Записки сумасшедшего. Гоголь).

(Да не подумает читатель, что здесь опечатка <... >) (Ниночка. Чехов).

Ниночка (роман) (Ниночка. Чехов).

7) Графические средства выражения метатекста:

- кавычки;
- шрифт.

Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни (Метель. Пушкин).

Приведенная выше классификация лишь в общих чертах характеризует проблему метатекста. Что же касается функционального анализа того, как посредством метатекстовых единиц может осуществляться авторский замысел, то нас в первую очередь будут интересовать композиция художественного произведения и речь персонажей, поскольку они обязательно связаны с метатекстом. Причем весьма существенной для нас здесь оказывается идея целостности, т.к. «в рамках художественной литературы, кроме общего ее контекста, главной композиционной формой и семантико-эстетическим единством является структура цельного литературного произведения» [Виноградов 1963: 75].

Итак, для примера рассмотрим текст «Выстрела», являющийся частью пушкинского цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», где Белкин — сквозной образ, определяющий единство повестей. «Выстрел» состоит из двух глав, каждая из которых включает по два эпизода (рамочные и центральные сюжеты), разворачивающихся в разных временных планах (в настоящем и в прошлом) и представленных с различных точек зрения (в сообщениях рассказчика, Сильвио и графа). При этом обе главы находятся в строгом соответствии с двойным эпиграфом:

Стрелялись мы. Баратынский.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался мой выстрел). Вечер на бивуаке.

Таким образом, метатекст здесь обусловлен уже самим композиционным построением.

Что же касается речи персонажей, то здесь нет яркой языковой дифференциации, хотя каждый из героев и обладает своими речевы-

ми особенностями. Так, наличие вставных конструкций в речи рассказчика объясняются желанием героя прокомментировать свой рассказ:

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу называть его).

Сильвио (так назову его) никогда в него не вступал.

Кроме того, такие вставки обостряют момент игры в тексте, т.е. текст при этом приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер: иронический, пародийный и т.д.

Неоднократное использование рассказчиком обращения *ваше сиятельство* по отношению к более богатому и знатному соседу указывает не только на некоторые социальные различия, но и на «одичалую застенчивость» говорящего, проявляющуюся в его речи.

При рассмотрении речи Сильвио, обращает на себя внимание большое число выражений типа *вы согласитесь, вы знаете, вы догадываетесь, вообразите себе*, выполняющих функцию установления и поддержания контакта между говорящим и слушающим. А использование бессознательных конструкций объясняется стремлением Сильвио как можно точнее и лучше раскрыть причины своего странного поведения: *Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного.*

Что же касается графа, то его речь наименее стилистически маркирована, хотя употребление им английского *the honey-moon* вместо русского *медовый месяц* несет в себе отпечаток уклада жизни героя.

Таким образом, речь персонажей имеет свои характерные, хотя и не ярко выраженные черты, проявляющиеся посредством использования метатекстовых средств. Кроме того, нельзя забывать о тесном взаимодействии метатекстовых единиц друг с другом, что также может выступать средством выражения множественной точки зрения. Как это происходит, напр., в такой фразе:

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная о себе скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

- *писал* — указывает на способ получения/передачи информации;
- *казалось* — вводное слово указывает на степень достоверности данных об авторе письма, подчеркивает неуверенность рассказчика;

- *(казалось, его поверенный по делам)* — сама вставка является комментарием рассказчика к неопределенному *кто-то*;
- *известная особа* — выделенное в тексте курсивом, это выражение является скрытой цитатой из письма поверенного Сильвио, причем курсив характеризует также степень важности данной информации, прежде всего для Сильвио.

Таким образом, в одном только этом предложении обнаруживается присутствие рассказчика, поверенного Сильвио (автора письма) и самого Сильвио. Причем здесь оказались использованы средства выражения метатекста почти всех групп: лексические, лексико-синтаксические, синтаксические, графические и цитация. И что самое важное, подобное взаимодействие, взаимопроникновение метатекстовых единиц обнаруживается на протяжении всего повествования. Следовательно, можно говорить о существенной роли метатекста в создании такой черты художественного произведения как полифонизм.

Итак, в результате наших наблюдений за функционированием метатекстовых единиц в художественных произведениях выяснилось, что метатекст является одним из способов моделирования текста, характеризуется большим разнообразием средств, выступает в роли выразителя авторского замысла.

ЛИТЕРАТУРА

- Вежбицкая А. 1978 — Метатекст в тексте. *НЗЛ*. Вып. VIII. М.
Виноградов В. В. 1963 — *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М.

К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ
РЕАЛИЙ В ПЕРЕВОДЕ
(на материале чешских переводов
произведений А. П. Чехова)

Людмила Рябова
(Тарту)

Перевод как акт языковой коммуникации может являться одним из минимальных контекстов, удобных для сопоставительного изучения языков. Различие между культурой отправителя и культурой воспринимающей среды усиливает противоречие между оригиналом и переводом. Единицы, сообщающие национальную, локальную окраску описанию, явственно связанные с бытом, культурой той или иной страны, являются часто трудно переводимыми из-за их тесной связи с предметным миром определенного народа. Такие слова не однородны, их роль в заимствующем языке различна, но все они сохраняют свою чуждость в новой языковой среде. Нечеткие границы предметного значения данного понятия приводят к отсутствию единства в терминологии¹. Для обозначения таких единиц мы используем термин *реалия*², принимая в качестве его трактовки особую категорию средств выражения. Реалии это «слова (словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому» [Влахов, Флорин 1986: 55]. Являясь языковыми единицами, реалии подчиняются законам соответствующего языка и представляют собой объект лингвистики, а от того, каким образом будет передана на язык перевода подобная единица, будет зависеть ее дальнейшее функционирование в новой языковой среде.

¹ Также встречаются термины «безэквивалентная лексика», «экзотическая лексика», реже «фоновая лексика», «варваризм» и др.

² Вполне осознавая его условность и тот факт, что, употребляя его, мы, по сути дела, подменяем обозначаемое обозначаемым, допуская при этом определенную терминологическую неточность, мы последовательно придерживаемся именно этого термина как наиболее точного.

При сопоставлении перевода с оригиналом в качестве основы исследования мы приняли принцип деления реалий с точки зрения их предметного значения, подробно остановившись на передаче этнографических реалий. Материалом исследования послужили переводы рассказов А. П. Чехова на чешский язык, выполненные тремя разными переводчиками³.

Условно разграничив переводные эквиваленты по способу их передачи на язык адресата, мы попытались выявить некоторые закономерности перевода тех или иных реалий. Всего нами было выделено 508 подобных единиц.

В 15% случаях мы имеем дело с транскрипцией. В основном, к этому числу относятся такие реалии, которые свободно фигурируют в словарях чешского языка (*samovar, piroh, vodka, válenky*). При многократном употреблении реалии приживаются настолько, что превращаются в заимствования, статус реалии в некоторой степени при этом утрачивается. Трудностей при передаче данной группы реалий не возникает, потому что в языке реципиента для их трансформации уже имеется определенный эквивалент, сохраняющий как значение, так и национально-исторический колорит лексемы:

Раньше она была за почтмейстером, привыкла у него к пиро-гам (Крыжовник).

Její zemřelý manžel byl poštmistrem, zvykla u něho pirohům (Angrešt).

Егор Саввич долго хмурится на графин с водкой (Талант).

Roztrpčený Savvič dlouho zamračeně pozoruje karafu s vodkou (Talent).

Сложности появляются тогда, когда необходимо передать на язык адресата такие языковые единицы, вопрос о статусе которых в заимствующем языке остается неясным. Решение вопроса о форме заимствованной реалии зависит от того, фигурирует она в словарях языка перевода, т.е. является словарной реалией, или нет. Словарные реалии входят в состав языка, и, стало быть, уже обладают зафиксированной формой в соответствии с правилами фонетики и орфографии принявшего ее языка. Однако расхождение в определении статуса реалии наблюдается уже на материале двуязычных словарей. Так, РЧС в качестве эквивалента лексемы *щи* приводит транскрибированный вариант *šči*, предлагая также словосочетания *polévka s zelím* ‘суп с капустой’ или *zelná polévka* ‘капустный суп’. В ЧРС единица *šči*

³ Рамки статьи не позволяют нам рассмотреть проблему влияния личности переводчика на текст.

отсутствует вообще. Подобную неоднозначность в предлагаемых словарями эквивалентах подтверждает материал перевода:

Totčas že podali ťi (Тяжелые люди).

Hned nato nalili šči (Nevlídní lidé).

Автор перевода использует транскрипцию для передачи данной реалии. Однако в большинстве случаев отдают предпочтение замене реалии на нейтральный (но неточный) эквивалент *polévka* 'суп':

Она садилась и кушала с ними ťi (Анна на шее).

Она přisedala ke stolu a jedla s nimi polévku (Анна на krhu).

Непосредственное содержание реалии передается, но при этом теряется национально-исторический колорит. В данном случае *ťi* — это определенное понятие, тесно связанное (в контексте той эпохи) с конкретной социальной прослойкой. Т.к. транскрипция может быть не совсем понятна чешскому читателю, а нейтральный эквивалент *polévka* не передает всех оттенков содержания, встает вопрос о наиболее адекватном варианте перевода. В наибольшей степени удовлетворяющим принципы перевода в данном случае может являться описательный вариант *zelná polévka*, тем более что этот эквивалент приводится в РЧС, а также в тексте перевода:

В обед ťi тебе и каша, в ужин тоже ťi и каша (Мужики).

K obědu byla zelná polévka a kaše, k večeři také zelná polévka a kaše (Na vesnici).

Остановимся на передаче реалий, обозначающих средства передвижения. В качестве эквивалента русской реалии *телега* РЧС приводит два адекватных *tělega* и *selský vůz*. В ЧРС подобные варианты отсутствуют. В материале перевода наблюдаем расхождение в выборе адекватов (даже при переводе одного контекста):

Вдруг он остановился около телеги и стал бить ее ногами (Мужики).

Stavil náhle u tělegy a začal do ní tlouci zadními nohama (Na vesnici).

Náhle zastavil u vozu a začal do něho bít zadními nohama (Mužici).

Схожее соотношение в выборе эквивалентов наблюдается при передаче другой сугубо русской реалии *тройка*. В РЧС и ЧРС дается указание на вариант *trojka*. В материале перевода имеется два способа для передачи данной реалии:

А Аня все каталась на тройках (Анна на шее).

A Aňa se pořád projížděla trojkou (Анна на krhu).

Купцы ему сказали, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках (Ванька).

Prodavači mu řekli, že dopisy vhažují do poštovních schránek a ze schránek že jsou rozváženy na potovských vozech (Vaňka).

Подобная вариативность в выборе эквивалентов характерна для перевода реалий. Чаще всего РЧС указывает на вариант транскрипции, иногда на описательный перевод. В ЧРС, как правило, предлагаемые адекваты отсутствуют. При переводе предпочтение отдается замене даже тогда, когда в чешском языке возможно передать искомую реалию как при помощи транскрипции, так и путем замены.

В 85% случаях реалии передаются путем замены чужой лексики, обозначающей ту или иную реалию, на свою, исконную. Так, значение реалии *бублик* переводится с помощью удачно найденного функционального аналога *preclík*:

В конторе покупателей угощали чаем с бубликами (Душечка).

V kanceláři zákazníci byli hoštěni čajem a preclíky (Dušenka).

При переводе реалий используется описательный вариант. В частности был найден подобный эквивалент для лексики *лапти* — *lýkové střevíce*. Варианта транскрипции в материале перевода мы не встречаем, хотя указание на эквивалент 'láptě' дается в РЧС. Такое соотношение дает нам возможность предположить, во-первых, высокую степень локальной ограниченности использования в обиходе подобной реалии, во-вторых, как следствие, ее малую освоенность языком адресата:

Ольга и Саша, с котомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет (Мужики).

Na zádech měly ranečky, na nohou lýkové střevíce a vyšly časně zrána (Na vesnici).

В другом случае переводчик просто делает замену, находя в чешском языке, как ему кажется, более или менее подходящий аналог:

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти (Налим).

Jefim chvíli mhoří oko na rybolov, potom stahuje opánky (Mník).

Однако такой вариант является не совсем приемлемым; ведь речь идет о современном наименовании *opánky* 'сандалии, босоножки'. Подобный эквивалент не передает ни национального, ни исторического колорита, значение реалии утрачивается, что недопустимо,

«поскольку реалия неотделима как от окружающей ее словесной ткани, так и от произведения в целом» [Репин 1970: 98].

Ответ на вопрос о большой вариативности переводных эквивалентов, а также различиях данных лексикографии надо искать в самой системе развития языка, которая по природе динамична. Какие-то заимствования (русизмы) исчезают из чешского языка, какие-то остаются, что особенно хорошо видно на примере перевода реалий. Этот процесс связан с функционированием самих понятий, обозначаемых реалиями, в действительности адресата (в данном случае чешской), какие-то понятия просто устаревают (напр., лапти, телега), какие-то были когда-то заимствованы (в основном в начале 19 века, напр., тулуп), но с течением времени отошли в «периферийный пласт» лексики. Механизм перехода реалий в словарный состав определенного языка (напр., в качестве заимствования) отображает процесс взаимодействия двух или нескольких языковых систем, а также отношения разных культурных парадигм.

При передаче реалий преобладает замена реалии чужой лексемой. Естественно, с такой тенденцией достичь наиболее адекватного перевода намного сложнее, ведь заменяя реалии, переводчик все-таки «стирает» национально-исторический колорит оригинала, однако постараться найти подходящий во всех смыслах эквивалент можно.

ИСТОЧНИКИ

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. М., 1986.

Čechov A. P. 1951 — *Výbor s díla*. Přeložil J. Hulák. Praha.

Čechov A. P. 1952 — *Povídky*. Přeložil F. Holešovský. Praha.

Čechov A. P. 1958 — *Melancholický dekameron*. Přeložil E. Frynta. Praha.

РЧС — Русско-чешский словарь в 6 т. Под. ред. Л. В. Копецкого и др. М.; Прага, 1952.

ЧРС — Чешско-русский словарь Т. 1–2. Под. ред. Л. В. Копецкого и др. М.; Прага, 1976.

ЛИТЕРАТУРА

Влахов С., Флорин С. 1986 — *Непереводимое в переводе*. М.

Репин Б. И. 1970 — Национально-специфические слова-реалии как особая часть лексики в переводимом произведении. *Теоретические и практические вопросы преподавания иностранных языков*. М.

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА РУССКИХ ПРИЧАСТИЙ И ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ НА ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

(на материале произведений
русской художественной литературы)

Ирина Соколова
(Тарту)

Как в русском языке, так и в чешском, причастие (Пч) совмещает в себе значение глагола и прилагательного. Несмотря на то, что по грамматическим показателям причастные системы в обоих языках близки, наблюдаются значительные различия в составе форм и в их функциональном наполнении.

В отличие от русского языка, в системе которого находим четыре причастные формы (настоящего и прошедшего времени действительного и страдательного залога), в чешском языке активно функционируют лишь два Пч: настоящего времени действительного залога типа *dělající* и прошедшего времени страдательного залога типа *dělaný/udělaný*. Пч на *-ný/-tý* несут большую функциональную нагрузку в сравнении с русским языком. Это связано с тем, что, во-первых, в отличие от русского в чешском языке отсутствуют страдательные Пч настоящего времени типа *делаемый*. И, во-вторых, действительные Пч прошедшего времени типа *делавший/сделавший* в чешском языке употребляются реже и являются достоянием письменного языка. Однако чешская причастная система располагает также и образованиями на *-lý*, например, *proběhlý* «пробежавший», которые грамматически и семантически полностью соответствуют формам на *-vší (-ší)*, но стилистически являются нейтральными.

Учитывая эти различия, рассмотрим, как переводятся на чешский язык русские страдательные Пч настоящего времени с суффиксом *-м-*, не имеющие абсолютных формальных чешских эквивалентов, и русские действительные Пч прошедшего времени с суффиксом *-вш- (-ш-)*, редко использующиеся в чешском языке.

Объектом данного исследования являются рассказы И. А. Бунина, А. П. Чехова и их перевод на чешский язык.

На основе собранного материала было выделено 350 единиц, содержащих в своем составе причастные формы. Из них около 80 при-

меров относятся к действительным Пч прошедшего времени с суффиксом -вш- (-ш-) и три к страдательным Пч настоящего времени с суффиксом -м- (речь идет о текстах на русском языке).

Проследим, какие грамматические и синтаксические средства чешского языка используются при переводе указанных причастных форм русского языка, и выясним, изменяется ли при этом семантика и грамматические показатели чешских Пч.

Как уже было отмечено выше, в чешском языке отсутствуют Пч, восходящие к праславянским *-m- формам. Интересно, что данный тип Пч отсутствует в большинстве современных славянских языков [Изотов 1992: 35]. Академик Б. Гавранек в книге «Genera verbi v slovanských jazycích» пишет, что суффикс -м- «в качестве причастного в современном чешском языке не функционирует и не функционировал никогда» [Изотов 1994: 53]. В отличие от русского языка, где для образования страдательных Пч используется два суффикса (-м-, -н-/-т-), в чешском языке суффикс -ný/-tý единственный, которым современный язык располагает для образования страдательных Пч. С учетом этого различия на основе собранного материала было выделено, как при переводе отражается значение русского страдательного Пч настоящего времени. Исследуемый материал располагает только тремя Пч с суффиксом -м-*:

а) *И она, улыбаясь, поднялась, пошла с ним среди столиков, **проводжаемая** восхищенными взглядами и рукоплесканиями* [Бунин, Чистый понедельник] (полн. ф., страд. з., наст. вр., НСВ, опр.).

*A ona s úsměvem vstala, vykročila s ním mezi stoly, **provázena** nadšenými pohledy a potleskem* [Bunin, Velkopostný pondělí] (кратк. ф., страд. з., прош. вр., НСВ, опр.).

В этом примере переводчик использует краткую форму Пч, вероятно, как более употребительную в чешском языке. Однако семантика остается равноценной русскому тексту.

б) *На потолке этот белый отсвет, а в углу дрожит **втягиваемая** разгорающимся огнем заслонка печки* [Бунин, Таня] (полн. ф., страд. з., наст. вр., НСВ, опр.).

*Na stropě tkví ten bílý odlesk a v koutě se chvějí dvířka kamen, **vtahovaná** rozhořívajícím se ohněm* [Bunin, Taňa] (полн. ф., страд. з., прош. вр., НСВ, опр.).

* Каждый пример сопровождается характеристикой грамматических показателей того или иного Пч и определением его синтаксической функции.

в) *Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви* [Бунин, Чистый понедельник] (полн. ф., страд. з., наст. вр., НСВ, опр.).

Sotva však jsem vyšel do dvora, už se z kostelíka vynořily na rukou nesené ikony a korouhve [Bunin, Velkoposťný pondělí] (полн. ф., страд. з., прош. вр., НСВ, опр.).

Во всех трех примерах страдательное Пч настоящего времени на -м- переводится на чешский язык Пч с суффиксом -nů, который формально относится к страдательному Пч прошедшего времени. При этом у чешских Пч сохраняется тот же видовой показатель, т.е. НСВ. В данном случае следует говорить о том, что страдательным Пч настоящего времени русского языка соответствуют в приведенных контекстах страдательные Пч прошедшего времени на -nů/-tů чешского языка, образованные от глаголов НСВ. Таким образом, подтверждается тот факт, что в сравнении с русским языком чешские Пч на -nů/-tů «несут большую функциональную нагрузку» [Широкова 1990: 252]. Иначе говоря, «имперфектные формы на -nů/-tů, выступающие в древнечешском языке как страдательные Пч прошедшего времени, заняли место отсутствующих в причастной системе -m- форм и были переосмыслены в качестве страдательных Пч настоящего времени» [Изотов 1992: 35].

С действительными Пч прошедшего времени с суффиксом -вш- (-ш-) дело обстоит несколько иначе. Данные формы в чешском языке не отсутствуют, но являются малоупотребительными и стилистически маркированными. Пч типа *proběhnivší* появились в чешском языке в начале 19 века под влиянием русского языка и искусственно внедрялись в чешскую причастную систему. Эти формы «д у б л и р у ю т временное значение исконно чешского причастия на -lý (*proběhlý*)» [Изотов 1992: 36].

В наших примерах только в одном случае Пч с суффиксом -вш- (-ш-) переводится на чешский язык подобной формой на -vší, что подтверждает ограниченное использование данного типа Пч в чешском языке:

Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт [Бунин, В Париже] (полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

Vstoupili do rozsvětivšího se vestibulu, pak do úzké zdviže [Bunin, V Paříži] (полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

Небольшая часть примеров содержит чешские Пч с суффиксом -lý, который и грамматически, и семантически полностью соответствует суффиксу -vší:

а) Когда глядел влево, видел **заросшую** сухими травами дорожку [Бунин, Поздний час] (полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

*Když jsem hleděl vlevo, viděl jsem cestičku **zarostlou** suchou travou.* [Bunin, Pozdní hodina] (полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

б) И, войдя, стала как дома **снимать** перед моим серо-серебристым, местами **почерневшим** зеркалом шляпку [Бунин, Муза] (полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

*Když vešla, začala si jako doma před mým stříbrošedým, místy **zčernalým** zrcadlem sundavat klobouk* [Bunin, Múza] (полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

На наш взгляд, небольшое количество таких примеров говорит также и об ограниченном употреблении в современном чешском языке форм на -lý. Кроме того, «образование этих форм ограничено непременными глаголами» [Изотов 1994: 53].

В остальных случаях переводчик прибегает к различного рода трансформациям. Напр., исследуемый тип русского Пч может быть представлен при переводе на чешский язык действительным Пч настоящего времени:

а) Дачники, **водившие** московских гостей гулять, говорили, что тут недостает только медведей [Бунин, Зойка и Валерия] (полн. ф., дств. з., прош. вр., НСВ, опр.).

*Letní hosté, **vodící** návštěvníky z Moskvy na procházku, říkali, že už to chybějí jen medvědi* [Bunin, Zojka a Valérie] (полн. ф., дств. з., наст. вр., НСВ, опр.).

б) И от постоянной сырости мои сапоги, **валявшиеся** под кроватью, обросли бархатом плесени [Бунин, Муза] (полн. ф., дств. з., прош. вр., НСВ, опр.).

*A mé holinky, **válející se** pod postelí, obrostly z věčného vlhka sametem plísň* [Bunin, Múza] (полн. ф., дств. з., наст. вр., НСВ, опр.).

Следует отметить, что во всех подобных примерах в русском тексте Пч образованы от глаголов НСВ. Переводчик использует Пч в настоящем времени, сохраняя при этом категорию вида (НСВ), категорию залога (дств. з.) и выполняемую Пч функцию (определение). Категория времени в данных примерах не вызывает существенных изменений в семантике. А сохранение категории вида позволяет более точно передать характер действия, выражаемого Пч.

В других случаях русские действительные Пч с суффиксом -вш- (-ш-) в переводе представлены как страдательные Пч прошедшего времени, т.е. наблюдается изменение залоговой категории:

а) Он среди разговора смотрел на ее **разгоревшееся** лицо [Бунин, В Париже] (полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

On hleděl mezi řeči na její rozpálenou tvář [Bunin, V Paříži] (полн. ф., страд. з., прош. вр., СВ, опр.).

б) *И хозяйева, одни или с гостями, сидели всегда на балконе, вдавшемся в дом* [Бунин, Зойка и Валерия] (полн. ф., страд. з., прош. вр., СВ, опр.).

A domácí páni, ať už sami nebo s hosty, sedávali vždy na předním balkoně, vklíněném do domu. [Bunin, Zojka a Valérie] (полн. ф., страд. з., прош. вр., СВ, опр.).

Как уже было отмечено, суффикс -нý/-tý является формантом страдательных Пч как в русском, так и в чешском языке. Однако в сопоставлении с русским чешские перфектные полные причастные формы на -нý/-tý «способны представлять причастные действия как в пассивной, так и в активной перспективе» [Изотов 1994: 56–57]. Залоговое значение этих форм может быть определено только в контексте. И наши примеры представляют собой, таким образом, адекватный перевод.

Прибегает переводчик и к такому средству, как изменение синтаксической организации текста, в результате которого в тексте перевода вместо Пч появляется либо глагол (что демонстрирует большинство подобных примеров), либо прилагательное, при этом семантическая эквивалентность текстов оригинала и перевода существенно не нарушается. Например, это трансформация следующего направления, когда на месте русского Пч в чешском тексте употребляется глагол:

а) *Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье* [Бунин, Дубки] (Пч. полн. ф., дств. з., прош. вр., НСВ, опр.).

Anfisa, která seděla a vyšívala, nechala pojednou klesnout šití na kolena [Bunin, Doubky] (Гл., прош. вр., НСВ, сказ.).

б) *...вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освещавших его* [Бунин, Таня] (Пч., полн. ф., дств. з., прош. вр., НСВ, опр.).

...nádraží bylo špinavé, páchl petrolej v lampách, které je matně osvětlovaly [Bunin, Taňa] (Гл., прош. вр., НСВ, сказ.).

Как правило, в таких примерах в русском тексте используется простое предложение с причастным оборотом, а в чешском – сложноподчиненное предложение.

Пч, используемые в данных примерах, в русском тексте образованы и от глаголов СВ, и от глаголов НСВ. И при переводе на чешский язык сохраняется не только эта категория, но и категория времени (прош. вр.), что в большей степени способствует адекватному восприятию чешского текста.

Отмечены также случаи, когда русские Пч с суффиксом вш- (-ш-) переводятся на чешский язык именем прилагательным:

а) Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем **обнажившийся** сад шумел беспокойно, торопливо [Бунин, Таня] (Пч., полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

Plula matně bílá olověná oblaka, dočista holý sad neklidně a uchvátaně šiměl [Bunin, Taňa] (Прил., опр.).

б) Она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно **почерневшими** глазами [Бунин, Три рубля] (Пч., полн. ф., дств. з., прош. вр., СВ, опр.).

Ležela s pokrývkou přitaženou až po bradu, plaše na mě hleděla už úplně černýma očima [Bunin, Tři ruble] (Прил., опр.).

Однако заметим, что в случае передачи русских Пч чешскими прилагательными, семантическое соответствие не является полным: в переводе отсутствует признак процессуальности.

В заключении отметим, что большинство примеров являются Пч, образованными от глаголов НСВ. Здесь реализуются две возможности: во-первых, использование иной категории времени; во-вторых, изменение синтаксической организации текста, когда вместо Пч в тексте перевода используется глагол. В случае с Пч, образованными от глаголов СВ, при переводе на чешский язык используются либо Пч с суффиксами -vší (-ší), -lý, -ný/-tý, либо глагол или прилагательное.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об оправданном стремлении переводчиков сохранить категорию вида у Пч при переводе.

ИСТОЧНИКИ

- Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. *Собр. соч.* М., 1988, Т. V.
 Чехов А. П. *Рассказы, повести.* М., 1976.
 Bunin I. *Pozdní hodina. Povídky o lasce a smrti.* Přeložil J. Zábrana. Praha, 1975.
 Tšehhov A. P. *Povídky.* Přeložil F. Holešovský. Praha, 1952.

ЛИТЕРАТУРА

- Изотов А. И. 1992 — Об ассиметрическом дуализме формы и содержания полных причастий современного чешского языка. *Вестник Московского Университета.* 9. Филология. М., 6. 34–39.
 Изотов А. И. 1993 — Система полных причастных форм в современном чешском литературном языке (в сопоставлении с русским). *Исследования по глаголу в славянских языках: Типология и сопоставление.* *Badania*

nad czasownikami w językach słowiańskich: typologia i konfrontacja. Warszawa, 135–146.

Изотов А. И. 1994 — Система полных причастных форм современного чешского литературного языка в сопоставлении с русским. *Славяноведение*. 1. 50–60.

Широкова 1990 — Широкова А. Г., Васильева В. Ф., Едличка А. *Чешский язык*. М.

К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ОМОНИМИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ (на материале чешского и русского языков)

Анна Галкина
(Тарту)

Предмет данной статьи — сравнительно-историческое изучение слов исконного происхождения двух близкородственных языков, чешского и русского, имеющих одну форму выражения, но различающихся по семантике; определение генетических связей между этими словами. Цель — показать, что пары лексем с межъязыковыми омонимичными отношениями восходят к общей семантике, но за период существования в разных родственных языках их значения разошлись.

Необходимо определить исходное значение слова, какой путь пройден им от этого первоначального значения ко всем позднейшим. При помощи историко-этимологического метода проследим изменение значений слов *рыхлый* и *быстрый* в русском языке и *rychlý*, *bystrý* в чешском. Следует отметить, что в современном чешском языке лексемы *rychlý* и *bystrý* синонимичны, с той разницей, что слово *rychlý* употребляется чаще в прямом значении (*rychlý kůň* = *быстрый конь*), а *bystrý* — в переносном (*bystrá hlava* = *умная голова*). В современном русском слова *рыхлый* и *быстрый* не имеют общих сем.

В исследовании мы опираемся на факты толковых, этимологических, исторических и двуязычных словарей.

Пары слов, подобные рассматриваемой (чеш. *rychlý*, рус. *рыхлый*), в лингвистике называют по-разному. Наиболее распространенные обозначения: межъязыковые омонимы, «ложные друзья переводчика», межъязыковые омонимичные отношения. В своей работе мы будем использовать термин *межъязыковые омонимичные отношения*. На наш взгляд, он наиболее полно отражает суть и характер явления, т. к. спектр значений таких межъязыковых отношений разнообразен: формально тождественные лексемы в разных языках могут существенно расходиться в значении, или же связь между двумя словами может четко прослеживаться, указывая на явную полисемию, а не на омонимию.

Рассмотрению подлежит чешско-русская пара формально сходных лексем омонимического характера, значения слов которой не пересекаются, но, в то же время, не противоречат друг другу.

Поскольку на современном этапе развития русского языка слова *рыхлый* и *быстрый* не имеют общих сем, наша задача — показать, что эти две лексические единицы имеют общие семантические корни, генетически близки, что подтверждают и данные чешского языка.

Началом исторического исследования слова является рассмотрение современной системы его употреблений и значений, поэтому рассмотрим значения русского слова *быстрый* по данным словарей современного русского языка:

1. Скоро перемещающийся в пространстве (*быстрое течение*).
2. Совершающийся в короткий промежуток времени (*быстрая смена впечатлений*).
3. Очень способный (*французы быстры на остроумные замыслы*).
4. перен. Проворный (*быстрый в работе*).

Все четыре представленные значения имеют общую семантику стремительного движения.

Значения слова *рыхлый* определены следующим образом:

1. Неплотный, рассыпчатый, мягкий (*рыхлый хлеб*). Пористый, легко разбивающийся, непрочный (*рыхлое дерево*).
2. перен. С тучным и дряблым телом (*рыхлая женщина*).

Теперь рассмотрим синонимичные значения чешских слов *rychlý* и *bystrý*. В двухтомном чешско-русском словаре под ред. Л. В. Копецкого и Й. Филиппа даны следующие эквиваленты чешской лексеме *rychlý*:

Быстрый, скорый (*о ходьбе, обслуживании*). Быстрый, стремительный (*конь, лодка, темп, движение, успех*); *rychlý spád událostí* — *быстрое развитие событий* [ЧРС 1973, 2: 280].

Необходимо отметить, что чешская лексема *rychlý* включает не все вышеперечисленные значения русского слова *быстрый*. Переносное значение выражается в чешском языке иной лексической единицей, а именно *bystrý*, которая при переводе на русский язык имеет следующие значения:

1. Быстрый, стремительный (*темп, ручей*).
2. Сообразительный, сметливый (*ученик*). Зоркий, пронизательный (*взгляд*); *bystrá hlava* — *умная голова*; *má bystrý postřech* — *он все верно схватывает*. Острый (*слух*), *bystrý zrak* — *острое зрение* [ЧРС 1973, 1: 75].

Таким образом, чешское прилагательное *bystrý* содержит в себе значения русского *быстрый*, а также и другие дополнительные значения, которые в русском языке словом *быстрый* не выражаются.

Итак, у слов *рыхлый* и *быстрый* в современном русском языке нет общих сем. Тогда как в чешском языке лексемы *rychlý* и *bystrý* синонимичны. Почему же произошли такие семантические трансформации славянских слов *рыхлый* и *быстрый* в системе двух близкородственных языков? Можно ли предположить существование единого источника их происхождения? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо заглянуть в прошлое языков, воспользоваться данными этимологии.

К сожалению, лексема *рыхлый* в «Этимологическом словаре славянских языков» под редакцией О. Н. Трубачева, в этимологических словарях русского языка Н. М. Шанского, А. Г. Преображенского отсутствует. Этимология русского слова *рыхлый* раскрывается в словаре М. Фасмера. Исследователь отмечает, что лексема *rychlý* существует в чешском, словацком, польском и лужицких языках (т.е. во всех западнославянских) со значением *быстрый*. М. Фасмер связывает эту лексему со словами *рух*, *рухло*, *рушить*. В свою очередь, *рух* означает «*суматоха, волнение, тревога*». Эта лексема, несущая в себе значение «*движения*», представлена также в украинском, белорусском, чешском, словацком, польском языках. Отсюда и слово *рушит* «*двигать, шевелить*» [Фасмер 1986, 3: 532, 524–525].

Данные о лексеме *рыхлый* есть и в Историко-этимологическом словаре П. Я. Черных, где лексема *рыхлый* также связывается со словами *рух*, *рушить*. П. Я. Черных также отмечает, что в западнославянских языках лексема *rychlý* имеет другое значение «*быстрый, поспешный, проворный*», но никак не объясняет подобные семантические расхождения. П. Я. Черных ссылается на И. Покорного, который относит эти слова к индоевропейской базе **geu-s* «*приводить в движение, раздражать, разрывать, взрывать, раскрывать с силой*» [Черных 1993, 2: 131].

В. Махек в Этимологическом словаре чешского языка не связывает чешское слово *rychlý* с лексемой *rušit*, он считает, что слово *rychlý* в значении «*быстрый*» именно западнославянское, четко отделяет его от русского *рыхлый*, которое восходит к *ruch*, *rušit*. В. Махек считает, что это две разные лексемы, восходящие к разным корням, с чем, по-видимому, согласиться нельзя [Machek 1957: 430].

Таким образом, исходя из данных этимологических словарей, первоначальное семантическое поле слова *рыхлый* можно опреде-

лить как 'движение', причем 'движение резкое, быстрое и направленное, нередко ведущее к отрицательным последствиям (разрушать, взрывать, раскрывать с силой)', такие значения и имеет современное чешское слово *rychlý*.

Теперь рассмотрим лексему *быстрый*. Мнения о происхождении этого слова довольно разнообразны. Прежде всего обратимся к «Этимологическому словарю славянских языков». Праформа **bystrъ (jъ)*: ст.-сл. слово **быстръ** имеет значение 'сметливый, быстрый, живой'; болг. *бѣстръ* 'чистый, ясный, прозрачный' (такие же значения это слово имеет в македонском, сербохорватском языках); в западнославянских языках лексема *bystrý* имеет значение 'быстрый, пронизательный, остроумный'. История слова **bystrъ* затемнена ввиду его относительной древности. Как отмечают исследователи, до сих пор нельзя считать окончательно решенным спор, какой из двух главных этимологий отдать предпочтение. Так, Ильинский, вслед за Маченауэром, считает более древними значения, связанные с духовным миром: 'ясный', 'пронизательный', 'бодрый'. Другая этимология, наиболее распространенная в настоящее время, связывает **bystrъ* с древнеисландским *bysia* 'вытекать с большой силой, вырываться' [ЭССЯ 1974, 3: 153–154]. Эта точка зрения представлена и в [Преображенский 1959, 1: 273; Фасмер 1986, 1: 260; Шанский 1963, 1: 245; Черных 1993, 1: 129].

В. Махек же считает чешское слово *bystrý* родственным древнеиндийскому *bhūsati* 'усердно заботиться'; автор предполагает, что первоначально оно представляло собой обозначения качеств только человека [Machek 1957: 52], с чем не согласны другие исследователи [Шанский 1963, 1: 245].

Итак, сравнивая данные словарей, можно предположить, что обе лексемы (чеш. *rychlý* и рус. *рыхлый*) все-таки имеют генетическую связь: у обоих слов присутствует общее значение **стремительного движения**, что подтверждается наличием в современном чешском языке синонимичной пары *rychlý ~ bystrý*. Производная основа довольно многозначна, но можно предположить, что два русских слова (*рыхлый* и *быстрый*) были все-таки семантически связаны. Нашу гипотезу подтверждают и данные исторических словарей русского языка. Напр., в словаре русского языка XI–XVII вв. зафиксировано следующее значение слова *рыхлый*: «Означает *быстрая* — название пищали (ср., ст.-польск. *rychły* — *скорый, быстрый*). "Пищаль железная, полковая, гладкая, прозванием Рыхлая; длина два аршина" (1668 год)» [СРЯ 1975: 278]. Т. е. оружие быстро, а значит хоро-

шо, эффективно функционирует (буквально: двигается). В этом же словаре приводится и наречие *рыхло*, означающее «скоро, вскоре» (ср., ст.-польск. *ruchło*). “Потом скоро рыхло цесарь умре” (1688 год)» [СРЯ 1975: 278].

Таким образом, современные слова *рыхлый* и *ruchlý* оказываются этимологически связанными не только формально, но и семантически.

ИСТОЧНИКИ

МАС 1981–1984 — *Словарь русского языка*. М.

Преображенский А. Г. 1959 — *Этимологический словарь русского языка*. М.

СРЯ 1975 — *Словарь русского языка XI–XVII вв.* М.

Фасмер М. 1986 — *Этимологический словарь русского языка*. М.

Черных П. Я. 1993 — *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. М.

ЧРС 1973 — *Чешско-русский словарь*. М.

Шанский Н. М. 1963 — *Этимологический словарь русского языка*. М.

ЭССЯ 1974 — *Этимологический словарь славянских языков*. М.

Machek V. 1957 — *Etimologický slovník jazyka českého a slovenského*. Praha.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЛАГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛЯШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Александр Шиндяпин
(Тарту)

Настоящая статья является второй из задуманного нами цикла, посвященного попытке составления грамматики ляшского литературного микроязыка. Особенности последнего исчерпывающе описаны во многих исследовательских работах [Дуличенко 1993; Дуличенко 1992; Hannan 1995; Hannan 1996].

Целью статьи является определение системы глагольных классов ляшского литературного микроязыка на основе текстов стихотворного сборника Ондры Лысогорского «Пусть ляшские реки текут к морю» [Lysohorsky 1958], включающего 129 стихотворений и словарь с комментариями поэта к ляшской графике и фонетике. Из этого, самого полного на протяжении многих лет, источника ляшской лексики нами была произведена сплошная экскерпция глагольных лексем. Необходимо отметить, что выявленные особенности спряжения ляшского глагола подобны таковым в местном верхнеостравском говоре [Bartoš 1886: 121–137; Loriš 1899: 54–69; Belic 1972: 303] и в чешском литературном языке.

Итак, наш источник позволяет заключить, что ляшский литературный микроязык реализует систему глагольных классов во многом подобно чешскому литературному языку, а именно — он различает 6 основных классов в зависимости от соотношения презентного и перфектного вариантов основы, а так же соотношения перфектной основы с корнем.

В 1 класс объединяются такие морфологические модели, в которых основа прошедшего времени совпадает с корнем, а в системе спряжения формы 1 лица ед. числа наст. вр. в изъяв. накл. имеет флексию *-и*. Это такие глаголы как *ñešć, ležć, žić, kryć*, а так же *brać, psać, rwać*. Материал дает возможность вывести здесь следующие модели глагольных основ.

1.а. *-Ø* — *-Ø-*, с нулевыми темами как в презентной, так и в перфектной основе.

	sg.	pl.
1	ňesu, žiju, možu	ňešemy, žijemy, možemy
2	ňešeš, žiješ, možeš	ňešeće, žijeće, možeće
3	ňeše, žije, može	ňesu, žiju, možu

Сразу же заметим, что в случае с глаголами *žić*, *moć* мы имеем дело с морфологическими изменениями под влиянием начальных согласных последующих морфем — суффиксов инфинитива и перфекта.

Эту парадигму поддерживает также атематический глагол *chcéć*, чем демонстрируется расхождение с чешским литературным языком, где этот глагол имеет особую парадигму спряжения.

	sg.	pl.
1	chcu	<chcémy>
2	chceš	chceće
3	chce	chcu

1b. -i-, -y-, -u- + -j- + -ø- — -i-, -y-, -u- + -ø-

	sg.	pl.
1	piju, kryju, <duju>	<pijemy, kryjemy, dujemy>
2	<piješ, kryješ, duješ>	<pijeće, kryjeće, dujeće>
3	pije, kryje, duje	piju, kryju, <duju>

1c. -ø- — -i-

	sg.	pl.
1	třu	třemy
2	<třeš>	<třeće>
3	tře	třu

1d. ø — -a-

	sg.	pl.
1	pišu, <rwu>, беру	<pišemy, rwemy, beremy>
2	<pišeš>, rweš, bereš	<pišeće, rweće, bereće>
3	piše, rwe, bere	pišu, rwu, беру

По этой модели изменяются так же глаголы по происхождению относящиеся к пятому праславянскому классу (по классификации Р. Нахтигала): *brać*, *psać*, *rwać*, однако в ляхском их сближает с первым классом то, что их основа совпадает с корнем.

2a. согл. + -n-/-n'- — согл. + -nu-/-nu-

	sg.	pl.
1	ćisnu	<ćisněmy>
2	<ćisněš>	<ćisněće>
3	ćisne	ćisnu

2b. гл. + **-n/-n'** — гл. + **-nu/-nu-**

	sg.	pl.
1	minu	<minémy>
2	<miňeš>	<miňeće>
3	miňe	minu

От чешских форм эти отличает наличие смягченного варианта суффикса **-n-** в формах третьего лица единственного числа. Мы предполагаем, что это явление могло коснуться и форм второго лица, т. к. подобное наблюдается на материале верхнеостравского диалекта [Bartoš 1886: 126–127; Loriš 1899: 57–58].

3. **-i-** — **-e/-e-**

	sg.	pl.
1	čnim, slyšim, <šumim>	<čnimy, slyšimy, šumimy>
2	<čniš>, slyšiš, <šumiš>	<čniće, slyšiće, šumiće>
3	čni, slyši, <šumi>	čňo, slyšo, šumio
	sg.	pl.
1	bojim, <spim>, wjém	<bojimy, spimy, wjémy>
2	bojiš, spiš, wješ	<bojiće, spiće, wjéće>
3	boji, spi, wjé	bojo, spio, <wjedzo>

4. **-i-** — **-i-**

	sg.	pl.
1	chodžim, młuwim	chodžimy, młuwimy
2	chodžiš, młuwíš	<chodžice>, młuwice
3	chodži, młuwi	<chodžo>, młuwio

5. **-a-** — **-a-**

	sg.	pl.
1	znóm, wołóm, <spjéwóm>	znómy, wołómy, <spjéwómy>
2	znoš, <wołoš>, spjéwoš	<znoće>, wołoće, <spjéwoće>
3	zno, woło, spjéwo	znaju, wołaju, spjéwaju

6. **-uj-/-'uj-** — **-owa-/-'owa-**

	sg.	pl.
1	kupuju, <wyjasňuju še>	<kupujémy, wyjasňujémy še>
2	<kupuješ, wyjasňuješ še>	<kupujeće, wyjasňujeće še>
3	kupuje, wyjasňuje še	kupuju, wyjasňuju še

7. **być**

	sg.	pl.
1	joch je, -ch je	smy, smy su
2	tys je, -s je	sće, sće su
3	je	su

В заключение хочется обратить внимание на сложную аналитическую форму этого глагола в первом и втором лице единственного числа, образованную с помощью формы третьего лица единственного числа, с которой употребляется, как правило, личное местоимение с личным окончанием. Это наращение энклитического происхождения представляет собой реликт аориста и способно присоединяться, видимо, не только к местоимению, но и к любой лексеме, находящейся в препозиции. Нами отмечены сочетания с прилагательными, личными и указательными местоимениями и союзами.

ИСТОЧНИКИ

Lysohorský Ō. *Aj lašské řěky plynu do moře*. Praha, 1958.

ЛИТЕРАТУРА

- Дуличенко А. 1993 — Литературная ляхтина Ондры Лысогорского в контексте западнославянских языков и в связи с литературными микроязыками современной Славии. *Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов*. М. 151–161.
- Дуличенко А. 1992 — О ляхском литературном языке. *Umeleckí a lidský odkaz básníka Ōndry Lysohorského*. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd. 114–115.
- Дуличенко А. 1992 — Феномен Ондры Лысогорского: один человек — один язык. *Umeleckí a lidský odkaz básníka Ōndry Lysohorského*. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd. 104–113.
- Дуличенко А. 1981 — *Славянские литературные микроязыки*. Таллин.
- Bartoš Fr. 1886 — *Dialektologie moravská*. 1díl. Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské. Brno.
- Belic J. 1972 — *Nastín české dialektologie*. Praha.
- Hannan K. 1995 — Some unpublished poems of Ōdra Lysohorsky. *Oxford Slavonic papers*. New series, Oxford. Vol. 28: 98–123.
- Hannan K. 1996 — K lingvistickému prehodnocení Lysohorského literární laštiny. *Ōndra Lysohorsky 1905–1989*. Kolokvium uskutečnené ve dnech 8.–10. Cervna 1995 u příležitosti nedožitéh 90. narozenin básníka. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd. 39–47.
- Loriš J. 1899 — Rozbor podřečí hornomoravského na Slezsku. *Rozpravy Akademie české císaře Františka Jozefa pro vědy, slovesnost a umění*, Roč. VII, tř. III, č. I. Praha.

СИСТЕМА ПРЕДЛОГОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЛЯШСКОГО ЯЗЫКА (на фоне родственных языков)

Марина Третьяк
(Тарту)

В современной славистике в качестве актуальной выдвинута проблема региональных, или локальных литературных языков, называемых также литературными микроязыками — термин и понятие, введенные профессором А. Д. Дуличенко [Дуличенко 1981]. Без изучения таких локальных литературно-языковых образований картина славянского языкового мира была бы неполной.

В Чехии проблема локальных литературных языков дискутируется на протяжении всего XX в. Примечательно то, что попытки создания таких языков предпринимались и предпринимаются на периферии чешского языкового ареала. Известно, например, стремление поставить вопрос о т.н. моравском языке с целью создания литературного языка. Проект такого литературного языка создан, например, З. Шустеком и опубликован в 1998 г. в сборнике кафедры славянской филологии Тартуского университета «Языки малые и большие...» [Šustek 1988].

Попытки культивировать в Силезии ляхский литературный язык наблюдаются с 30-х гг. XX в. и связаны с именем О. Лысогорского.

Ондра Лысогорский (Óndra Łysohorsky) родился в 1905 г. в Силезии (Фридек-Мистек), где население говорит на местном диалекте, совмещающем в себе элементы чешского и польского языков. Необходимо отметить, что население этой территории проживало в условиях билингвизма — сильное влияние немецкого языка отразилось и на системе образования, дети вынуждены были посещать немецкую школу.

В этой сложной этноязыковой ситуации и возникла мысль о создании локального литературного языка. В период с 1931 г. по 1977 г. О. Лысогорским было написано около 550 стихотворений на ляхском языке, языке, который поэт считал своим родным языком. В 1988–1989 гг. вышло в свет собрание сочинений О. Лысогорского в двух томах. В первом томе собраны все ляхские тексты, во втором — переводы ляхской поэзии О. Лысогорского на немецкий

язык. Его поэзию переводят и издают на многих языках — русском, немецком, английском, французском и др. Дважды (в 1966 г. и 1969 г.) его кандидатуру выдвигали на соискание Нобелевской премии. В годы эмиграции в СССР О. Лысогорский был дружен со многими поэтами — Б. Пастернаком, М. Цветаевой и др., которые переводили его поэзию на русский язык. Поэтому можно говорить о некотором парадоксе: творчество О. Лысогорского за границей известно в большей степени, чем на родине поэта.

Ляхский литературный язык базируется на верхнеостравском говоре, синтезирующем в себе элементы чешского и польского характера. Достоверно известно, что при создании основ ляхского литературного языка О. Лысогорский опирался на классические работы таких чешских диалектологов, как Ф. Бартош и Я. Лориш [F. Bartoš 1886, J. Lóriš 1899]. При этом он не ограничивался материалом базового говора, а использовал также элементы чешского и польского литературных языков, обращаясь и к словацкому языку.

К сожалению, грамматики ляхского языка до сих пор нет, что не дает возможности в должной мере осознать и изучить ляхский лингвистический феномен. Кафедрой славянской филологии ТУ разрабатывается проект создания такой грамматики на материале текстов прежде всего самого О. Лысогорского. Одной из задач этого проекта является описание морфологии знаменательных частей речи ляхского литературного языка, другой — выделение и описание служебных частей речи. Таким образом, настоящая статья — это лишь небольшой фрагмент второго направления.

В рамках большой темы (создания грамматики) обратимся к некоторым аспектам предложной системы ляхского языка. При этом, исследуя ляхский лингвистический феномен, невозможно обойти стороной ни базовый говор, на который опирался О. Лысогорский (т.е. ляхский верхнеостравский), ни окружающий его чешский и польский языки, ни язык словацкий, с которым О. Лысогорский был связан большую часть своей жизни (жил в Братиславе, где и умер в 1989 г.).

Итак, цель нашей работы — извлечь из корпуса ляхских текстов инвентарь предлогов ляхского языка (преимущественно производных, а также части наречных) и сопоставить его, с одной стороны, с верхнеостравским базовым говором, с другой — с чешской, словацкой, польской системами предлогов. Материал для описания ляхских предлогов извлекался нами из сборника О. Лысогорского «Aj lašske řěky płynu do moře» [Łysohorsky 1958].

То особое положение, которое занимают предлоги в лексической и грамматической системах, постоянно привлекает к ним внимание исследователей. С одной стороны, предлоги отличаются простой морфологической формой, с другой же — широким спектром употребления и различной функциональной нагрузкой.

Обратимся к работам представителей чешской диалектологии Ф. Бартоша и Я. Лориша, на которые опирался О. Лысогорский при создании ляхского литературного языка, и проследим отражение предложной системы в их трудах для сравнения с ляхским языком. Описание системы предлогов в исследуемом языке является результатом проекции его системы на системы других языков (чешского, словацкого, польского). Для наглядности представляем таблицу предлогов в базовом говоре и в четырех вышеназванных языках.

F. Bartoš	J. Loriš	O. Łysogorsky	чеш. ЛЯ	слвц. ЛЯ	пол. ЛЯ
bez	bez (beze)	bez	bez (beze)	bez	bez (beze)
do	do	do	do	do	do
k (ku)	k (ku)	k (ku)	k (ke, ku)	k (ku)	ku
mezi	mezy	medzy	mezi	medzi	między
na	na	na	na	na	na
nad	nad	nad	nad (nade)	nad (nado)	nad (nade)
o	o	o	o	o	o
od (ode)	od (ode)	od	od (ode)	od (odo)	od (ode)
po	pō	po	po	po	po
pod	pod	pod (pode)	pod (pode)	pod	pod (pode)
pro, pre	pro	pro	pro	pre	(dla)
před	před	před	před (přede)	před (předo)	przed (przede)
přes	—	přes	přes (přese)	cez	przez (poprzez)
při	při	přý	při	pri	przy
s, z (ze)	s, z	s (se), z (ze)	s (se), z (ze)	s (so), z (zo)	z (ze)
—	—	u	u	u	u
v (ve)	v (ve)	w (we)	v (ve)	v (vo)	w (we)
za	za	za	za	za	za
zpod	zpod	zpod	zpod	spod	spod
vedle	vedle	wedle	vedle	vedl'a	wedle
vedlé	vedleva				(według)

vedli vedlevá podle podlé podlá podlevá podlivá	podleva	—	podle	podl'a	podług
—	—	blizko	blízko	blizko	blisko
—	—	namjésto	místo	namiesto	zamiast
kole	—	kole	kolem	—	koło
—	—	około	około	okolo	około

Сравнение материала ляхских говоров с ляхским литературным языком показало, что абсолютное большинство предлогов в живом базовом говоре и ляхском языке совпадают. Следовательно, ляхский язык не является искусственной языковой системой, как пытались доказать некоторые исследователи (особенно чешские), он опирается на элементы живого говора.

Из таблицы видно, что кодификатор ляхского языка подходил в некоторых случаях избирательно к вводимым формам.

Рассмотрим несколько примеров.

1) Предлог **и**, напр., не зафиксирован в базовых говорах, поэтому О. Лысогорский, опираясь на крупные славянские языки, выбирает единственно возможную форму **и**:

диал. база	ляшск. ЛЯ	др. слав. яз.
	✓	и (чеш.)
—	и ←	и (слвц.)
	↖	и (пол.)

2) Кодифицируя предлог **medzy**, О. Лысогорский отказался от формы, близкой к чешскому **mezi**. Он выбирает **medzy**, приближаясь тем самым к словацкому предлогу **medzi** и, с другой стороны, — к польскому **między**:

диал. база	ляшск. ЛЯ	др. слав. яз.
		mezi (чеш.)
mezy	medzy ←	medzi (слвц.)
mezi	↖	między (пол.)

3) Кодифицируя предлог **pro**, О. Лысогорский отдает предпочтение форме **pro**, ориентируясь на чешский язык и не принимая словацкого

pre и польского *dla*. Т.е. О. Лысогорский остается в рамках диалектной базы, подкрепляя это чешским языком.

диал. база	ляшск. ЛЯ	др. слав. яз.
	✓	pro (чеш.)
pro	→ pro	pre (слвц.)
pre		dla (пол.)

4) Предлог *přes* в ляхском языке идентичен ляхскому диалектному *přes*, который находит свое отражение в трудах Бартоша. При этом он согласуется с чешским *přes*, а также с польским *przez*. Как и в случае с предлогом *pro*, где вариант, близкий к словацкому *pre*, не задействован, так и здесь специфический словацкий предлог *cez* не был принят во внимание:

диал. база	ляшск. ЛЯ	др. слав. яз.
	✓	přes (чеш.)
přes	→ přes	cez (слвц.)
	↗	przez (пол.)

5) Интересен случай с наречным предлогом *wedle*. С одной стороны, здесь отмечается влияние диалектной базы, с другой — чешского и польского языков. Предлог *vedlé* не мог быть принят, т.к. в ляхском языке оппозиция по долготе и краткости гласного отсутствует:

диал. база	ляшск. ЛЯ	др. слав. яз.
a) vedli	✓	vedle (чеш.)
vedle	→ wedle	vedl'a (слвц.)
vedlé	↗	wedle (пол.)
vedleva	około	
vedlevá	kole	
b) podlé		
podlá		
podleva		
podlevá		
podliva		

6) Наречный предлог *namjésto* не отражается в диалекте, здесь О. Лысогорский ориентируется на словацкий язык:

диал. база	ляшск. ЛЯ	др. слав. яз.
		místo (чеш.)
—	namjésto ←	niemisto (слвц.)
		zamiast (пол.)

Эти случаи демонстрируют вариантность подходов при кодифицировании предлогов.

Обнаруженный нами механизм подбора, обработки и закрепления конкретных составляющих элементов в предложной системе ляхского литературного языка лишний раз доказывает, что О. Лысогорский обладал тончайшим языковым чутьем, что и отразилось в его способах кодификации грамматических норм ляхского языка. Кроме того, данный анализ, как нам кажется, убеждает в том, что ляхский язык своими элементами и правилами их оформления опирается на живую речь, а потому не может быть квалифицирован как искусственно созданный язык.

ИСТОЧНИКИ

- Bartoš F. 1886 — *Dialektologie moravská. První díl. Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské*. Brno.
 Loriš J. 1899 — *Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku*. Praha.
 Lysohorsky Ó. 1958 — *Aj lašské řeky plynou do moře*. Praha.

ЛИТЕРАТУРА

- Дуличенко А. Д. 1981 — *Славянские литературные микроязыки. Вопросы формирования и развития*. Таллин.
 Šustek Z. 1988 — *Otázka kodifikace spisovného moravského jazyka. Jazyky malé a velké... Slavica Tartuensia, IV*. Tartu. 128–143.

КАШУБСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА *-OSC*, *-OTA*
КАК СООТВЕТСТВИЯ ПОЛЬСКИМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ
НА *-OŚĆ*, *-STWO* В «ПОЛЬСКО-КАШУБСКОМ СЛОВАРЕ»
Я. ТРЕПЧИКА: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ

Элена Романчик
(Тарту)

«Польско-кашубский словарь» Я. Трепчика содержит большое число новообразований, являясь своего рода проектом кашубского литературного языка в лексической его части. Большая часть неологизмов выступает вместе с многочисленными дериватами. Кроме того, среди неологизмов появляются синонимичные формы. В результате одной польской лексемы в словаре может соответствовать до 11 кашубских.

Используемые способы словообразования просты и прозрачны: чаще всего используются собственно-кашубские корни и аффиксы, однако, очень часто архаичные. При этом постоянно присутствует намеренное отталкивание от польского языка: из набора вариантов, как правило, выбирается «самый непольский» [Pop.-Taboř. 1996: 50–53]. Важно отметить, что возможности выбора довольно велики, т.к. в кашубском языке отмечается большое число аффиксов, нехарактерных для польского языка. Определенные унаследованные с праславянской эпохи словообразовательные модели в кашубском языке характеризуются очень высокой продуктивностью.

Естественным образом встает вопрос, какие словообразовательные средства оказываются наиболее востребованными, как реализуются, и в чем заключается их специфика.

Настоящая статья является небольшим фрагментом исследования, посвященного кашубским эквивалентам польской лексики на *-ość*, *-stwo*. Из большого числа формантов, участвующих в образовании кашубских соответствий: *-osc*, *-ota*, *-izna* (*-ężna*), *-ina* (*-ėna*), *-stwo*, *-aniė*, *-eniė*, *-awa*, *-ba*, *-ėnk*, *-unk* и др., мы остановимся на двух: исторически непосредственном соответствии польскому *-ość* — кашубском *-osc* и наиболее близкой по функции и типу образования формации на *-ota*. Первый том словаря Я. Трепчика дает нам следую-

щий материал для анализа: польских существительных на -ość — 677, кашубских существительных на -osc — 535, на -ota — 400 лексем.

Т.к. традиционно кашубский язык рассматривается в соотнесении с польским, начнем с описания польского суффикса -ość, который является очень продуктивным, а для некоторых классов основ прилагательных даже категориальным. Формации на -ość образуются также от основ числительных, глаголов, существительных, местоимений, но, по сравнению с отадективными образованиями, это довольно малочисленные группы. Существительные на -ość образуются только от основ качественных прилагательных, т.е. от прилагательных, поддающихся номинализации. Среди них можно выделить группы, которые не могут стать основой деривации существительных на -ość:

1. Прилагательные с деминутивным и аугментативным значением, типа *mały*, *superwytworny*.
2. Прилагательные, образованные путем сложения двух равноправных адективных основ, типа *biało-czerwony*, *polsko-niemiecki*.
3. Сращение прилагательных, напр., *ciemnozielony*, *jasnoszary*.

Кроме того, существительные на -ość редко возникают на основе прилагательных на -any (зафиксировано только 18 слов); -niczy, -owniczy (12 дериватов); -ący (только *łśniący* и *milczący*, но эти дериваты стилистически маркированы [Grzegorzczukowa, Puzynina 1979: 107]). Редки также сочетания с суффиксами, более характерными для притяжательных и относительных прилагательных: в первую очередь, это отсубстантивные прилагательные на -i/y, типа *koci*, *borsuczy* (ср.: *kruczy* 'принадлежащий ворону, свойственный ворону' — существительное на -ość невозможно; и в значении 'иссиня-черный' → *kruczość*).

Вышесказанное вполне справедливо и для кашубского -osc: в рассмотренном материале не встретилось ни одной формы на -aosc и -(ow)niczosc и только 2 деривата на -anosc (*krėwianosc* 'полнокровность' и *bezkrėwianosc* 'малокровие, анемия'). Это тем более интересно, что суффикс -ap- распространен в кашубском языке значительно шире, нежели в польском, являясь одной из характерных черт прилагательных. Напр., *mączany* 'мучной' — польск. *mączny*; *złocany* 'золотой, золотистый' — польск. *złoty*, *złocisty*; *deszczany* 'дождливый, дождевой' — польск. *deszczowy*. Даже то обстоятельство, что в кашубском языке часто наблюдается вторичная суффиксация, и к каждому из приведенных примеров легко присоединяется не вносящий нового значения суффикс -n- (*mączanny*, *senianny* и т.д.), не объ-

ясняет описываемого феномена, т.к. образований на *-annośc* также не зафиксировано¹.

В отличие от польского языка, где формант *-ota* является мертвым и дериватов с его участием немного (в SJPD отражено около 40 лексем), в кашубском языке *-ota* очень продуктивен, прежде всего, при образовании *nomina abstracta*. Особенно распространен этот формант в северной и центральной диалектной зоне, см.: [AJK IX]. Однако, как отмечает Е. Тредер, «в словаре Трепчика частотность этого суффикса значительно выше из-за активного использования при образовании неологизмов, напр., *jistnota* 'истина' — польск. *absolut*, *kręjamnota* 'скрытность' — польск. *skrytość*, *czestnota* 'мир, покой' — польск. *mir*» [Treder 1994: 473]².

Таким образом, можно говорить о двух факторах, влияющих на многочисленность дериватов на *-ota* в словаре Трепчика:

1. Распространенность в живом языке;
2. Интенсивное использование при образовании неологизмов.

Совершенно необходимо учитывать оба эти обстоятельства, т.к., по свидетельству всех исследователей, писавших о языке Трепчика, «ему присуще тонкое чувство языка и исключительный вкус», его неологизмы очень органичны в системе языка. В то время как новообразования, предложенные А. Лябудой, «в значительном числе случаев <...> не внушают значений, которые должны передавать, легко; и, представляется, что книжки, написанной при помощи

¹ Вторичная суффиксация свойственна не только для прилагательных на *-an-*, но и для прилагательных в целом (*blady* — *bladny* 'бледный', *skąpy* — *skąpny* 'скупой'), а также для местоимений (*chiŕny* 'который') и порядковых числительных (*jednŏstny* 'одиннадцатый', *pięcdziesiąty* 'пятдесятый').

² Заметим, что Трепчик следует в этом традиции А. Лябуды. Ср.: «Этот <...> формант с большим пристрастием используют кашубские писатели, особенно Я. Трепчик и А. Лябуда» [Treder 1981: 99]. Активным использованием производных на *-ota* отличается язык произведений Я. Карновского. У всех названных авторов это «пристрастие» объясняется, прежде всего, принципиальным стремлением к избежанию совпадения кашубских лексем с польскими и акцентированию различий между языками. Показательно и то обстоятельство, что употребление существительных на *-ota* используется как средство стилизации кашубской речи в художественных текстах.

“Словаря” А. Лябуды, урожденный кашуб без этого же словаря понять будет не в состоянии»³ [Pop.-Tabor. 1996: 289].

Мы подчеркиваем это обстоятельство, т.к. оно дает нам основания говорить о явлениях в области морфотактики, наблюдаемых в словаре Я. Трепчика, как о свойствах системы кашубского языка.

У Тредера читаем о суффиксе *-ota*: «Он настойчиво вытесняет функционально тождественный суффикс *-osc*» [Treder 1994: 473]. Эти суффиксы действительно очень близки с точки зрения словообразования. Существительные на *-ota* чаще всего образуются от прилагательных с теми же ограничениями, что и для *-osc* и польского *-ość*; реже от существительных (*biédota* ‘бедняк’: *biéda*); от глаголов (*chrôchota*: *chrôchac* ‘хрипеть’ — польск. *ochrzpłość*); от местоимений (*samota* ‘одиночество’: *sam* — польск. *samotność*⁴; *jinota* ‘разница’: *jiny*; *nicota* ‘ничто, небытие, нирвана’: *nic* — польск. *nicosość*); числит. (*jednota* ‘любовь’: *jeden*).

Нередко форманты *-osc* и *-ota* образуют абсолютно равноправные лексические дублеты: *bogobójnosc* — *bogobójnota* ‘богобоязнь, страх Божий’, *dosłownosc* — *dosłownota* ‘дословность, буквальность’ и др. В 30 случаях образования на *-ota* и *-osc* являются соответствиями одной и той же польской лексемы на *-ość*. По свидетельству Е. Тредера [Treder 1994: 474], это вполне согласуется с положением в живом языке. Он же отмечает, что в ряде случаев происходит разделение по семантике, напр., *przikrota* ‘конуша’ — *przikrosc* ‘неприятность, досада’. Рассматриваемый нами материал позволяет выделить 54 подобных случая, но при этом невозможно говорить о какой-либо систематической дифференциации. Кроме того, нами зафиксировано 12 случаев, когда одной польской лексеме соответствуют образования и с *-osc* и с *-ota* (при одинаковых основах), а другой — только один из этих дериватов, напр.: *całkowitość*: *całkowity* ‘полный, сплошной, непрерывный’ — *całownota*, *całownosc*; *całość* ‘цельность, целое; полнота, неповрежденность’ — *całownota*.

Такие случаи можно объяснить как отражение нескольких обстоятельств:

1. Пары кашубских слов в пределах одной словарной статьи правильнее называть синонимами, имея в виду неполную тождествен-

³ Речь идет о словаре А. Labuda «Słownik kaszëbsko-pòlsczi». Gdańsk, 1982.

⁴ Обращает на себя внимание элемент *-ot-* в основе польского слова, как свидетельство существования в старо-польском языке формы, сходной с кашубской: *samotność*: *samotny*: *samota*.

ность их значений. Именно такой случай демонстрируют приведенные выше примеры;

2. Речь может идти об омонимах, как, напр., *golota* = *golosc* и *golota* 'бедный человек, нищий' — это значение не может быть выражено с помощью деривата на -osc. Заметим, что для форманта -osc (так же, как и для польск. -óś) несвойственно образование существительных со значением лица-носителя признака. В этом, пожалуй, и состоит самое большое функциональное различие между -osc и -ota: последний довольно регулярно используется с таким значением.

3. Определенную роль может играть и человеческий фактор: вводя в словарь неологизмы, в одном случае лексикограф предлагает альтернативный вариант, а в другом просто забывает о такой возможности.

Представить детальный анализ семантики, необходимый для выделения более частных причин указанного явления, не позволят рамки настоящей статьи.

Обратим внимание на некоторые явления морфотактики, которые позволяют четче определить формальные ограничения использования формантов -osc и -ota, а, следовательно, сделать некоторые выводы об их дистрибуции.

1. Прежде всего заметим, что формации как на -osc, так и на -ota чаще всего образуются от прилагательных на -n-, что объясняется чрезвычайно высокой продуктивностью этого суффикса⁵. Однако они демонстрируют разную степень продуктивности этого типа⁶: формации с -osc составляют 32,5% от всех рассмотренных образований на -osc; формации с -ota — 73,5% от всех дериватов на -ota. Т.е. при номинализации прилагательных на -n-/-ni значительно чаще используется формант -ota.

На основы со всеми другими адъективными аффиксами приходится 12% образований с -ota и 53,25% формаций на -osc. Но сочетаемость рассматриваемых формантов с разными суффиксами опять-таки неодинакова.

2. Суффиксу -ota отдается предпочтение еще в двух случаях, хотя говорить о них можно с известной осторожностью из-за малочисленности дериватов.

2.1. Прилагательные на -lěw-: случаев сочетания с такими основами в нашем материале 110 (2,75% от всех дериватов на -ota), напр.,

⁵ Ср. участие -n- в двойной суффиксации.

⁶ В отличие от образования существительных от непроемных прилагательных, где частотность обоих формантов практически одинакова: 14,25 % всех случаев на -osc и 14,5 % всех случаев на -ota.

jagodlëwota 'спокойствие', *kochlëwota* 'влюбчивость'; сочетаний с -osc только 4 (0,76%): *droblëwosc* 'делимость', *gorzlëwosc* 'горючесть', *niecierplëwosc* 'нетерпение, нетерпеливость', *strahoblëwosc* 'боязливость'.

2.2. -iw(-ëw): 9 существительных на -ota (2,25%), напр., *chcëwota* 'жадность, алчность', *łaszczëwota* 'нега', и лишь 2 на -osc (0,38%): *nieutcëwosc* 'бесславление', *niepròwdzëwosc* 'фальшь'.

Возможно, что отмеченное преимущество форманта -ota носит случайный характер; тем не менее, приведенные данные позволяют скорректировать общие ограничения образования существительных на -osc: кроме общих с польским языком случаев деривации прилагательных на -any, -niczi (польск. -niczy) и -ący, существительные на -osc исключительно редко образуются от прилагательных на -lëwy и -iwy(-ëwy).

3. Предпочтение отдается форманту -osc:

3.1. В сочетании с отглагольными прилагательными на -ł-: сочетания с -osc — 78 случаев ($\approx 15,75\%$) при 5 образованиях на -ota (1,25%): *dbałota* 'забота, старательность', *grężłota* 'бремя', *nabuszniłota* 'напыщенность, высокопарность', *widzałota* 'величественность, статность', *zgniłota* 'прозябание, праздность'. В этих случаях количественная разница настолько значительна, что едва ли можно объяснить ее как случайность.

3.2. В сочетании с прилагательными на -owy: 40 дериватов на -osc (7,6%) напр., *dëchowosc* 'духовность', *jałowosc* 'бесплодие', и только 2 на -ota: *urzędowota* 'бюрократия', *nieprawidłowota* 'ошибка; несправедливость'.

4. Возможно только образование на -osc, т.е. не зафиксировано ни одной формы на -ota:

4.1. Малочисленны дериваты на -osc от основы прилагательных на -(ow)aty: 44 слова (14%) — *wiatrowatosc* 'легкомыслие', *seniowatosc* 'тенистость'.

4.2. От прилагательных на -ki(-czi): 30 случаев (почти 6%), напр., *lëtkosc* 'лѣгкость', *lëdzkosc* 'человечество'.

4.3. 4% образований на -osc составляют производные от прилагательных на -ony, напр., *nieminionosc* 'неизбежность'.

4.4. От 1,5 до 2% (8–11 слов) приходится на формации -awosc, -istosc, -ónosc и -tosc: *cemnawosc* 'чернявость', *sromistosc* 'стыд', *niekórónosc* 'безнаказанность', *umiartosc* 'хилость'.

Причины того, что в перечисленных случаях нет образований на -ota, могут быть разного порядка. Так, напр., сочетания типа *-owatota, *-istota, *-totota не очень удачны с фонетической точки зрения, в то

время как нераспространенность сочетаний типа -onota или -owota фонетическими причинами объяснить трудно.

В рамках настоящей статьи мы не ставили себе цели дать интерпретацию обнаруженных фактов, но попытались, во-первых, обозначить тенденции в распределении -osc и -ota по формальному признаку и тем самым указать на неполную их эквивалентность и неодинаковый словообразовательный потенциал; во-вторых, выявить основы, от которых не могут образовываться существительные на -osc и (или) -ota.

Итак, существительные на -osc не образуются или образуются крайне редко от основ прилагательных на -any, -(ow)niczy, -ący, -iwy(-ėwy), -lėwy. Существительные на -ota не образуются от основ на -ący, -(ow)nizcy, -any, -ony, -óny, -ły, -ty, -ki(-czy), -(ow)aty, -isty, -owu, -awu. Возможно, в ходе анализа семантических особенностей дериватов удастся выявить дополнительные принципы дистрибуции формантов -osc и -ota в кашубском языке.

СОКРАЩЕНИЯ

- AJK IX — *Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów są siednich*, zes. IX. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
SJPD — *Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego*. Warszawa, 1958–1969.

ИСТОЧНИКИ

- J. Trepczyk. *Słownik polsko-kaszubski*. Gdańsk, 1994. T. 1.

ЛИТЕРАТУРА

- Grzegorzczkova R., Puzynina J. 1979 — *Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksálne rodzime*. Warszawa.
Pop.-Tabor. 1996 — H. Popowska-Taborska, W. Boryś. *Leksyka kaszubska na tle słowiańskim*. Warszawa.
Treder 1981 — E. Breza, J. Treder. *Gramatyka kaszubska*. Gdańsk.
Treder 1994 — *Język i leksykon Jana Trepczyka: J. Trepczyk. Słownik polsko-kaszubski*. Gdańsk, 1994. T. 2.

КОНЦЕПТ ГРЕХА В СЕРБСКОМ НАРОДНОМ ЯЗЫКЕ

Екатерина Якушкина
(Москва)

Формирование лексико-семантического поля морали в славянских диалектах происходило путем развития «этической» семантики у относящихся к другому полю слов или корней. Так семантика греха в общеславянском корне *грех-* развилась на основе семантики кривизны по схеме: 'кривой' — 'не такой, как положено', 'отклоняющийся от нормы', 'ошибка', 'нравственно неправильное поведение', 'грех' [ЭССЯ]. Ср. серб.: *грех* 'ошибка', 'телесный недостаток', *грехом, по греху* — 'по ошибке', *грешка* 'ошибка', 'недостаток', *грешън* 'ошибочный', *грешати* 'промахнуться, не попасть в цель', 'ошибаться', 'оступать от правила' (ср.: «Верят, что фруктовое дерево будет в принесении плодов *грешати*, то есть в один год родит, а на следующий нет») [КСАНУ], *грешити* 'ошибаться', 'плохо работать', *грешика* 'очень мелкий виноград'¹.

Вторая семантическая мотивировка значения 'грех' — это семантика нечистоты. Значение греха как нечистоты, скверны имеет в некоторых говорах сербского языка корень *мрс-*: «нельзя убивать змею, которая встречается по осени: она *мрсник*, т. е. грешник, потому что она в это лето укусила кого-то, и ее земля не принимает»; «есть женщины *мрснице*, которые убивают своих детей после родов» [Митровић 1984], при серб. *мрсан* 'скоромный' и 'жирный, нечистый' (о посуде), *мрсити (се)* 'есть жирное', 'спаривать скот', 'спаривать-

¹ Таким же образом этическая семантика развилась у других корней с семантикой кривизны: *-крив-*, *-нак-*, *кос-*. Ср.: *крив* 'искривленный, не прямой' — *кривци* 'петухи, поющие не вовремя, напр., во время ужина', *крив* 'сделавший что-то непопущенное, виноватый', *кривити* 'обвинять'. *Опак* 'перевернутый, повернутый в обратном направлении' — *пакља* 'человек плохо выговаривающий звуки', *опак, пакосан* 'плохой, злой'. *Кос* 'косой' — *косец* 'злой человек', *окос* 'злой', *окосити се* 'рассердиться'. У корня *-прав-* с исконной семантикой 'прямой, несогнутый, ровный', напротив, развивается семантика нормы и положительной этической оценки.

ся' [Станић 1990]), *мрсан* 'турок или вообще мусульманин' [Елезовић 1932], ст.-сл. *мръсънь* 'безобразный, отвратительный', болг. *мръсен* 'грязный, нечистый, непристойный', мак. *мрсен* 'жирный, скоромный' [ЭССЯ]. Подобная семантическая связь отражена и в представлении об очищении (буквально смывании) грехов: *опрати грех* 'смыть', *чистити се од греха*, *грех се тере* 'стирается'.

В сербском поэтическом фольклоре семантика греха мотивируется семантикой нарушения закона: слова *безакоње* и *незаконство* выступают как синонимы для слова *грех*: *јесте боже незаконство: ... неслуша пород* 'дети' *родитеља*; *тешко* 'тяжелое' *безакоње*: *не поштуе млађи старијега* 'не уважает младший старшего'².

Анализ семантики слова *грех* и его производных, а также мотивирующей основы слов с семантикой греха позволяет четко обозначить границы того, что языковая личность воспринимает как грех. Прежде всего к сфере греха относится половая жизнь вообще, любые сношения между мужчиной и женщиной, отсюда: *по греху син*, *брат*, *отац*, *родитељ* 'по крови, родной' [Вук 1935]. Соответственно *без греха брат*, *син* означает 'неродной, названный', *грешно дете* — 'некрещенный ребенок, т.е. еще не очищенный от греха' [JAZU], *згришит* 'вступить в интимные отношения' [Peić, Bačlija 1990].

Грехом называется блудный грех, внебрачные отношения или (для девушки) отношения до брака: *како би га ја родила кад се нисам удавала ни за грије познала* (Богородица отвечает при Благовещении), 'как бы я его родила, если я ни замуж не выходила, ни грехов не знала' [КСАНУ]; в этом случае обычно при словах *грех*, *грешит* присутствует дополнение с кем-то: *не само што је гријешао с другима него се и првој жени повраћао* 'не только с другими грешил, но и к первой жене возвращался' [JAZU]; *гријешати*, *погријешити*, *згријешити* (о девушке или женщине) 'отдаваться, вступать в сношения с другим мужчиной, не с мужем (для замужней женщины)': *У нас ћевојке раније нијесу гријешиле, сад богами свашта има* 'у нас девушки раньше не грешили, а сейчас, ей-богу, всяко бывает', *грешка* (о девушке) 'сношения с мужчиной' [Станић 1990], *грешница* 'блудница' («в речи этим словом часто заменяют слово *курва*, как неприличное» [JAZU]). Примечательно, что и во фразеологии именно блудный грех маркируется как особо отвратительный,

² Связь концепта закона с моральной сферой присутствует и в диалектной речи: ср., *намуз*, 'честь', от греч. *νομος* 'закон'.

«греховный»: *нечисти грех, непоштен* ‘бесчестный’ грех — ‘блудный грех’ [JAZU].

Грехом также считается забеременеть без мужа: *грјешница* ‘женщина, которая забеременеет без мужа’, в Дубровнике [JAZU], родить внебрачного ребенка; *погрјешити* [Станић 1990], сделать аборт: «*грешнице* называются женщины, которые убивают детей до родов» [КСАНУ].

Интересна оценка как греха материнского молока — факт редкий (имеющий место в одном из сврлижских говоров) и поэтому трудно поддающийся толкованию. Составитель сборника народных песен южной Сербии Д. Симонович указывает на наличие у слова *гре(ј)* значения ‘молоко’ (без конкретизации). Контексты же, в которых реализуется эта семантика, свидетельствуют о том, что речь идет не просто о молоке (в этом случае правомерно было бы предположить оценку как греховной скоромной пищи), а именно о материнском молоке: *бездетка жена греј нема* ‘у бездетной женщины нет молока’, *јалова коза гре нема* ‘у яловой козы нет молока’ [Симоновић 1988]. Представление о греховности материнского молока засвидетельствовано, например, и в западной Белоруссии, где распространено поверье, что душа умершего младенца попадает в рай, если он не пробовал материнского молока [Толстая].

Грехом считается работа в праздники и в воскресенье: *греговати* ‘работать по праздникам’ [Вук 1935]: *Овај је светац у великом поштовању... и неће нико... на његов дан греговати (радити)* ‘Этот святой очень почитается, и никто не будет в его день *греговати* (работать)’ [КСАНУ], *Мицак је празник,ће опрости Бог ако греујемо дњњс* ‘Мицак — праздник, Бог простит, если будем сегодня *греговати*’ [КСАНУ]. Оценочный компонент значения может в данном глаголе и утрачиваться, полностью вытесненный конкретной семантикой: *дњњс је Павлодњн, греује се* ‘сегодня Павлов день, грешат (можно грешить, т.е. работать)’ [КСАНУ].

В метонимическом развитии у слова *грех* значения ‘бес, черт’ проявилась ассоциация возникновения греха с деятельностью дьявола: «В том ребенке были *грехи*, сохрани Боже... Ребенок кривлялся, мучился, лаял, страшно было смотреть и слушать. Эта дьявольщина всякие чудеса выкидывала с этим малым, поднимет его и посадит на верх яблони...» [Там же].

Своеобразие оценки, выражаемой словами *грех, грехота*, заключается в том, что ее субъектом является Бог. При глаголе *згрешити* или *гријоту учинити* ‘согрешить’ устойчиво употребляется дополне-

ние Богу: *Што је, кучко, богу згријешила, те се мучи муках жестокијех?* ‘Чем ты, сучка, богу согрешила, что мучаешься муками жестокими?’ [Там же], а при слове *греота* определение *од Бога*, или при *грех* — *божји*: *Ово је глава једног господара. Греота је од Бога једнога, да је кљују орли и гаврани*. ‘Это голова одного господина. Грех перед Богом единственным, чтоб ее клевали орлы и вороны’³.

В народном сознании существует определенная иерархия грехов. В основе обозначений степени греха лежит признак величины, веса и силы: *велики, голем грех, мали грех, мањи грех* [КСАНУ], ср. также наличие деминутива от слова *грех*: *нити грех нити гришии* ‘вообще не грех’; *грдан* ‘огромный’ *грех*. Осознание греха как тяжести проявляется и в глагольной сочетаемости лексемы *грех*: грехи «ташат», «волочат», «взваливают»: *влачим грејове* [Златковић 1989], *притиснут од гријехова, обременен гриси, има грех на себи, гриси напђен* ‘нагружен’ [JAZU]. Грех воспринимается и как некое пространство, в которое «входят»: *мани се оди това, у голем гре че улезнеш* ‘брось это, в большой грех войдешь’ [Златковић 1989], или бездна, в которую «падают»: *пасти у грех*. По народному представлению, существует некий текст, где содержится список грехов человека, — *књига-греховница*, с чем соотносится фразеологизм *уписивати, писати у грех* ‘считать за грех’: «то се, сине, у грех не писује» [Симоновић 1988]. Грех, как и любое аморальное поведение, считается грязью: *Вода све опере осим грехоте*.

Местом, где находятся грехи, считается душа: *гре му* ‘ему’ *на душу* [Златковић 1989], *гријех на материну душу* [КСАНУ], *ако ме превариш на твоју душу греј* ‘если меня обманешь, на твою душу грех’ [Митровић 1984]. *Грешан* фигурирует при слове *душа* как постоянный эпитет: *Тако ми грешне душе* [Вук], *моја грешна душа, душа гришница* [JAZU], *греовна душа* [КСАНУ]. Ср. также: *узе га на душу* ‘ложно свидетельствовал против кого-то’ [Елезовић 1932] *опростити душу* ‘простить грех’.

Грешный поступок, совершенный с благой целью, народной моралью не осуждается, а даже одобряется и считается *севапом* (добрым, или точнее, богоугодным делом, которое обеспечивает душе место на том свете) или *поштеним* ‘честным’ *грехом*: *што је севап*,

³ Так же стабильно как при слове *грехота* употребляется определение *од Бога*, при слове *срамота* употребляется определение *од људи, људски*: *Да ми није од људи срамоте, Да ми није од Бога греоте...* ‘Если б мне не было стыдно перед людьми и грешно перед Богом...’ [КСАНУ].

бог прашта на ако је гр'ота! 'что севап, Бог прощает, даже если это грех' [КСАНУ] Или: *онакога би било севап смаћи с овога свијета* 'убрать такого с этого света, был бы севап'. В южнославянской прозаической традиции чрезвычайно распространен сюжет о великом грешнике, убившем 99 человек, который искупает свой грех, убив человека, намеревавшегося на свадьбе оговорить невесту, что считается самым тяжким грехом.

В народе часто говорят: кто знает, чьи он грехи искупает (*испашта*). Может быть, он наследовал эти грехи, кто-то что-то сделал, а он их искупает, ни за что ни про что (*испашта ни крив ни дужан*). Так говорят о человеке, который жил праведно, и вдруг на него обрушились несчастья [Записи автора]. Представление о наследуемом грехе (*наследни грех*) непосредственно связано с поверьем о том, что рождение детей с физическими недостатками — кара за грехи предков. Осознание недостатка (физического, душевного) как результата наказания задает семантическую модель: 'наказание' — 'какое-то отклонение от нормы'. Ср. также: *катизма* 'наказание' — 'личный порок, недостаток' [Митровић 1984].

Семантика глаголов, связанных с понятием прощения: *простити*, *опростити* 'развязать, освободить' *грех*, *кривицу* 'вину'; *одрешити* 'отвязать, развязать' *грех*, свидетельствует о восприятии греха как о чем-то сковывающем, о путах, связывающих человека или его душу: ср.: *ослободити се од греха*, *заплести се у грех*, *уплести се у грех* [JAZU].

Рассмотренное нами «языковое» отражение народных представлений о грехе — лишь один из компонентов этого концепта традиционной культуры. Две другие сферы, где содержание этого понятия раскрывается особенно ярко, фольклор и область представлений, связанных с бытовым правом, дают совершенно иную картину понимания греха, чем язык, что может стать предметом отдельной работы.

ИСТОЧНИКИ

- JAZU — *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Zagreb, 1880–1876.
 Peić M., Bačlija G. 1990 — *Rečnik bačkih Bunjevaca*. Novi Sad–Subotica.
 Вук 1935 — Карацић В. *Српски рјечник иступачен њемачкијем и латинскијем рјечима*. Београд.

- Елезовић Г. 1932 — Речник косовско-метохијског дијалекта. Св. I–II. *Српски дијалектолошки зборник*. Београд, књ. IV.
- Златковић Д. 1989 — Фразеологија страха и наде у Пиротском говору. *Српски дијалектолошки зборник*. Београд, књ. XXXV.
- КСАНУ — Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (картотека материјала).
- Митровић Б. 1984 — Речник лесковачког говора. Лесковац.
- Станић М. 1990 — Ускочки речник. Beograd, књ. 1–2.
- Толстая С. — Грех в славянской мифологии. Рукопись.
- Филировић М. 1972 — Таковци. *Српски Етнографски Зборник*. Београд, књ. 84.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд.

ЛИТЕРАТУРА

- Вук 1953 — Карацић В. *Српске народне пјесме*. Београд, књ. I–IV.
- Симоновић Д. 1988 — *Народне пјесме из источне и јужне Србије*. Beograd.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА *HUMAN BEING* В АВСТРАЛИЙСКОЙ АНГЛОФОННОЙ КАРТИНЕ МИРА

Татьяна Козлова
(Запорожье)

В современной лингвистике изучение вопросов, связанных с вербализацией культурных концептов, становится все более актуальным, что обусловлено активизацией научного интереса к проблемам взаимозависимости языка и культуры, к обнаружению типов корреляций и корреспонденций этих феноменов, см.: [Логический 1991, 1995; Понятие 1994; Булыгина, Шмелев 1997; Вежицка 1999].

Язык, и культура антропоориентированы. Обозначения «человека» в науке рассматриваются и в статическом, и в динамическом аспектах [Логический 1999], что позволяет выявить черты, которые в первую очередь фиксируются носителями данного языка. Вместе с тем выбор типов номинаций отражает фундаментальные особенности языкового и культурного знания [Гак 1998: 578–579].

Представления о *human being* люди формируют, как правило, на основе наблюдений над собственным этносом. При этом языковой образ «человека» изменчив: с одной стороны, он различен в разных языках; с другой — трансформируется в ходе развития одного языка. Особые модификации возникают в ситуациях этнических контактов социумов различного культурного типа.

В центре нашего внимания находится ситуация лингво-культурных контактов, возникшая вследствие заселения австралийского материка англофонным этносом. Адаптация британских поселенцев к новой среде обитания сопровождалась трансформациями в сфере культуры и языка, которые в значительной мере были детерминированы инокультурным (автохтонным) влиянием австралийского локуса. Внедрение в новое этническое окружение неизбежно приводит к необходимости номинации представителей автохтонного социума. При этом лингво-культурный образ *human being* формируется за счет переосмысления исконных культурных представлений на основе

информации, полученной в ходе наблюдений за представителями контактирующей стороны.

Цель настоящей работы заключается в выявлении особенностей вербальной реализации культурного концепта *human being* в процессе номинации автохтонного населения Австралии британскими поселенцами. Предметом анализа послужили отобранные из [CAND 1992] лексические единицы с обязательным компонентом значения 'местный житель, абориген'.

Гипотетически преобладающим фактором рассматриваемой нами номинации должен быть процесс заимствования из автохтонных языков. Однако результаты анализа показывают, что из 137 отобранных лексем 106 представлены английскими единицами и только 26 — заимствованиями из туземных языков (5 единиц составляют заимствования из прочих языков). Рассмотрим экстралингвистические и языковые факторы, которые, по нашему мнению, объясняют данную языковую ситуацию.

В европейском и, соответственно, в британском контексте с понятием *human being* связан сложный комплекс ассоциаций: 'human', 'sex', 'kinship', 'age'. Отдельные признаки реализуются по-разному за счет перераспределения соотношения сем в структуре лексического значения.

В наивной картине мира европейцев *human being* воспринимается в дихотомии «бог — человек», «человек — животное», см.: [Гамкрелидзе, Иванов 1984]. На шкале ценностей «бог — человек» *human being* распределяется в модусе *низший*, а на шкале «человек — животное» — в модусе *высший*. Установление дихотомии на новой почве приобретает иное соотношение: «бог — человек (белый)», «человек (белый) — животное (абориген)». Поэтому в качестве мотивирующих основ номинации выступают лексемы, содержащие сему 'животное' (*buck, cleanskin, rock ape, stud*): *buck* — AuE 'a large male kangaroo', 'an Aboriginal male'; *cleanskin* — AuE 'an unbranded animal', 'an Aboriginal who has not passed through an initiation rite'; *stud* — 'a horse-breeding establishment; the animals kept there', *stud (gin)* — AuE 'an Aboriginal woman as a source of a white man's sexual gratification'; *ape* — 'a monkey; a large monkey without a tail or with a very short one', *rock ape* — AuE 'a derogatory term for a (black) person'.

Признак 'sex' проявляет наибольшую устойчивость, что видно на примере единиц, семантическая структура которых включает сему 'male': *benjamin, blackfellow, tribesman, woodman* (ср. и.-е. *man-* (*mon*), англ. *man*, нем. *Mann*, рус. *муж, мужчина*). Отметим, что мужские

имена количественно преобладают над женскими, что, по-видимому, является следствием универсального характера значимости культурно-социальной роли мужчины¹.

Историко-этнографические исследования свидетельствуют о том, что у австралийских аборигенов всегда существовало не социально-экономическое, а половозрастное разделение труда: «while... *gins* are occupied in searching for their daily food, the '*Warriors*' and the '*Benjamins*' are out hunting in the Bush», цит. по [CAND 1992: 39].

Одним из самых древних индоевропейских терминов, обозначающих 'person' является, по словам К. Воткинса [Watkins 1993: 1576], *man-* (*mon-*), обозначающий 'человек, мужчина' (термин сохранился в сскр., англ. *man* и рус. *муж*, *мужчина*). Значения соответствующих терминов в языках австралийских аборигенов при заимствовании системой английского языка были сужены до 'абориген, мужчина'. Напр., *coolie* [a. Wemba-Wemba *guli* 'person'] 'the consort of an Aboriginal woman'; *yammagi* [a. Watjari *yamaji*] 'an Aboriginal; an Aboriginal male'.

В европейской культурной системе такие общие наименования как «человек, мужчина» и «женщина» четко противопоставлены. С одной стороны, «нейтральному» *человеку, мужчине* у древних германцев, напр., «противостоит отрицательно маркированная «женщина» — могучая, воинственная валькирия или колдунья» [Топорова 1996: 86]. С другой стороны, одним из ведущих в индоевропейской мифологии является положительно маркированный образ женщины в метафорическом значении 'мать сыра Земля': напр., по скандинавскому мифу бог-громовержец Тор рожден Землей (*lörðh*) [Афанасьев 1995: 342]. У древних греков мать-земля предстает в образе богини Геи, породившей первое поколение богов, включая верховного Зевса. У русских язычников материнское начало, выраженное в культе матери-земли, с принятием христианства распространилось на Богородицу [Успенский 1989: 32]. Так образ женщины становится в индоевропейской культуре олицетворением материнства, источника жизни, тепла и добра.

В австралийской культурной системе появляется метафорический образ женщины-судьбы: *lubra* «lubra of luck» — «So we grew gamblers, tough, hard-bitten, taking the *Lubra* of luck for a mistress»,

¹ 30 единиц со значением 'абориген' включают сему 'мужчина', т. к. мужчина в племени — основное действующее лицо: воин (защитник), охотник (кормилец), знахарь и шаман (опекун). Всего лишь 9 слов включают в своем значении сему 'женщина'.

цит. по: [CAND 1992: 318]. На наш взгляд, сама метафоризация женского образа — это следствие влияния европейских культурных корней. А тот факт, что в качестве мотивирующей основы номинации выбрана единица с автохтонными ассоциациями² способствует закреплению этнической специфики за словом. Таким образом, признак половой принадлежности все же претерпел определенные модификации в системе заимствований под влиянием европейских культурных корней.

Анализ данной лексики показывает, что особенности отражения антропоцентрической сферы в языке зависят от взгляда номинатора на происходящее, его точки зрения и реализации его интересов [Топорова 1996: 86]. Так, напр., лексические единицы со значением 'туземка' содержат в своей семантике признак 'a source of white man's sexual interest': *stud (gin)* 'an Aboriginal woman as a source of a white man's sexual gratification', (*black*) *velvet* 'an Aboriginal woman as the focus of a white man's sexual interest; sexual intercourse with an Aboriginal woman'.

Отметим, что признак «an Aboriginal woman as the focus of a white man's sexual interest» используется в качестве мотивирующего в наименованиях белых поселенцев: *combo*, *gin*, *murlonga* — 'a white man who sexually exploits an Aboriginal woman', *bunji-man* 'a white man with a predilection for an Aboriginal woman'; *gin shepherd* 'a white man who cohabits with an Aboriginal woman', а также 'one who seeks to prevent the sexual exploitation of Aboriginal woman by white men'.

Менее четко выражен признак 'kinship', в связи с тем, что основное верование австралийских аборигенов — тотемизм — основано на идее родства человека с тотемом, которого почитают как предка. Такие понятия, как «отец», «мать», «сестра», «жена» и т.д. имеют (весьма отличное от европейского) групповое значение.

В индоевропейской культурной системе терминология родства выстраивается в соответствии с патриархальной линией: основной в происхождении считается мужская линия (жена и дети принимают мужскую фамилию). Отец *pāter* и его супруга *māter* воспринимаются как единое целое, 'глава дома', фамилия (ср. англ. family). Кровно-

² Хотя этимология *lubra* окончательно не установлена [CAND 1992: 317], некоторые лексикографические источники указывают на тасманийское происхождение слова [Morris 1973: 274, Chambers 1983: 748]. Поэтому можно предположить, что лексема несет в себе прямые австралийские автохтонные ассоциации.

родственные связи по мужской линии определяются термином *brāter-* (*brother*), значение которого включает не только понятие 'общего отца и матери', но и как, например, в греческом *phratēr* 'мужчина, член клана' [Watkins 1993: 1588].

В AuE отсутствует сам термин *family* или какие-либо другие его возможные заменители для обозначения групп и кланов местных племен. С этой целью используются слова *tribe* 'a traditional Aboriginal community; a company of Aborigines'; *mob* 'an Aboriginal community'; *moiety* 'one or two units into which an Aboriginal people is divided, esp. on the basis of lineal descent'.

Родственные отношения в сознании австралийского аборигена выходят за пределы рода и распространяются на жителей всего континента (даже на дружественно настроенных белых поселенцев). Член чужого племени считается 'старшим братом'. Из индонезийского диалекта было заимствовано слово *boong* [а. Jakarata *bung* 'elder brother'], которое обозначает в AuE 'a name for an Aboriginal' и 'an indigenous inhabitant of New Guinea, Malaysia, etc.'

Под влиянием европейской интерпретации данных об автохтонном социуме в семантической структуре заимствований может быть выделена сема «жена»: *gin*, *squaw*, *queeai* 'an Aboriginal woman, wife'.

Признак 'age' в английских лексических единицах не является доминирующим в семантической структуре слова, в то время как его наиболее яркое проявление можно найти в заимствованиях: *piccaninny* 'an Aboriginal child', *weei* 'an Aboriginal boy', *cooboo* 'an (Aboriginal) baby'. По нашему мнению, культурная значимость признака 'age' в дихотомии «ребенок — взрослый» связана с прохождением ритуала инициации, в результате чего индивид получает новый социальный статус (юноши становятся охотниками, воинами): *kipper* 'an Aboriginal male who has been initiated into manhood', *cleanskin* 'an Aboriginal who has not passed through an initiation rite'.

Имеются наименования для мужчин старшего поколения: *burka*, *old man*, *elder*, *pinnaroo* 'an Aboriginal elder'. Старейшины пользовались авторитетом у членов племени, поэтому и для них использовались наименования английского происхождения: *wise man*, *clever* 'learned in traditional lore'. На этих членов племени возложена задача вхождения в контакт и умиротворения высших сил, что в обществе европейского типа практически соответствует деятельности священнослужителей. Поэтому в качестве наименования европейцами была использована также единица *priest* 'koradji'.

В реальной жизни функции австралийских магов весьма разнообразны и носят общественный и практический характер. Напр., в обязанности некоторых старейшин входит изгонять злых духов и болезни, поэтому их называют *doctor* и *medicine man* 'koradji', другие же, напротив, призваны совершать особые обряды мести, наложения заклятия, порчи и получили такие наименования как *kurdaitcha*, *feather foot* 'one who undertakes a mission of vengeance'. Особым именем обозначены те, кто проводит церемонию дождя — *rain-man*, *rain-maker*, исполняет традиционные песни племени — *songman* 'an Aboriginal who memorizes and performs the traditional songs of a community'. В данной подгруппе лексики количественно преобладают лексемы со значением 'колдун, маг'. Наиболее древними по происхождению являются термины, заимствованные у аборигенов: *koradji*, *boylya*, *warra-warra*, которым соответствуют появившиеся позднее термины колонистов, такие как *sorcerer*, *conjuror*, и *wizard* — 'an Aboriginal having recognized skills in traditional medicine and (frequently) a role in ceremonial life'.

Значимость гражданских общественных функций старейшин, определяла основную форму правления у племен австралийских аборигенов, которая представлена геронтократией. Сведения этнографии о том, что институт вождей у австралийцев распространяется на старейшин, дают нам основания полагать, что такие единицы как *elder*, *old man*, с одной стороны, и *chief*, *king* 'an Aboriginal elder' и *queen* 'a consort of an Aboriginal leader', с другой стороны, соотносятся с одним и тем же денотатом и могут рассматриваться как единицы с тождественной семантикой.

Лингвистический материал свидетельствует о том, что социальная стратификация чуждого этнического коллектива воспринималась европейцами сообразно привычной иерархии, столь отличной от австралийской. При этом универсальный характер организации человеческого общества и ментальности обеспечил в целом правильное ее понимание.

В процессе номинации представителей автохтонного этноса кроме перечисленных выше основных признаков активизируется и становится мотивирующим дополнительный компонент 'цвет кожи', который приобретает актуальность в ситуации контакта этносов европеоидной и негроидной рас. Отметим, что в основе этого процесса лежит базовая этнокультурная оппозиция «свой — чужой».

Терминология расовой принадлежности сформирована преимущественно за счет фонда английских единиц. Производящей основой послужили различные единицы, у которых значение 'черный цвет'

выражен эксплицитно — *black* ‘черный’, *negro* ‘негр’, *darkskin* ‘темнокожий’, *dusky* ‘темный, сумеречный; смуглый’, *swatser* ‘черный’ (нем.), а также может быть имплицирован — *ebony* ‘черное дерево’, *coon* ‘енот’. Все эти единицы употребляются в AuE в значении ‘*full-blood, a person of unmixed race*’. Для обозначения метисов в качестве мотивирующей основы использованы единицы, обозначающие смесь цветов (по цвету кожи контактирующих групп): *brindle* ‘двухцветный’, *creamy* ‘кремовый’, *yellow* ‘желтый’ — ‘*a person of part-Aboriginal, part-white descent*’.

Поскольку на новой шкале ценностей понятие «абориген» располагается в «низшей» сфере, коннотативно-оценочные компоненты номинативных единиц, содержащих сему ‘местный житель’, проявляют тенденцию к сдвигу в сторону негативного модуса. Расовая терминология является центральной сферой аттракции негативных квалификаций вокруг понятийного ядра «абориген». В качестве основного элемента негативного ореола может быть выделена лексема *black*, которая входит в состав активного словаря на протяжении всей истории AuE: *black* — ‘an Aboriginal’. Ее негативные коннотации настолько интенсивны что, по-видимому, оказали влияние на генезис семантической структуры лексемы *white*, которая употребляется как белыми поселенцами, так и аборигенами (на уровне Australian Pidgin). Ср.: *black, blackman* ‘an Aboriginal’, *white, whiteman* ‘of British or European descent’. Единицы *black fellow, fella, feller* употребляются в AuE в значении ‘an Aboriginal’. В их состав входит компонент «*fellow*» — синоним слова *man*, который широко употребляется на уровне пиджина, как и сочетания *white fellow, fella, feller* ‘a non-Aboriginal person: alien to the Aborigines’. Таким образом, и *black fellow* и *white fellow* могут быть охарактеризованы как обладающие сниженной и даже негативной оценкой и функционирующие в сфере низкого социального регистра. Сочетание *black brother* ‘an Aboriginal’ употребляется пейоративно, *white brother* ‘a non-Aboriginal male’ — окрашено иронией. Для обозначения ‘женщины из племени аборигенов’ употребляются такие единицы как *black gin / girl / lubra*. Для обозначения ‘белой женщины’ на уровне Australian Pidgin существуют термины *white gin / lubra*. Аналогичными являются в AuE противопоставления *black native* ‘an Aboriginal’ — *white native* ‘a non-Aboriginal person born in Australia’; *black population* ‘аборигены’ — *white population* ‘белые поселенцы’.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.

Миграция британского этноса на австралийский континент привела в результате этнических контактов с местным населением к модификации культуры, менталитета, мировоззрения и языка поселенцев. В сфере культурного концепта *human being* наблюдается особая динамика. В процессе номинации коренного населения Австралии англоязычным этносом культурные коннотации вокруг понятия *human being* проявляют различную степень устойчивости и значимости. При этом ассоциации с признаком 'sex' могут быть охарактеризованы как наиболее устойчивые, а расовые признаки — как доминирующие в ходе номинации. Перераспределение компонентов в семантической структуре номинативных единиц отражает степень знания и отношение номинаторов к денотату.

ЛИТЕРАТУРА

- Афанасьев А. Н. 1995 — *Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов*. Т. 2. М.
- Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. 1997 — *Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики)*. М.
- Вежбицка А. 1996 — *Язык. Культура. Познание*. М.
- Вежбицка А. 1999 — *Семантические универсалии и описание языков*. М.
- Гак В. Г. 1998 — *Языковые преобразования*. М.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. 1984 — *Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры*. Ч. 2. Тбилиси.
- Логический 1991 — *Логический анализ языка. Культурные концепты*. М.
- Логический 1995 — *Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке*. М.
- Логический 1999 — *Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке*. М.
- Понятие 1994 — *Понятие судьбы в контексте разных культур*. М.
- Топорова Т. В. 1996 — *Язык и стиль древнегерманских заговоров*. М.
- Успенский Б. А. 1989 — Экспрессивные выражения и культ матери-земли. *Язык и природа*. № 10. М. 10–48.
- CAND 1992 — *The Concise Australian National Dictionary*. Melbourne.
- Watkins C. 1993 — Indo-European and the Indo-Europeans. *The American Heritage Illustrated Dictionary*. Boston. 1573–1625.